

К232  
21С84

САКЕН  
ЖУНУСОВ

283972

ДОМ  
в  
СТЕПИ

САКЕН  
ЖУНУСОВ



ДОМ  
в  
СТЕПИ

РОМАН



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЖАЛЫН»  
АЛМА-АТА — 1979

Каз 2  
Ж 89

283972

Жунусов Сакен  
Ж 89 Дом в степи: Роман.— Алма-Ата: Жалын, 1979.—  
264 с.

Алчности и жестокости старого Карабета нет предела. Онижает посевы, пишет кляузы на честных людей, ворует колхозное добро. Замерзает в буране его сын Жалил, которого он заставляет заниматься спекуляцией. Ушли из дома, не выдержав его злодействий, сын Халил, сноха Акбоне и жена Жамиш. И остался в одиноком доме на краю поселка лишь сам Карабет. Все, что он накопил цепью жизни, за что держался цепкими руками, рухнуло, расселось, растворилось в один миг.

Каз 2

Ж 70303 — 097  
408 (07) 79 доп 79

© Издательство «Жалын» — 1979.

96

Северо-Казахстанская областная  
БИБЛИОТЕКА  
город ПЕТРОПАВЛОВСК

## ПРОЛОГ

Когда-то здесь жили люди,— десяток жалких домишек, сложенных из дерна. Теперь от прежнего становища остались одни лысые бугры. Ветер, дождь и снег совершили свое разрушительное дело. Печальное это место заросло дремучим бурьяном, и лишь бугры, словно могильные холмики, напоминали о заброшенном жилье.

Приехавшие вылезли из машины и долго стояли в молчании и задумчивости.

Солнце над головами уже набирало весеннюю силу, и люди чувствовали это, ощущая тепло на своих лицах. Снега совсем не оставалось на земле, и степь, оживая, начинала куриться слабым, еле приметным паром будто множество согретых на огне казанов, надежно укрытых хозяйственными руками. Что-то унылое и загадочное было в заросших бурьяном буграх. Чья-то жизнь пролетела здесь, ничего не оставив о себе кроме этих жалких холмиков. Кто знает, счастливы ли были люди, когда-то устроившие здесь свое жилье, или же, наоборот, узнали горе, раз не прижились и ушли искать себе другие места. Молчит и заастает, размывается водой забытое становище.

Мужчина, стоявший впереди, вздохнуя и поднял к небу задумчивое лицо, наслаждаясь теплым прикосновением солнца. Он был здесь новым человеком, и места, не виданные им раньше, ничего не говорили его сердцу, кроме забот предстоящей весны, первой его весны на этой земле. Однако женщина выросла здесь, и все, что сейчас лежало перед ней, было знакомо и рождало боль воспоминаний.

С бьющимся сердцем смотрела она и не могла насторяться на заглохшее жилье, и ей виделись не развалины, а

тесно приткнувшиеся один к другому домишками и даже голос чей-то будто послышался, грустно произнесший, что все-таки привели ее обратно в родные места дороги, привели поседевшую, почти неузнаваемую, совсем не такую, какой привыкли ее видеть здесь в те далекие времена. Женщина сделала усилие, но все же не сдержала слез и, чтобы никто не заметил ее слабости, прошла вперед.

Она шла по земле, где бегала когда-то счастливой девочкой с разевающимися косичками. Теперь, когда некоего было стесняться, она плакала и не стыдилась слез. Ей хотелось припасть к этим отаявшим под солнцем буграм, прижаться грудью, лицом и забыться, почувствовать на мгновение, что ничего не изменилось в жизни, все осталось прежним — детским, остро запомнившимся, неистребимо родным.

Раньше посреди аула было небольшое возвышение, по весне там быстрей всего просыхала земля и показывалась первая зелень. Женщина, ломая бурьян, прошла к знакомому месту. Все оставалось по-старому: земля уже подсохла, и робкая травка пробивалась к солнцу. Подвернув пальто, она села. Земля была тепла на ощупь и мягка как темечко ребенка. Для детворы сейчас наступали самые счастливые дни. После долгой и жестокой зимы хорошо выскочить из надоеvшего дома и, разувшись, побежать босиком, чувствуя истосковавшимися ногами щекочущую податливость пагретой земли.

Задумавшись, женщина позже других заметила однокого всадника. Надсадное карканье вороны заставило ее поднять голову и взглядеться. Черный, почти квадратный человек на черной с уродливо раздутым животом кобылице неторопливо приближался, посматривая на стоявшие в стороне машины. Женщина разглядела на всаднике длинные, выше колен, теплые сапоги и нарядный лисий малахай с темным вельветовым верхом. Несколько собак сопровождали его, путаясь под самыми ногами лошади.

Всмогревшись в лицо верхового, женщина увидела большое родимое пятно. Сначала она не поверила своим глазам. Но нет, ошибки быть не могло: большое пятно четко виднелось на лице всадника. Женщина в волнении поднялась на ноги и все смотрела, смотрела. Такая уродливая примета могла быть только у одного человека!..

Тем временем черный человек поравнялся с машинами и принял усилия успокаивать лошадь. Жирная кобылица с коротко подрубленным хвостом не стояла на месте. Косясь

на машины, она беспокойно пятясь, всхрапывала и пряла ушами. Беспокойство лошади передалось и собакам. Однажды приехавший зычными хозяйственным окриком успокоил их, сняв грубо слез с седла и крепко замотав повод за высокую, похожую на утиную голову луку. Собаки притихли, улеглись на землю.

Здороваюсь, приехавший неторопливо подал руку одному и другому и, коротко справившись о здоровье, высказал обиду хозяина: почему машины миновали его дом, а остановились у каких-то развалин?

Выбираясь из зарослей бурьяна, женщина по-прежнему не сводила с него глаз. Едва он заговорил, она ускорила шаги.

Один из ее спутников, представитель райкома, успокоил обиженного хозяина.

— Мы приехали осматривать земли. Вот, познакомьтесь, аксакал: это директор будущего совхоза Моргун. А это, Федор Трофимович, владыка здешних мест Карасай Талканов. Прошу любить и жаловать. Видите, с какой он сворой! — и райкомовец с улыбкой посмотрел на собак, лежавших у самых копыт пугливой кобылицы.

Черный человек сделал широкий приглашающий жест.

— Завет наших отцов — принять и уважать гостя. Говорят, для невесты дорог тот, кто первым откроет ей лицо. Идемте. Мой дом одинок, вы знаете, по всякого, кто в пути, он укроет в буран и даст отдых в жару.

— А что, очень кстати. Федор Трофимович, как вы смотрите? Время обедать, а в степи не часто встретишь столовую.

Медленно приблизилась женщина и остановилась за спиной черного человека.

— А вот это, аксакал, главный инженер совхоза. Родом она из здешних мест, может, вы даже знаете ее...

Взгляд черного человека оставался приветливым, когда он оборачивался, чтобы взглянуть на женщину. Ей было за сорок и она была крупна телом, по одежда — городское изящное пальто, темно-красные сапожки и кокетливая шапочка из выдры заметно молодили ее. Глаза Карасая мимоходом задержались на юной пряди волос, выбившихся из-под шапочки, и он успел мысленно осудить ее за одежду, за манеру держаться, еще за что-то, потому что она чем-то сразу не понравилась ему, однако он старался ничем не показать этого... как вдруг почувствовал, что и его разглядывают, рассматривают изучающе, все еще не веря

в столь неожиданную встречу. Карасай взглянул в напряженные глаза женщины — и помертвел.

Куда что девалось! Карасая стало не узнать. Только что был крепкий, знающий себе цену человек, радушно, как и велит обычай, зазывающий в гости, и вдруг в один неуловимый миг от его уверенности, крепости плеч и осанки хозяина не осталось и следа. Карасай обмяк, сник, расплылся и теперь походил на затравленного зайчонка, услышавшего над собой свист крыльев падающего беркута.

Женщина и черный человек стояли лицом к лицу, стояли молча и взгляды их сцепились. На помертвевшем лице Карасая уродливо, похоже на печень, багровело огромное родимое пятно, и женщина, глядываясь в это ненавистное лицо, рассмотрела главное, что забылось в ее памяти — три редких волосинки на родимом пятне, те самые, прежние, сохранившиеся до сих пор. Но они поблекли, эти волосинки, и словно бы пожухли, как осенняя травка в степи, и ей казалось, что только эти волоски и изменились в стоявшем напротив человеке, а все остальное осталось без перемены. Как она узнала его, сразу же узнала по этому зловещему пятну! А от? Ну да, он, конечно, тоже узнал, — теперь узнал, хотя она совсем не та, что прежде, взять хотя бы обильную, как у старухи, седину в волосах.

Они все еще стояли друг против друга и смотрели глаза в глаза. Никто из них не проронил ни слова.

«Как, разве ты не умерла?» — испуганно метались зрачки черного человека с пятном на лице.

«А ты... Неужели ты еще жив?!»

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Снег падал весь день и перестал лишь к вечеру. Неподало прояснилось, заголубело, однако мороза не ожидалось, и затишье в степи походило на коротенькую переливку в непогоде.

Степь лежала ровная, засыпанная чистым легким снегом, но чувствовалось, что где-то в цеобозримых ее пространствах уже начиналось движение ветра, который затаился еще до снегопада и лишь теперь дождался своего часа. Так оно и оказалось — ближе к закату появились первые признаки метели. Порывы ветра, палетавшего то с одной стороны, то с другой, завивали короткие вихри, и было похоже, что кто-то невидимый неуверенно трогает пушистое покрывало степи.

Скоро ветер окреп, установился с севера и задул, загудел, набирая силу.

Степь разом померкла от великого движения снега. Словно огромные змеи, потянулись по ветру шелестящие снежные потоки, то задирая узкие свои головы и выискивая что-то, то снова припадая к самой земле. Ярость, колившаяся в ветре, заставляла их бесноваться, и теперь все чаще и злее вскидывались над землей упругие змениные тела. Вот уж они принялись сшибаться, сплетаясь и переплестывая друг через друга, и в ненастной злобе своей, казалось, достигли неба, потому что свет померк вокруг и все похоронилось в сплошном воющем месиве. Какое-то время еще угадывалось невысокое солнышко, задержавшееся на исходе, оно малокровно помаячило сквозь бешеную мешанину снега и ветра и угасло, закатившись в безнадежную нечастную ночь.

Нара лошадей тащила сквозь снежную метель легкую кошевку. Круто изогнутый передок кошевки вырвал, как в волнах. Дорога едва угадывалась в темноте, и лошадям приходилось тесно. Пристяжной донец с отвороченной на сторону головой то и дело срывался в сугробы, всхрапывал и, выбравшись, напирал запотевшим боком на оглоблю. Однако коренник, вороной статный копь с выющейся гривой, легко оттеснял его с дороги, и донец вновь отступал в рыхлый непримятый снег и принимался скакать, сильно выбрасывая копыта.

В сгустившейся мгле не стало видно даже лошадиных ушей. Измученный пристяжной все чаще проваливался в сугробы, и тогда опытный возница, не спускавший с коней глаз, натянул вожжи:

— Тр-р-р!..

Кошевка стала, глубоко зарывшись узкими полозьями, и только теперь путники почувствовали, поскольку разыгралась непогода. Метель остервенело несла над степью целые тучи режущего спега. Дремавший седок заворочался и высунул из волчьей шубы измятое лицо. Густо пахнуло водочным перегаром.

— Приехали, что ли? — послышалось из самой глубины пагретой шубы.

— Куда там. Километров еще пятнадцать, — отзвался возница, неуклюже спускаясь с козел.

Волчья шуба завозилась, трудно, по-медвежьи подалась вперед, рука стала шарить под слежавшейся соломой.

— Ты куда положил-то?

Возница топтался впереди, снимая сосульки с теплых конских ноздрей. Лошади утомленно мотали головами. Возница, не оборачиваясь па рассерженный оклик седока, буркнул:

— Куда, куда... В передке, под ковром.

Волчья шуба снова завозилась, послышался звон посуды.

— А-а, вот она!

Путаясь в длинных полах и утопая в снегу, возница отпряг пристяжного и привязал к кошевке сзади. Сбрую с парядными серебряными блестками он бросил под козлы. Ветер насекал человеку лицо. Он повернулся спиной и занес в сани ногу. Волчья шуба все еще возилась, плавко выпраштывая руку с бутылкой. Возница взял бутылку, коротко хлопнул огромной лапой по донышку и, выбив пробку в ладонь, протянул бутылку обратно.

О, дьявол! — ругался седок, совсем запутавшись в просторной шубе.

Трепулись. Статный широкогрудый конь легко подхватил кошевку. Оставшись в упряжке один, без помех, он уверенно и сильно устремился вперед. Метель обвивала юбкуную голову вороного.

В этих местах аулы редко разбросаны по степи, и путника, застигнутого в дороге непогодой, спасает лишь теплая одежда да умный выносливый конь. И люди здесь и давно умели растить и цепить хорошую лошадь. Вороной неславился быстротой и резвостью, но тем не менее в местах, где от мороза застывает па лету плевок, а в буране юнек гибнет между соседними домами, это был лучший конь, самый надежный и выносливый.

Привязав к задку кошевки пристяжного, возница совсем отпустил вожжи. В такую кромешную ночь лучше всего положиться на коня. «Бурт, бурт, бурт...» — слышалось хрупкое снега под сильными копытами вороного. Высоко вскидывая колени, конь мощно взрывал паметанные сугробы. Возница по-прежнему не различал дороги, но конь, едва оступался па обочину, тут же возвращался па широкое и не сбивая уверенного бега.

Волчья шуба, отхлебнув из бутылки, совсем завалилась в задок. Йуткая ночь неслась над одинокой кошевкой. Унылой степной дороге казалось не будет конца и края. Но вот сквозь завывание метели послышался близкий лай собак, вороной встрепенулся, поддал ходу и скоро уперся головой в занесенные снегом ворота.

Во дворе, обнесенном забором, угадывалось желанное станище, и возница, кулем свалившись с козел, разглядел небольшой домик со стогом сена на плоской крыше и, кажется, коновязь, потому что едва кошевка стала у ворот, со двора послышалось призывное ржанье нескольких лошадей. Колотясь в ворота, возница всматривался, что там па дворе, и видел лишь белую пену, по вот раздался громкий лай, и старая длиннотелая сука показалась из-за конны сена. На крыльце засветился огонь, какой-то человек с фонарем в руке пошел к воротам. Собаки, смолкнув, прыгали вокруг хозяина, ожидая подачки. Человек с фонарем подошел к воротам, и возница разглядел безбородого парня с плоским как блин лицом.

Кошевка въехала в тихий заснеженный двор, парень с фонарем снова запер ворота. Волчья шуба завозилась,

пытаясь подняться на ноги. Из саней послышался недовольный голос:

— Ты что, Дика, решил нас совсем заморозить?

Парень наклонился, поднес фонарь к самому лицу приезжего и тотчас отпрянул, показав в улыбке зубы. Помогая гостю стянуть шубу, он бормотал:

— Откуда я знал? Я думал, кто-нибудь другой.

Наконец шуба была сброшена, и гости, разминая ноги, направились в помещение.

Во дворе, огороженном высоким забором, стояли два дома. Только теперь, совсем вблизи, стало возможно различить их за белой метели. В самом большом жил хозяин — Карасай, в другом, поменьше, его старший сын Жалил. Этот дом состоял из просторной кухни и одной чистой комнаты. Здесь обычно останавливались приезжающие. «Роща Малжана», так назывался постоянный двор, была единственным жильем на десятки километров в округе.

Приезжие неторопливо направились к хозяйственному крыльцу. Парень с фонарем остался убирать лошадей.

Был еще не слишком поздний час, и в заезжем доме никто не спал. Ненастье захватило в дороге многих, и сейчас в единственной комнате негде упасть яблоку. Долгий зимний вечер проходил в шумных оживленных разговорах.

Отворилась дверь и напустив белое облако морозного пара, верпнулся парень с фонарем. Спертое тепло патопленной комнаты ударило ему в лицо.

Разговор оборвался и все повернулись к вошедшему.

— Ну, кто там приехал?

— Откуда?

Парень, шмыгая талым носом, словно не слышал расспросов. Он несколько раз сильно дунул на фонарь и погасил его. Посреди комнаты стояла изрезанная ножами рогатина. Парень повесил коптящий фонарь и так же молча улегся на кошму в ногах сидящих. Лицо его было загадочным, он чему-то тихо улыбался и иногда неуверенно покачивал головой.

— Ты скажешь, нет — кто там приехал? — прикрикнул на него сидевший на самом почетном месте джигит с густыми бровями и богатырского сложения.

— Начальник! — проговорил наконец выходивший встречать, все еще продолжая загадочно улыбаться и не давая заглянуть в глаза.

— Наверно, Косиманов. Приехал к тестю погостить,—

высказал кто-то догадку, и молчаливого парня оставили в покое.

Разговор продолжался, все вновь обернулись к сидевшему на почетном месте богатырю. Крепкое смуглое лицо джигита было сильно обморожено. Белые пятна на щеках, когда он улыбался, растягивались, и тогда казалось, что на одном лице улыбаются несколько ртов.

Рассказывая, джигит то и дело обращался к старику с острынкой бородкой, который лежал рядом с ним, опираясь на локоть.

— Это где-то километрах в пятнадцати от совхоза «Бестерек» — и он трудно повернулся к старику всем своим крупным, налитым телом.

— Да, примерно, — подтвердил старик, качнув бородкой. — Как раз напротив зарослей чилика.

— Вот, вот. И уж темнеть стало, буранчик начинился. Ну, едем и едем. Подводы у нас растянулись далеко-далеко. И тут вдруг грохот! Что такое? На машину вроде не похоже. А грохочет... Ждем, остановились все. Потом смотрим — трактор. Да такой, что сроду не видал! У нас «НАТИ», так того сразу узнаешь. А этот... Ревет как чудище какое-то, — на всю степь.

— Ах земля дрожит! — добавил старик.

Слушатели сидели молча, с широко открытыми глазами.

— И поверите, — продолжал, входя в азарт, парень. — Фары у него — вот! Светло как днем.

— Точно, точно. Иголку можно найти.

— И не один, оказывается, а целый караван. Друг за другом. Вот грохоту было!

— Степь пригнулась, — снова вставил старик. — Никогда не видел таких машин, и так много сразу.

— Да кто же это такие? Откуда? — не утерпел кто-то из слушателей.

На него тотчас зашикали:

— Постой, сейчас узнаешь!

— Зачем торопишь?

Рассказчик выдержал небольшую паузу и продолжал:

— Ну, делать нам нечего — свернули мы с дороги. Стоим, пропускаем мимо. А они гуськом, гуськом. И огромные — с избу! У каждого на прицепе двое больших сапей с домишками...

— Ах, что за домишкы! — не вытерпел старик, проворно поднялся и сел. Глаза его засияли. — Как наперсточ-

ки — аккуратнейшие, чистенькие. Окна настоящие, все настоящие. Из труб дым валит. Просто глазам не верится. В таком доме никакой буран ни почем. Езжай себе хоть на край света. Играют в них на гармошках, поют — веселый народ едет, а мы стоим сбоку и смотрим, смотрим. Закоченели до слез. Куда нам до таких домов!

Старику было лет шестьдесят, но в бороде его не виднелось ни одного седого волоса. Весь крепкий, подтянутый, он казался куда моложе своих лет, а оживление, с каким он принял рассказывать, молодило его еще больше. Джигит с густыми бровями, у которого старик перехватил нить рассказа, покорно умолк и лишь посматривал на загоревшееся лицо аксакала, на его блестевые глаза.

Слушатели смотрели на старика во все глаза, боясь пропустить хоть слово, и он увлекся, совсем забыв, что перебил рассказчика, — слишком уж интересно и необычно было то, что довелось ему увидеть. Но вот он спохватился, виновато оглянулся на молчавшего рядом джигита.

— Ничего, ничего, рассказывай, — поспешил подбодрить его тот без всякой обиды. Однако старик окончательно смешался, умолк и снова прилег на локоть. Больше из него не удалось вытянуть ни слова.

Наступило неловкое молчание, и слушатели огорчились, что интересный рассказ так досадно оборвался. Во всем, что происходило нынешней зимой, чувствовалось приближение великих перемен. Но каких? Ведь неспроста уже с ранней зимы в степь понеехало множество прошлого народа.

— Так у них что — выходит, в домишках-то настоящие печки установлены? — высказал кто-то неуверенную догадку в надежде, что рассказ все же возобновится.

— Конечно, все так следует. И дом и печка.

— Вот жизни! А мы на верблюдах маемся. Купил бы каждый колхоз по такому вот домику, прицепил бы к трактору — езжай куда хочешь. А то поездни-ка на верблюдах, да зимой, да по таким дорогам.

— Э, чего захотел! До нас всегда позже всех доходит.

— Это точно. Нашим бы только лошадь да верблюд, — вновь подал голос парень богатырского сложения. Густые брови на его задумчивом лице угрюмо сошлись на переносице.

Все, кто был в комнате, умолкли и обратились к богатырю, как бы приглашая его высказаться. В готовности, с которой все замолчали, чувствовалось не только желание

учинить важные новости, но и уважение к рассказчику, и он, похоже, знал это и понимал. Оспан или «шофер Оспан», как называли его повсюду, был заметным человеком в районе. Работал он в самом отсталом и захудалом селе «Жапа-тала». Звучное и гордое название артели никак не соответствовало действительности. Во всем колхозном поселке, бедном и убогом, среди дедовских саманных домишек, которые с каждым годом все глубже уходили в землю, выделялось лишь несколько строений, и прежде всего новый дом Оспана под нарядной железной крышей. «О, Оспан хозяйственный человек. Что хочешь — все досчитает», — хвалили его одни, а другие отзывались о нем завистью и даже со злобой: «Ха, была бы у меня в распоряжении машина!» Однако завистники не видели, а может быть, и не хотели видеть, что в разбитую колхозную полуторку Оспан вкладывал всю свою душу. Изношенной машине давным-давно пришел бы копец, если бы не умелые руки шофера. Оспан сам без чьей-либо помощи изготавливал в кузнице недостающие детали, подолгу ковырялся в моторе и, глядя на него, там подмажет, там подвяжет — машина снова на ходу, снова тащится по разбитым степным дорогам ее облезлый старенький кузов. Постепенно Оспан настолько изучил свою полуторку, что по одному шуму, не заглядывая в мотор, мог сказать где что не в порядке и нуждается в ремонте. У иной матери ребенок не имеет такого ухода, каким окружил машину Оспан.

С наступлением осени распутицы, а затем и зимы, полуторка надолго запиралась в гараж: много раз латанной машине ни за что не выдержать трудных дорог в замерзшей степи.

Но не привыкший бездельничать Оспан садится на веранду и подряжается делать то же, что и летом на машине возить товары из областного центра для сельпо. Зимние дороги — трудные дороги, и верблюд — не машина, с которой за многие годы сроднился шофер, поэтому зимой Оспан зол, недоволен, и если представляется случай, он выговаривает свои обиды любому, кто попадается на глаза: начальник, простой ли человек — все равно. Вот и теперь он уже пятый день в пути, устал, а тут еще невиданный салпый поезд встретился на дороге, в таких домиках можно всю жизнь ездить — не надоест.

— Терпеливый мы парод, что ни говори, — ворчит Оспан, выговаривая накопившееся недовольство. — Что пам

супут, тем и довольно. Нет, чтобы... Вот хоть наш колхоз взять. Ведь сколько земли зря пропадает, а нет, отдать не можем. Свое, свое! Куда там поделиться!

— От жадности,— уточнил кто-то.— Такие председатели, как наш Салык, держатся за землю по-байски. У других бы она пользу дала, а у нас... Забывают, что шубу надо шить по росту.

Оспан все больше мрачнел и жадно затягивался папиросой. Разговоршел о наболевшем. Несколько лет назад, когда принялись заново делить колхозные земли, было мнение передать урочище «Жаман туз» овцеводчозам Зерендинского района. Но председатель Салык и слушать не захотел. «С ума сошли! Эти земли нам самим вот как нужны. Зимой там снегу мало, для табуневки самое раздолье». Оспан и еще несколько колхозников пытались уговорить председателя, но Салык уперся как бык — не свернешь. А земли те следовало давно отдать соседям, все равно пропадают.

— Ничего, теперь наши Салыки поймут, как надо с землей обращаться. Я видел кто едет — одна молодежь. Эти научат.

— Точно, точно,— опять не выдержал и встрял в разговор старик.— Ребята едут один к одному. Мы где их встретили, Оспан? Возле «Нового пути», кажется? Ну да, за районным центром. Говорят, что за Каюром новый совхоз будет. Совсем новый, на пустой земле. Боевые едут парни — куда там!

— В будущем году...— раздельно и четко проговорил Оспан, осаживая разговорившегося старика сердитым взглядом,— в будущем году в одном только нашем районе будет организовано четырнадцать новых совхозов. Четырнадцать! Народу попадет — тысячи!

И, выложив главную новость, он обвел слушателей медленным и таким значительным взглядом, будто во всех этих переменах была и его, Оспана, неоспоримая заслуга. Служатели, пораженные, затянули дыхание и еще теснее приблизились к рассказчику. Радио в этих местах не было, газеты попадали редко, и о надвигающихся событиях обычно узнавали от сведущих людей. Новость, которую они только что услышали, была поистине оглушительной. Столько совхозов, столько людей! Совсем изменится родная степь — не узнать будет.

На несколько минут в комнате воцарилось молчание. А когда миновал первый испуг удивления, все зашевели-

чись, и возгласы одобрения слились в один неясный дружный гул:

— Да, да. Вот это хорошо.  
— Тамаша... Тамаша...\*

— Дика! Эй, Дика,— негромко позвал раскинувшийся на подушках Косиманов, и па его голос тотчас вошел услужливый парень с плоским лицом, выходивший встречать приехавших.

— Садись,—распорядился гость и взял с низенького круглого стола начатую бутылку.

Нарень, застенчиво улыбаясь, приблизился к столу и опустился на стол.

— Давай выпьем, Дика, за благополучие этого дома.

Приехавший отогрелся в тепле, вышия, и теперь его трогало одиночество. Дика был испытанный собутыльник, молчаливый и покорный. Когда-то Косиманов тайком от старого хозяина налил парню стакан водки, и с тех пор Дика настолько втянулся в эти выпивки, что с терпением ждал наездов щедрого на угождение гостя.

В комнате появилась молодая женщина и, присев у накрытого стола, принялась разливать чай. Косиманов лениво лежал на подушках. Он подмигнул парню на налитый стакан и чуть приподнял свой. Дика выпил с плохо скрытой жадностью.

Водка ударила парни в голову, он повеселел, расселся свободнее. Он знал, что гость ждет от него песен,— это было установившейся платой за угождение. Дика зашел, слегка раскачиваясь и негромко выговаривая давно знакомые слова. Косиманов слушал, украдкой наблюдая за движениями молодой женщины. Глаза гостя жмурились, он удобнее подбирал под бок подушки. Голос парня крепчал,— хмель все больше туманил ему голову. Дика пел все, что придется. Память его хранила множество песен, и гость, слушая, время от времени нахваливал певца.

— Молодец! Ка-кой молодец! Голос-то, а?— он пытался осторожно втянуть в разговор женщину.— Честное слово, голос у него, как у девчонки. Нет, Дика, был бы ты девушкой, хоть женись на тебе.

Молодая женщина, разливая горячий чай, без смущения взглянула в хмельные глаза гостя.

---

\* Т а м а ш а — хорошо, замечательно.

— По-моему, на одном тое двух невест не выдают. Разве вам мало нашей сестренки, что вы заритесь еще и на Дику?

Косиманов повеселел — женщина настроена благожелательно и за словом в карман не лезет. Продолжение разговора напрашивалось само собой.

— Так ты что же,— игриво заметил он,— считаешь меня таким немощным, что мне хватит одной вашей сестренки?

Женщина вспыхнула и на секунду опустила затрапезавшие ресницы.

— Недаром говорят,— усмехнулась она,— что бык, хоть и старый, а не теряет пюха.

Гость захотел и схватил со стола бутылку.

— Ну, Дика,— бодро проговорил он, наливая в стаканы,— выпьем за таких вот женщин, как наша Акбопе.

Комplимент гостя дошел до сердца молодой хозяйки. Она встряхнула аккуратно убранный головкой и продолжала хлопотать за столом. Косиманов не сводил с нее глаз. Полуприкрыв набрякшие веки, он следил как ловко мелькают ее маленькие руки. Женщина наклонялась над столом, и тогда толстая пакрепкая заплетенная коса падала, выбиваясь из-под платочка, на высокую грудь и пежно щекотала открытую шею.

Женщина часто ловила на себе напряженный взгляд гостя и тотчас опускала глаза. Однажды захмелевший Дику сидел раскачиваясь, пел и ничего не замечал. Его позвали и угостили, чтобы заставить петь, и он добросовестно исполнял свои привычные обязанности.

— Может, мне по-русски спеть? — предложил он, изо всех сил желая угодить щедрому гостю.

— Пой, пой,— согласился Косиманов.— Что хочешь, то и пой.

Ему становилось не до песен. Однако, когда в компании зазвучал необычайно высокий голос певца, Косиманов невольно перевел на парня взгляд. Этой песни он никогда не слыхал. Откуда она? Где он их только берет, этот неугоименный Дику? Парень самозабвенно пел незнакомую песню, которой его выучили несколько дней назад почевавшие на заезжем дворе русские шоферы.

Косиманов задумчиво уставился на безбородого певца. Казалось, за все время, что они знакомы, он только сейчас внимательно приглядился к этому человеку, которого привык совсем не замечать.

— Слушай-ка, а сколько же тебе лет? — проговорил он, едва певец умолк.

Дика в смущении опустил глаза.

— Да скажи, скажи, — подбодрила его женщина, не переставая что-то переставлять на столе, наливать, подавать. — Скажи, чего застеснялся.

— Говорят, — неохотно промолвил Дика, — я родился в год коровы... Сколько это?

— В год коро-о-вы! — протянул Косиманов. — То-то как теленочек любишь присосаться к стаканчику. Пожалуй, лет сорок тебе стукнуло. А?

— Наверно, — грустно согласился безбородый.

Косиманов с сожалением покачал головой. Затем спросил, украдкой бросая игривый взгляд на притихшую за столом женщину:

— А скажи-ка: ты хоть молодостью-то попользовался как следует? Или нет?

Наренья промолчал, напряженно улыбаясь и разглядывая собственные ладони. Вмешалась женщина и сделала бесцеремонному гостю мягкий укор.

— Не надо, жезде, допытываться, чего не следует. Зачем?

Она вздохнула и стала убирать со стола.

От Косиманова не ускользнула перемена в настроении женщины.

— А что же я плохого спросил? — воскликнул он, пытаясь загладить собственный промах. — Просто хотел узнать, была ли у человека радость в жизни. Ведь когда и порадоваться, как не в молодости, пока еще есть силы? А то жизнь пролетит, не заметишь, как и состаришься. Не до радости будет... Разве не так? — последний вопрос Косиманов задал едва слышно, паклонившись над столом и близко заглядывая хозяйке в глаза.

Женщина не ответила, даже не взглянула.

Косиманов сильно потянул посом и раздраженно откинулся на подушки. Взгляд его настойчиво караулил каждое движение молодой женщины. Ах, не военное сейчас время! Тогда в аулах совсем не оставалось парней, и Косиманов, отправляясь в поездки по району, испытывал азарт настоящего охотника. В те времена добыча легко давалась в руки, и Косиманов до сих пор вспоминал, сколько красивых лисиц вывалил он на белом снегу. Тогда все было куда проще. Теперь же приходится ловчить и хитрить, заманивая осторожную лисичку в капкан. Одно лишнее слово,

одно неудачное движение — и все пропало: как говорится, не только меха, но даже смеха не получишь.

Косиманов знал, что Акбопе уже год как вдова. Муж ее Жалия замеря и прошлой зимой в буран, и совсем недавно, в годовщину смерти, старый Карасай спровадил по сыну поминки. Народу наехало на поминки — не протолкаться, особенно старииков. Их не испугали ни холод, ни дальняя дорога. Словно изголодавшиеся волки набросились они на угощение, и скоро от пятилетнего, откормленного к поминкам жеребчика не осталось ни кусочка. Иные уж одной ногой в могиле стоят, но все равно, беззубые их рты не знают устали. Смотреть даже стыдно было — словно на свадьбу приехали.

Больше всех в выгоде оказался тогда мулла Ташим. Как ворон падали, не пропустит он ни одних поминок, и не успели еще съехаться все приглашенные, как рыжая кобылица муллы остановилась у ворот Карасая. Старикам давно не доводилось собираться вместе, и теперь они отвели душу, день и ночь напролет слушая гнусавый голос Ташима, читавшего священную книгу пророка. Отправляясь с поминок домой, мулла украдкой щупал спрятанный на груди сверток и всякий раз с удовольствием слышал негромкий бумажный хруст. Деньги были добыты «божьим путем», и это составляло законную добычу муллы.

Разъезд гостей омрачило маленькое происшествие, однако находчивость муллы, человека опытного и никогда не терявшего головы, выручила и на этот раз. Провожаемый стариками, мулла одевался в дорогу, напяливая поверх теплого чапана подарок хозяина — повенецкое пальто с каракулевым воротником. Пальто оказалось тесновато и рукава его с треском разошлись по швам. Маленький сынушка покойного, Булат, с плачем бросился к мулле:

— Это пальто моего папы! Сними папино пальто!

В наступившем замешательстве первым нашелся Ташим. Он ласково погладил плачущего мальчика и проговорил:

— О, ты уже стал настоящим азаматом. Постой-ка, я как-нибудь заеду и сделаю тебе сундет\*.

Тихие ласковые слова муллы оказали обратное действие: мальчуган, много наслышанный от взрослых о мулле и сундете, с громким воплем бросился к матери.

---

\* Сундэт — процесс обрезания, принятый у мусульман.

После шумных поминок одинокий дом у рощи Малжана снова зажил размеженной и тихой жизнью. Рано утром в теплом сарае громко хлопал крыльями и кричал молоденький петушок. Старый красный петух с обмороженными лапами тут же хрюпло подхватывал крик, и день наступал. Дика, поднявшись раньше других, снимал с изрезанного рогача фонарь и отправлялся в конюшню. После конюшни наступала очередь коровника, затем еще что-нибудь,— так целый день, поскрипывая снегом, парень возился по хозяйству на дворе.

В доме не следили за временем и поэтому не имели часов. Правда, в самой большой и чистой комнате на невронно вымазанной стенке висели тяжелые древние часы, но маятник их остановился давным-давно, а ржавая цепь с привязанным для груза болтом напоминала вывалившиеся бараньи кишки. Никому в доме до них не было дела. Дика, тот встает с петухами, а остальные спят сколько вздумается, до головной боли, потом не спеша поднимаются и долго, неторопливо пьют чай. Торопиться некуда. Когда еще был жив Жалил, так у него имелись наручные часы, но за год до смерти он колол дрова и разбил па часах стекло. С тех пор часы засунули на дно сундука и забыли о них.

После утреннего чая женщины принимаются растапливать печь. Старая Жамиш и Акбопе накладывают кизяку под огромный, остывший за ночь, казан. В казане день-деньской варится корм для поставленной на откорм скотины. Этот казан остался еще со времен бая Малжана, его большое медное брюхо, источенное на постоянном жарком огне, несколько раз давало течь, но старый Карасай упрямо накладывает повенские заплаты и не позволяет его выбросить. С этим казаном связана память о счастливых когда-то временах.

К огню, пылавшему под казаном, приходит со двора замерзший и усталый Дика. В комнате, где кипит котел, огня не зажигают, и у Дики есть давно облюбованное место — в сумрачном уголке, куда почти не попадает света. Управившись со скотиной, Дика приходит в свой уголок и, поджав кривые короткие ноги, усаживается за ручную мельницу. Это дело тоже привычно ему, и он машинально подсыпает зерно, крутит тяжелый каменный жернов, крутит равнодушно, как вол, наблюдая за тоненькой струйкой свежей крупы. Так сидит он допоздна, чуть

раскачиваясь и вполголоса напевая под шум деревьев свои привычные унылые песни.

Так, бесшумно и незаметно, проходят здесь долгие однообразные дни. Собственно, их никто и не замечает: ни Дика у своей мельницы, ни женщины у казана. «Солнце заходит, не успев взойти», — говорит о такой беспросветной жизни народная пословица.

Впервые попав в этот дом и присмотревшись, Акбопе ужаснулась тому, что ее ожидало. «Да тут позеленеешь с тоски! Ни одной живой души вокруг...» Однако потянулись дни, похожие один на другой, и молодая женщина втянулась, привыкла, и скоро даже скорбь по оставленным родным стала забываться в ее сердце. Постепенно она настолько смирилась, что только отъезды мужа по делам выбивали ее из привычной колеи. Тогда ей казалось, что в доме чего-то не хватает, она по целым дням не находила себе места, и тоска подступала к ней столь неодолимо, что она едва могла дождаться возвращения мужа. С приездом Жалила все становилось на свои места.

В доме родителей ее с малых лет воспитывали в традициях старины, и она оставалась верна им. На поминках мужа, как того и требовал обычай, она вела себя скромно, тихо плача и причитая, и ни у кого из собравшихся не зародилось и тени подозрения в искренности ее героя. Однако именно в эти печальные дни в душе молодой женщины произошел окончательный перелом. Проводив последних гостей, Акбопе замкнулась, затихла и целые дни лежала в томительном одиночестве. Она забросила даже работу по дому.

Целый год со дня нелепой гибели Жалила она еще на что-то надеялась и ждала. Какие-то пеисные надежды поддерживали ее уверенность, давая силы жить по-старому, хотя она своими руками обрядила покойного в последний путь, своими глазами видела, как вырос холм на его могиле. И лишь теперь, справив поминки, раздав всю оставшуюся после мужа одежду, Акбопе почувствовала, что порвалась та тоненькая нить, которая поддерживала в ее душе слабую надежду. Теперь образ Жалила сохранялся лишь на увеличенной фотографии, висевшей в их доме на стене. И в сердце ее осталась одна жалость безвременной утраты самого близкого человека.

Поэтому-то так растревожили ее откровенные намеки подвыпившего и пасторального Косиманова.

На ночь гостю постелили в хозяйствской горнице. Акбопе  
вонгла пуховую постель и отвернула угол атласного одеяла.  
И в комнаты, где шумели заезжие, вышел Оспан и тоже  
стал укладываться. Потушив свет, Акбопе прошла к себе  
за занавеску.

Сейчас, когда в доме все затихло, отчетливо слышно  
было пасколько разыгралась пепогода. Ветер тонко и то-  
чливо завывал в печной трубе, выдувая последнее тепло.  
Жесткие крупинки снега твердо барабанили в оконное  
стекло. Буран, разгулявшись по степи, накидывается па  
тищокий двор и рвет, беснуется у ограды, пасыпая целые  
сугробы высущенного морозом снега.

Во всем притихшем доме не спят лишь Косиманов и  
Акбопе. Едва потух свет и женщина скрылась за занавес-  
кой, гость насторожился и приподнялся на локте. Ему было  
ярко, он откинул одеяло. За белевшей в темноте занавес-  
кой раздавался едва слышимый шорох одежды. Женщина  
раздевалась, и насторожившийся Косиманов походил на  
беркута, готового к броску за лисицей. Занавеска манит  
его, приковывает все внимание и, чтобы еще больше рас-  
палить себя, он представляет, как раздается молодая  
женщина, вот уже год не знавшая мужчины. Косиманов  
осторожно приподнялся, стал на колени. Как кот, карау-  
ливший у норки, он ловит каждый звук. «Разделась?...  
Кажется, легла».

Акбопе с головой закрылась одеялом. В такие непаст-  
ные выюжные ночи она тосклиней всего ощущает свое  
одиночество, свою неудавшуюся горькую жизнь. Всякий  
раз, прислушиваясь к завыванию метели, она представляет  
себе несчастного Жалила, потерявшего в степи дорогу.  
Буран отнял у нее мужа, и теперь, едва разыгрывается пе-  
ногода, только о нем мысли Акбопе, она постоянно видит  
его, бредущего в ненастной степи, без сил и надежд увидеть  
спасительные огоньки родного дома. Она видит заблудив-  
шегося мужа в смертной тоске и отчаянии, он тянется к небу  
руки, кричит о помощи и не слышит ответа. Страшная, не-  
отвратимая смерть в открытом пространстве степи, где  
свищет и беснуется осатапевшая метель, хороня все живое  
под толстым покровом сухого сыпучего снега.

Тягучий тяжкий вздох из-за занавески заставил Коси-  
манова забыть об осторожности.

— Акбопеш... — шепотом позвал он и прислушался.  
Тишина, лишь воет в трубе, да из угла, где постелили  
шоферу Оспану, доносится богатырский храп.

— Акбопеш, ты еще не спишь?

Молодая женщина сжалась под одеялом и крепко защмурила глаза. Задумавшись о своем, она совсем забыла о настойчивых ухаживаниях сегодняшнего гостя.

Молчание женщины Косиманов истолковал по-своему: ждет, только стесняется позвать. Хотя почему стесняется! Вздохнула же! Чего еще надо!

И он, неслышно спрыгнув с кровати, метнулся к белевшей в темноте занавеске.

Шофер Оспан, как ни уставал в дороге, всегда спал чутко, по-степному. Он проснулся от резкого испуганного крика женщины.

Возились и разговаривали за занавеской.

— Это я, Акбопеш. Тише... — узнал шофер приглушенный шепот Косиманова.

— Что вы ищете? Дверь не здесь.

— Тише. Я не дверь...

— Что вам надо?

— Тише! Проснутся же... Акбопеш, можно мне сесть возле тебя? Вот тут.

Молодая женщина вся подобралась под одеялом. Руки гостя лихорадочно шарили, пытаясь добраться до нее.

— Уходите!

— Акбопеш, я хотел тебе сказать одно слово.

— Какое может быть слово ночью?

— Ну... сама понимаешь. Только тише, тише.

— Уходите! Завтра скажете.

— Акбопеш, ну почему ты так? Ты же не ребенок...  
Дай хоть к руке притронуться.

Косиманову удалось наконец запустить под одеяло руку. Акбопеш вскочила, но гость успел схватить ее.

— Пустите! Как вам не стыдно!

Она вырвалась и бросилась в переднюю комнату. Косиманов выскочил следом за ней.

Неожиданно в дверях комнаты показалась богатырская фигура шофера Оспапа.

— Что тут за скандал? — проговорил он хриплым со сна голосом.

Косиманов разом отрезвел. Стараясь не столкнуться с маячившей на пороге фигурой шофера, он проскользнул обратно в горницу и проворно нырнул под одеяло.

— Честь, совесть у тебя где? — возмущенно проговорил Оспан.

Косиманов, забившись на кровать, не подавал голоса.

Акбопе в слезах бросилась на грудь шофера. Рыданья сотрясали все ее тело.

— Думает, раз вдова, так и нахальничать можно. А ведь не чужие... Или Жалила не стало, так можно. Какой позор!

— Ну, ну, не плачь, — бормотал Оспан, неловко обнимая женщину за горячие покатые плечи. В горе и отчаянии она прижималась к нему изо всех сил, и он, смущенный всем этим, сбивчиво говорил какие-то ласковые нежные слова и даже поцеловал ее, наклонившись, в голову. На какой-то миг Акбопе забылась, где она и что с ней происходит, ей показалось что не заезжу шоферу, а Жалилу, живому и как всегда ласковому, выкладывает она свои накопившиеся обиды, и слезы женщины, крупные, горячие, как свинец, падали на могучую, словно наковальню, грудь шо夫ера.

Утром Косиманов поднялся ни свет ни заря и, не завтракав, не попрощавшись, убрался со двора. Он понимал, что после ночного происшествия возвращение в дом тестя ему будет заказано.

С этой ночи Акбопе окончательно замкнулась в себе. Как этот однокий дом сторонился от всего, что было в степи, так и Акбопе отдалилась от своих домашних. Дом, где она была когда-то счастлива с Жалилом, теперь казался ей постылым и чужим. Она чувствовала себя в нем гостьей, временным человеком на постоянном дворе.

Состояние невестки не укрылось от стариков. И чем дальше, тем больше назревал разрыв. Свекор и свекровь, исподтишка наблюдая за Акбопе, не считали себя вправе укорять ее.

Целый год со дня смерти Жалила она вела себя так, словно он был жив и должен вот-вот вернуться. Но сколько же можно ждать покойного?

Старая Жамиш несколько раз порывалась поговорить с мужем, но, зная его строгий и крутой нрав, оставляла эту затею. А сам Карасай, давно уже заметив в невестке перемену, считал позором советоваться с женой, с бабой, которая, конечно, ничего путного не может подсказать мужчине. Так, каждый в одиночку, они носили в себе на-

растаяющую тревогу, и эта тревога особенно давала звать в долгие зимние ночи, когда нет сна и в голову лезут всякие тяжелые предчувствия,— как вдруг случилось событие, поставившее все на свои места.

Таким событием было письмо Акбопе.

С той памятной ночи, когда в доме ночевал Косиманов, молодая женщина ходила сама по своим мыслям, она совсем не замечала настороженного внимания домашних. Через несколько дней она решилась и уселась писать письмо своим родным.

«Аке, апа\*, — вывела она на самом верху чистой страницы.— Сколько раз вы говорили мне, и я до сих пор помню это: что суждено богом, от того не уйти. Да, так оно и получилось. Похоронив Жалила, я осталась одна, вся в слезах и с двумя малыми сиротами. Что же мне теперь делать? И я решила: буду в доме, чтоб не пустовало его место. Я думала, что если не сам Жалил, то уж его дух, его душа будут спокойны... Однако живой должен думать о жизни. У меня на руках двое детей, и я хочу, чтобы они выросли, стали людьми и не чувствовали себя сиротами. Дед и бабушка, конечно, не чают в них души и делают все, чтобы внуки были счастливы. И все же Жалила нет, и отца им никто не заменит. Я это понимаю, особенно сейчас, когда уже прошел целый год. Мало-помалу я начинаю чувствовать себя чужой в этом доме, хотя все относятся ко мне, как к родной. Но... я-то вижу, и с этим уж ничего не поделаешь. Я здесь становлюсь чужой, на меня смотрят как на обиженную судьбой, как на вдову, вынужденную жить на старом, заброшенном пепелище. Я думаю, что мне, как ни тяжело это, надо уехать и вернуться туда, где я родилась и выросла. Руки у меня есть, работу я найду, буду жить и растить ребятишек. Мне кажется, ничего позорного нет ни для вас, ни для меня, если я вернусь домой. Прошу вас, как только получите письмо, приезжайте и заберите меня. Я соскучилась по вас, по аулу, по своей земле. Не могу я больше оставаться здесь... Жду вас как можно скорей. Не забывайте, ведь я все же живой человек...»

Акбопе не закончила письма. В комнату с мороза вошла старая Жамиш и удивилась, как холодно в доме.

— Акбопеш, ты же детей застудишь. Смотри, сейчас самое опасное время. Заболеют, что делать будем?

---

\* Аке — отец, апа — мать.

Печь в доме не топилась с самого утра, и маленькое окошко совсем затянуло инеем. Булат, игравший на разостланном домотканом коврике, посипел и сидел взъерошенный, как галчонок. От окошка сильно писало холодом.

Отложив письмо, Акбопе вылезла на крышу домика и сняла с трубы войлочную подушку с песком. Чтобы поставить у трубы заслон, надо было определить, откуда дует ветер, но Акбопе, сколько ни поворачивала лицо, не ощущала ни малейшего дуновения. Мороз упал, сияло солнце, и в степи было тихо. Приставив руку к глазам, молодая женщина засмотрелась на ровные заснеженные увалы, уходящие к далекому горизонту. Кое-где на косогорах начинял сходить снег, и в тех местах чернела обнажаемая земля. Акбопе вспомнила стариковскую примету: если в эти предвесенние дни овечий помет протаивает в снег, значит, зима пошла на убыль и скоро наступит тепло. Далеко по горизонту степь была затянута легкой, едва заметной дымкой, и может быть, поэтому солнце особенно ярко сверкало на слежавшемся за зиму спегу. Да, зиме подходил конец, и вот уж солнце, обычно тускло и безжизненно висевшее над степью, стало забираться все выше, и уже сейчас можно было разглядеть в просевшем спегу головки прошлогоднего курая.

В стороне от рощи Малхана отчетливо виднелся высокий холм, и Акбопе прищуренными глазами долго смотрела на него. На холме была могила Жалила. Ограда могилы, всю зиму занесенная снегом, теперь темнела, особенно с солнечной стороны.

Ставший снег обнажил мокрую глиняную стену, однако с северной стороны все еще возвышался плотно слежавшийся сугроб.

С крыши видно было, как по могильной ограде озабоченно скакает суetливая сорока, подрагивая плоским, как лопаточка, хвостом. Акбопе показалось даже, что она слышит сорочий беспокойный стрекот. Та явно чем-то растроена, и Акбопе пыталась разглядеть, что там происходит у могилы. Неожиданно со стороны ограды, там, где спег начинял сходить, обнажая темный склон холма, показалась красная степная лисица. Сорока заскакала и затрещала еще беспокойней, и Акбопе увидела, что лисица забавляется пойманым тушканчиком. Хищница то отпускала свою жертву и замирала на снегу, ожидая малейшего движения, то принималась подкидывать тушканчика, катать его лапой

по земле, ловко поворачивая туда и сюда. Иногда она словно забывала о своей добыче и начинала играть собственным хвостом, кружась на одном месте и пытаясь схватить его зубами. Словно ребенок, она кувыркалась через голову, и мех ее, еще крепкий, очищенный на снегу, плавал на солнце. Акбопе отчетливо видны были смешные забавы лисицы.

Молодая женщина еще долго стояла на крыше, всматриваясь в сияющую под ярким солнцем степь. Но пусто, безжизненно было вокруг, только скакала и стрекотала на могильной ограде сорока, да лиса играла с несчастным тушканчиком.

Акбопе спустилась с крыши и набрала в сарае охапку сухих березовых поленьев. На крыльце дома, когда она поднималась, ей встретился свекор. Карасай не поднял головы, даже не взглянул на невестку и прошел к себе. Встреча со свекром и особенно его неприветливость заставили Акбопе насторожиться. Не слишком-то часто старик навещал опустевший дом сына, но вот заглянул и, видно, сразу чем-то расстроился. Акбопе вошла в настывшую комнату и с грохотом сбросила поленья у печи. Недобroe предчувствие заставило ее кинуться к столу. Так и есть,— незаконченное письмо валялось на полу.

— Это ты сбросил? — крикнула Акбопе сынишке.

Тихо игравший на полу ребенок поднял на мать удивленные глаза.

— Не-ет... Не знаю...

— Кто же тогда? Черт, что ли? — допытывалась Акбопе.

— Дедушка сейчас читал.

Сердце Акбопе упало. «Стыд какой... Надо же было мне оставить его на столе! Ах, растяпа. Такой позор!..»

Карасай, прочитав письмо, ни слова не сказал невестке, но на другой же день собрался и уехал в район. Пробыл он там три дня и вернулся с Халилом, забрав его из дома Косиманова. Халил заканчивал среднюю школу и собирался поступать в институт, но Карасай настоял, чтобы сын поехал с ним. «Мать что-то прихварывает, хочет тебя видеть. Может, легче станет, когда тебя увидит...»

Для Халила поездка к родителям всегда была настоящим праздником. В прежние годы он приглашал к себе на каникулы друзей, но ребятам скоро надоедал унылый оди-

иокий дом, и они стремились поскорее вырваться к людям, для Халила же роща Малжана была самым любимым местом.

Киев в доме Косимаева, Халил постоянно тосковал по родителям, по Дику и Акбоне. С женой старшего брата у него с первых же дней установились чисто дружеские отношения, как с ровесницей. Они постоянно подшучивали друг над другом, часто ссорились, но тут же мирились. Поводом для ссор бывал язычок невестки, острый и не давший пощады. Парень вспыхивал и долго не мог прийти в себя от смущения. Но вот обида проходила, Халил отправлялся разыскивать невестку, и снова на дворе одиночного дома раздавался веселый смех.

Молчаливый Дику с приездом Халила преображался неузнаваемо. В эти дни улыбка не сходила с его плоского лица, и одно появление Халила во дворе вызывало у него радость. Как ни уставал Дику по хозяйству, но стоило Халилу задеть его, как они оба вцеплялись в пояса друг другу и подолгу баражались где-нибудь под стогом или, если это бывало летом, под деревом. Разнимал их кто-нибудь из взрослых, чаще всего бабушка, не сводившая с любимца глаз. «Эй, непутевой,— кричала она на Дику,— ты что прыгаешь с ребенком, как верблюжья попона? Тебе что, делать нечего?» И Дику поднимался, мрачно подтягивал вечно спадающие залатанные штаны и припимался за работу. Если же их заставал сам Карасай, то одного вида хозяина было достаточно, чтобы Дику забывал о забаве и испуганно вскакивал на ноги. Карасай никогда не выдаст ни слова, ни улыбки,— но и под взглядом его Дику смешается, заторопится и убежит по делам.

...В гостях у Косимаева Карасай не стал задерживаться. Погода портилась, и надо было трогаться в обратный путь.

Широкие розвальни, набитые сухим душистым сеном, выехали со двора. Карасай, не оглядываясь, заторопил лошадей. Третий день, как установился с юга резкий пронзительный ветер и степь потемнела, придавленная черными тяжелыми тучами. Они ползли низко, почти задевая землю набрякшими животами, и время от времени косой холодный дождь принимался рябить темные лужи талого снега.

Карасай, зябко зарываясь поглубже в сено, за всю дорогу не проронил ни слова. Изредка он испытующе поглядывал на счастливое, безмятежное лицо сына, словно искал подтверждения каким-то тайным своим мыслям, но

встречал ответный взгляд и тут же опускал глаза. В последние дни тревожно на душе у старика и, как ни ломай головы, выхода пока не находилось.

Неожиданная смерть Жалила сильно подкосила старика, и он долго не мог оправиться от удара. Теперь вдруг новое несчастье — уходит Акбопе. Невестка, конечно, заберет и малышей, и Карасаю больно сознавать, что через год двое ребятишек совсем забудут его и станут чужими. Но даже не это самое неприятное. Самая большая потеря для хозяйственного старика — Капыш, отец невестки. Крупнейший торговец в омской округе, Капыш пробил дорогу в город и Карасаю. И если до сегодняшнего дня хозяйство одинокого двора в степи процветало, то большая заслуга в этом богатого и влиятельного родственника, знающего где в городе бьют неиссякаемые родники добычи. Теперь всему этому благополучию придет конец, потому что уйдет Акбопе, и Капыш даже не посмотрит в сторону бывшего родственника.

Думая о судьбе невестки, Карасай понимает, что женщина она молодая — не век же ей сидеть во вдовах. Она еще может найти человека, отца своим ребятишкам. Прощай тогда не только внуки, но и часть хозяйства, положенная им после смерти Жалила, и тут уж ничего не поделаешь, придется отдать — закон на их стороне. Жалко, невыносимо больно расставаться старику с накопленным добром. Вся жизнь его в этом хозяйстве, которое он берег пуще собственного глаза. Что за проклятое время настало: одна беда за другой!..

После смерти Жалила последней падежкой старика оставался младший Халил. Но что-то не похоже было, чтобы Халил мечтал остаться под отцовским кровом. Вот кончит школу, поступит в институт. Жизнь в большом городе заставит его забыть родные места. А кому же передаст Карасай свое хозяйство, кто заменит его в этом крепком дворе? Нет, пока еще есть возможность, надо повернуть сына на правильную дорогу. В городе он выучится, женится на какой-нибудь пустой вертлявой девчонке, и ему уж будет не до хозяйства. Надо сейчас, пока не поздно, надеть на ноги молодого Халила падежные путы и удержать его возле отцовского дома. Тогда и Акбопе никуда не уйдет, соображал расчетливый старик, и Капыш ничего не сможет сделать. И овцы целы и волки сыты. Так оно и будет.

Собираясь в район за Халилом, старик украдкой дал жене наставление: «Обработай-ка невестку. Да не сразу, а

постепенно. Так, слово по слову вливай в ухо. А то как бы не вспугнуть...» И заторопился в дорогу. В невестке он почему-то был уверен — согласится. А вот Халил... Что если начнет артачиться? Но тут в душе старика поднялась волна гнева. Он никогда не терпел возражений, не потерпит и теперь. Ноздри его тонкого с горбаткой поса раздулись. Пусть только попробует! Но что-то удерживало его от прямого, откровенного разговора с сыном. В гостях у Косиманова и сейчас, возвращаясь домой, он незаметно наблюдал и приглядывался к Халилу. Неужели пойдет противволи отца?

А Халил, нисколько не догадываясь об отцовских намерениях, радовался поездке и был счастлив, что несколько дней проведет в родных местах.

Письмо родителям Акбопе дописала, по переслать его не смогла. Пока она ждала попутного человека, в гости неожиданно нагрянул сам Капыш. Приезд отца, да еще в отсутствие свекра, когда в доме все притихло в ожидании каких-то надвигающихся тревог, развеселил Акбопе. Она выскоцила из дома и повисла у отца на шее.

Вместе с отцом приехал маленький братишко Марат, и счастливая Акбопе ни па шаг не отпускала его от себя, поминутно целуя и сжимая в объятиях. До замужества она попытка не имела о тоске по родным местам и людям, и теперь давала волю своему изболевшемуся сердцу.

По педолгой была радость молодой женщины. В сумерках она вышла закрыть на почь трубу и уже ступила на лестницу, чтобы подняться на крышу, как вдруг воропль, почевавшее па голых сучьях берез, загадело, сорвалось с места и поднялось над рощей кривливою растрепанной тучей. Акбопе взгляделась и заметила подводу свекра, показавшуюся из-за рощи. Лошади бежали бойко, и скоро собаки подняли неистовый лай и заскакали у запертых ворот.

Выскочивший Дика побежал встречать, а Акбопе, так и не закрыв трубу, юркнула обратно в дом. Неожиданный приезд отца, намеки свекрови и особенно это быстроеозвращение свекра, — предсказывали близкие и нетерпимые перемены. От радости Акбопе не осталось и следа.

Не успела подвода въехать во двор, как соскочивший с розвальней Халил, толстый, в длинной тяжелой шубе, бросился к Дике. Густой курчавый ворот бараньей шубы мешал им дотянуться друг до друга и поцеловаться.

Собаки, узнав хозяина, поднимались на дыбы и парали передними лапами черный полушибок Карасая.

— Кто это? — отрывисто спросил Карасай, не сводя глаз с пары гнедых, привязанных голова к голове. Он узнал лошадей Капыша, но боялся верить глазам.

Дика, не расслышав вопроса, сунулся поближе, но переспросить не посмел. Карасай глянул на его напряженно улыбавшееся лицо и выругался.

— Оглох совсем? Лошадей распряги!

Парень с готовностью бросился к розвальням и стал суетливо хвататься то за дугу, то за хомут, затянутый крепкой рукой старика.

— Ты что, дурак! — рявкнул на него Карасай. — Вожжи сначала отстегни, чересседельник отпусти. Когда ты только научишься?

— Агатай, — робко позвал Дика, — в доме гости. Сват сидит. Только сегодня приехал.

Карасай, хоть и узнал лошадей свата, при словах Дика вздрогнул. Все складывалось не так, как он задумал. У крыльца он помедлил, глядя себе под ноги. Старая сука, ласкаясь, приблизилась к хозяину и потерлась боком о его ноги. Карасай размахнулся и пнул ее по отвисшим сосцам. Собака с воем отлетела в сторону.

— А это чья кляча? — крикнул Карасай, разглядев у привязи брюхатую низкорослую кобылицу, жующую прямо из ямки в снегу хрустящий овес. — Это ты ей овса насыпал, дуралей?

— Нет, я не давал, — замотал головой перепуганный Дика. — Овес хозяйствский. Это мулла Ташим. Булату сундет сделал.

— Ну вот еще... — только и проговорил Карасай, совсем изменившись в лице. — Ладно, лошадей покрепче привяжи, да смотри чтоб снегу не нахватались.

И он направился в дом.

Капыш, уже отдохнувший с дороги, лежал в переднем углу, подбив под локоть пуховую подушку. Карасай с радостным видом устремился к дорогому гостю, и сваты крепко обнялись. Никто и не заподозрил бы, что на душе у хозяина скребут кошки, — настолько сердечно заключил он Капыша в широкие объятия. Едва кивнув мулле, Карасай высвободился из объятий свата и бросился к кроватке, где под белой задернутой занавеской лежал больной вну-чонок. Булат был напуган операцией.

Особенно страшно ему стало, когда мулла, словно мясник на барабана, навалился на него всем телом и крепко ухватил своей жилистой рукой за колено. При воспоминании об острой боли мальчик вновь залился слезами и принялся жаловаться деду.

— Светик мой,— неумело запричитал Карасай, вытягивая губы и боясь притронуться к внуку.— Ну, не плачь, не плачь... Побей деда, побей, это он виноват... Маленький мой, зато теперь ты стал настоящим азаматом.

Необычная говорливость и ласка Карасая, за всю жизнь ни разу не обнявшего даже родного сына, насторожили старую Жамиши. Она перестала возиться у казана и удивленно повернулась к мужу.

В это время в дом вбежал счастливый и радостный Халил, успевший сбросить шубу. Первый он увидел Акбопе, сидевшую спиной к двери, и с разбегу обнял ее. Смеясь, он пытался повернуть невестку к себе лицом, но Акбопе не только не выражала радости, как прежде, а даже сопротивлялась ласке, упрямо отталкивая его. Халил, думая что это нарочно, рассмеялся еще громче и больно ущипнул ее. Молодая женщина вздрогнула и повернулась, и Халил увидел ее тревожные и печальные глаза. Сердце его упало, он невольно опустил руки. Акбопе снова отвернулась. Халил стоял в растерянности. Он не узнавал невестки,— так она изменилась. Куда девалась ее смешливость, отчего она так похудела? Халил всматривался в ее бледное потускневшее лицо и ему казалось, что крохотная родинка под самым глазом Акбопе похожа теперь на перевернутый казан на забытом людьми пепелище.

— Акбопе, а я тебе что-то привез...— неуверенно проговорил он, надеясь хоть как-то расшевелить невестку. Он достал из-за пазухи подарок и тотчас прикрыл его, ожидая, что Акбопе вскочит и станет обнимать. Но молодая женщина словно не слышала.

— Не веришь?— спросил Халил.— Смотри!

И слова Акбопе даже не попшевелились.

Халил вконец расстроился и стал разворачивать сверток. Еще в районе, собираясь в обратную дорогу, отец завел Халила в магазин и сказал, указывая на яркий кусок панбархата:

— У Акбопе что-то настроение неважное. Возьми-ка ей на платье, бабам нравятся такие штуки.

Халил вез подарок и представлял себе, как обрадуется Акбопе. Однако молодая женщина даже не взглянула на

отрез, она еще ниже опустила голову, и Халил увидел, как из глаз ее покатились слезы.

Двор у Карасая, как заячья пора — коровники, копоши, сараи и сарайчики без конца. Незнакомый человек заблудится в этих пристройках.

Ожидая, пока готовится угощенье, Карасай позвал свата пройтись по хозяйству. Так уж повелось у обоих: кто бы ни приезжал, хозяин обязательно ведет гостя похвальиться своим богатством. Люди пожилые и бывалые, они помимают, что количеством накопленного добра и крепка их дружба и уважение друг к другу.

В переднем сарае мулла Ташим разделявал подвешенного за ноги барапа. Жилистые измазанные в крови руки муллы ловко орудуют острым складным ножом с деревянной ручкой. Иногда Ташим откладывает нож и сжатым кулаком отделяет шкуру от мяса. Черная овчина сползает все ниже, свешиваясь на обе стороны и обнажая тушу. Рядом с муллой возятся две старухи. Когда в сарай вошел Карасай со сватом, одна из старух разогнулась и, словно вдевая нитку в иголку, всмотрелась, сощурив глаз, в белевшую тушу мяса.

— У-у, святая скотина,— пропела она, ущипнув подвешанную тушу.— Смотрите, как спег белая. А шея так совсем жиром заросла.

Довольный Карасай полюбовался, как ловко управляется мулла и, кивнув свату, направился дальше.

Старая Жамиш приглянулась готовить угощенье еще до приезда мужа. Карасай, едва осмотрелся в доме, приюхался и подозрительно спросил жену:

— Ты что это варишь, старуха? Чем это пахнет?

Жамиш, догадываясь, что муж приехал педовольский и теперь лишь ищет предлог, чтобы сорвать злость, тем не менее ответила задиристо, без всякой боязни:

— Мясо варится, что же еще. Свинины, кажется, ты не привозил...

Ответ жены обескуражил Карасая. Несколько мгновений он сердито глядел на возившуюся у казана Жамиш, но та, занятая своим делом, не обращала на него никакого внимания. Карасай усмехнулся.

— Слыхал, сват? Нашей старухе пальца в рот не клади. Оттяпает разом... Но ты же конину варишь, Жамиш, а где у нас голова для свата?

— Перестань,— вмешался Капыш.— Не надо больше ничего. Брось, брось, не беспокойся.

— Ну, нет,— запротестовал Карасай,— когда мы к вам приезжаем, так вы нас одним маслом кормите. Сегодня вы у нас в гостях!

И Карасай, поманив Ташима, отправился выбирать барана для угощения.

...Карасай не спеша вел свата по всем дворам и сараям. Они вошли в коровник и остановились. В чисто убранном помещении было тепло и сухо, коровы, лениво вздыхая, лежали на свежей подстилке, уродливо вытятив огромные животы. Наверху, на подвешенном пасесте, завозились куры. Карасай окинул коровник придирчивым хозяйственным глазом.

— Ты посмотри, сват, что этот дуралей патворил. Я же сколько раз говорил, чтобы сено на подстилку не бросал. Так нет: что корове, то и под корову. Половину сена изводит на подстилку.

Капыш миролюбиво заметил свату:

— Не ругайся, Каеке. Сено каждую весну остается, а навоз все равно вернется в твое же хозяйство.

— Это верно,— согласился Карасай и повел гостя в конюшню.

Для коней, чтобы не лягались, хозяин устроил отдельные стойла. Плотный пар стоял в конюшне, и Карасай со сватом остановились на пороге, прислушиваясь как хрустит на конских зубах ядреный овес. Обычно лошади беспокоятся при появлении человека, но ухоженные, пакормленные до отвала кони Карасая даже не посмотрели на вошедших. Карасай прошелся по стойлам, любовно похлопывая лошадей по лоснившимся крутым бокам.

— Ах, лошади,— все-таки ни с чем их не сравнишь. Смотри, как жуют. Четыре машины овса привез осенью, и уж к концу подходит.

— А это что за конь?— заинтересовался Капыш, подходя ближе и всматриваясь.

— Это? А помнишь серую клячу, которую я купил у Малтая?

— Неужели та? Вот не подумал бы. Смотри, как поправилась. Даже мастью вроде другая стала.

— Ага! А ведь тогда никто не верил, что из нее что-нибудь получится. Нет, корм — святое дело. Жрет так, что не напасешься. И воды по пять-шесть ведер. Зато смотри какая стала!

— Сколько за нее дал, сват?

— Сколько? Просил он полторы. Но я посулил магарыч, и он сбавил до одной. Насчет водки с тим хоть пе заинкажайся — ни за что не устоит. Да и одни разве он? — Карасай, любуясь раскормленной лошадью, с удовольствием потер широкими, как лопата, ладонями. — Зато теперь за нее мне без всяких четыре с половиной отвалят. А то и все пять. Мясо у людей кончается — весна подходит. А у кого сейчас скотина на откорме стоит? Да ни у кого. Слава богу, что живой после зимы осталась... Недавно пять голов сплавил. На эту тоже скоро найдутся.

Капыш, слушая разглагольствования хозяина, с интересом рассматривал лошадей.

— Пай, пай,— воскликнул он.— Вот это саврасый! Да он же лопнет у тебя, сват!

И чтобы не обидеть Карасая, боявшегося с глаза, гость сплюнул три раза, затем с любовью запустил пальцы в густую шелковистую гриву коня. Высокий статный конь, стукнув копытом, переступил точеными ногами. Гость опытной рукой прошелся по гладкому загривку саврасового, огладил шею,— везде плотно и крепко, не ушибешь.

Карасай наклонился к яслим, зачерпнул из колоды нетронутый овес.

— Что-то есть перестал он последнее время. Застоялся, что ли?

И они перешли в овчарню, просторный амбар с новой крышей. Возле овчарни стоял плотно уложенный стог сена, придавленный со всех сторон жердями.

Стог уже был пачат, и из сена торчало несколько деревянных ручек граблей, которыми Дика, не залезая наверх, дергает скоту корм.

Овчарню старики смотреть не стали. Не стовариваясь, они опустились на перевернутую колоду. Здесь было их излюбленное место для бесед.

Капыш молчал, кутаясь в теплое меховое пальто с каракулевым воротником. Ему было далеко за пятьдесят, однако лицо выглядело удивительно молодым, почти без морщин и складок. Белолицый, моложавый, он даже теперь очень напоминал свою мать, знаменитую когда-то красавицу Салиму, дочь богатого омского торговца Габидуллы, имевшего просторный дом в двенадцать комнат. Поглядывая на свата, Капыш выжидал и тонко усмехался, чуть показывая золотые зубы, блестевшие при тусклом свете

и фросипового фонаря. Он знал, что Карасай не зря привел его сюда, на обычное для серьезных разговоров место.

— Ну, что нового в Омске? — прокашлявшись, спросил Карасай.

— А что нового? Все по-старому. Я только недавно вернулся оттуда, — в Казачьем был два дня. С мясом плохо в городе, вот что. Колбаса еще есть, а мяса почти не бывает. Приезжих полно, на целину едут. Аж в глазах рябит. Может, потому и мяса в магазины мало попадает, головные да рестораны забирают.

— То-то, видно, на базаре цены подпялись! — осторожно поинтересовался Карасай.

— Еще как! Цены такие, что обожжешься. Баранина жирная — тридцать, тридцать пять. Сейчас самое время продавать. Только вот дорога начинает портиться...

Разговор долго крутится вокруг да около, но никто из стариков не заговаривает о главном. Капыш, посмеиваясь в душе, ждет, когда не выдержит Карасай, однако тому, хотя не терпится завести речь о судьбе невестки, не хочется ронять достоинства в глазах хитрого свата и повести дело так, чтобы тот сам подал повод вспомнить об Акбопе.

Приезд свата, да еще в такую погоду, уже сам по себе говорил о многом, и Карасай догадывался, что он пожаловал совсем не затем, чтобы справиться о здоровье и поговорить о ценах на мясо. Акбопе соблюла обычай и выдержала год траура после смерти мужа. Как она теперь думает устроить свою судьбу? И, главное, что скажет об этом сам Капыш? Договариваться обо всем надо сегодня, сейчас, иначе завтра он засобирается домой и уедет.

Капыш и в самом деле не думал задерживаться в доме свата. Он первым не выдержал загадочных недомолвок и откровенно заявил Карасаю:

— Ну, Каеке, завтра, даст бог, надо трогаться обратно. Дела, некогда. Но к вам у меня большая просьба.

Он сказал и умолк. Карасай затаил дыхание. В нем все пасторожилось в ожидании. Словно завороженный смотрел он, как сват полез в карман и достал изящный золотой портсигар. Выдержать напряженное молчание у Карасая не хватило сил:

— Говори, сват, я слушаю. У нас тоже есть одно желание, мы тоже будем тебя просить.

— А разве я когда-нибудь не исполнял ваших желаний, Каеке? Но на этот раз у меня действительно серьезный разговор.

Карасай, волниясь, кивнул: Капыш как бы в глубоком раздумье исторопливо разгладил свои красивые, словно подбритые брови.

— Видите ли, Кареке, в наше время, если только задуматься, все стремления человека сводятся к тому, чтобы прожить как можно интереснее. Вспомните, что говорили раньше. «Крылья джигита — конь». И ведь каких копей держали! А что конь пынче? Пынче машины появились. Купит человек машину — и весь мир перед ним. Я на своей знаете сколько поездил? Да и для хозяйства лучше вещи не сыщешь. Куда захотел — раз-два — и там.

— Конечно, какой может быть разговор! — ввернул Карасай. — Я вот тоже хочу купить Халилу машину. Пускай себе катаются с Акболеш. Молодые же, им все интересно.

Однако сват не подал и вида, что понял осторожный намек. Он по-прежнему гнул свое.

— У меня с машиной сейчас немного не того... Состарилась, поизносилась. Да и дельце одно удачное подворачивается. Так что... — Капыш не договорил и принялся старательно раскуривать потухшую папиросу. Карасай терпеливо ждал.

— На машины сейчас, сами знаете, Кареке, очереди большие. У нас в Омске, например, нечего и думать дождаться. В прошлом году мы с братом Йумабаем записались в Куломзино. Там меньше цароду, и теперь очередь подошла. Старую машину я хочу продать. Только сказки, с руками оторвут. И за прежнюю цену. Желающих хоть пруд пруди...

«К чему это он?» — никак не мог понять Карасай. Он все ждал, что сват заговорит о дочери, и уже давно подготовился к этому, но тот все тянул и мямлил, пока наконец не набрался решимости.

— И вот, Кареке... мне нужны деньги. На несколько месяцев. За этим я и приехал к вам в такую даль.

У Карасая отлегло от сердца. «Только-то?» От радости он чуть не рассмеялся.

— Сколько вам? — спросил он.

— Около двадцати тысяч... Но я скоро отдам!

— Да ну, что за разговор! — запротестовал Карасай. — Мало ли у вас переходит из рук в руки... Найдем. Погрызем свои карманы.

— Вот и хорошо, — с облегчением произнес Капыш. —

Аи, Караке, до смерти не забуду! С таким сватом ни за что не прощадешь.

— О чём вы говорите, сват! Я же для вас... Вот не пощирите, хоть и нет моего Жалила на свете, но для вас я всё сейчас душу отдаю.

— Ой, бай-ау! — укоризненно пропел Капыш, покачив головой. — О чём вы говорите? «Нет Жалила...» Да разве наше сватовство не на тысячу лет?

— Правда, истинная правда, — подхватил обрадованный Карасай. — Акбопе для нас сейчас не меньше Жалила. Как родная стала.

— Ну вот, а вы говорите...

Капыш никак не ожидал, что дело его уладится так быстро, и был доволен, что сумел ловко обработать привыкшего свата. Карасай же, без ума от радости, благогородил судьбу, что она сама послала ему Капыша в руки. Другой более удобный случай, чтобы завершить задуманное, едва ли представится. Поэтому, когда Капыш, весьма довольный собой, поднялся, чтобы вернуться в дом, Карасай потянул его за полу и снова усадил рядом.

— Погоди-ка, сват. Теперь ты послушай меня. Как говорится, на ловца и зверь бежит, так и ты пожаловал в тот момент, когда я сам собирался к тебе.

«Наверно, опять что-нибудь о торговле», — с легким сердцем подумал Капыш и закурил.

— Правду говорят, сват, что от судьбы не убежишь, — продолжал Карасай. — В прошлом году, когда случилось с Жалилом, я несколько не надеялся, что долго протяну. Думал, отправлюсь следом же за ним. Но, видно, не зря говорят: за мертвым не умирают.

Капыш утвердительно кивнул головой:

— Конечно. Живой ищет жизнь, а смерть идет своей дорогой.

— Так вот, сейчас у нас со старухой новая боль и, пожалуй, ничуть не легче, чем прошлогодняя. Это — Акбопе. Да, да. Как подумаем, что она покинет нас, на душе черно. Но теперь, слава богу, ты успокоил нас.

Капыш, соображая, поднял голову, тонкая бровь его полезла вверх. Но Карасай, словно не замечая, что происходит со сватом, продолжал как ни в чём не бывало.

— Что мы, старики, знаем, хоть и сидим день-деньской дома? Это мие Жамиш сказала, она узпала. Видно, детки наши решили не сиротить двух малышей, не отдавать в чужие руки. И ведь как правильно, как хорошо решили!

Да только почему-то боятся нам сказать об этом. А разве мы враги им, разве мы станем разнимать их руки? Пусть живут и будут счастливы. Халил у меня уже совсем взрослый парень, поучился, побрался ума-разума, пора и на хозяйство становиться, своим отдельным домом жить. И я только рад, что у них с Акбопе так хорошо все получилось. Пусть будут счастливы! И ты, сват, дай им свое благословение. Илляхи аминь!

Карасай медленно, священнодействуя, провел ладонями по лицу и краем глаза успел заметить растерянность свата. В душе Капыш не был против замужества дочери, но он не ожидал, что согласится Халил. Взять жену старшего брата с детьми... Ведь это же аменгерство, старый дедовский обычай. А Халил... Видя замешательство свата, Карасай решил не давать ему времени опомниться и завершил разговор:

— Теперь, сват, как только степь подсохнет, приезжайте к нам со старухой, порадуем детей, устроим той. Только прошу вас — как будете уезжать, благословите их, а то они не знают, как им быть. Успокойте их, скажите, что вы согласны.

Капыш молча кивнул и первым направился в дом.

Довольный успехом, Карасай решил не терять времени и припялся за сына. Он вызвал его из дома, привел и посадил рядом с собой на место свата. Халил, привыкший к суровому нелюдимому нраву отца, был удивлен всем этим и терялся в догадках. Может быть, он на самом деле становится взрослым человеком, если отец приглашает его для серьезного разговора?

— Как ты думаешь, — спросил Карасай, — отчего это сват приехал к нам в такую распутьцу?

Халил, недоумевая, к чему весь этот разговор, осторожно покачал плечами:

— Не знаю, коке... Наверно, просто так, павестить.

— Как бы не так! Навестить... Он приехал, чтобы добить меня! Понял? Мало мне, что я потерял Жалила. Так теперь он хочет совсем опустошить мой дом.

Раздраженный голос Карасая глухо раздавался в мрачном, еле освещенном сарае. Огромная тень старика металась по грязной стene овчарии. Халилу становилось страшно от слов отца.

— Как это... опустошить?

— А вот так. Капыш приехал, чтобы забрать Акбопе вместе с детьми.

— Забрать?.. Насовсем?.. — невольно вырвалось у Халила.

Он был поражен. Никогда раньше он не задумывался над тем, кто для него жена погибшего старшего брата. Он относился к ней, как к родному близкому человеку, постоянно живущему в доме отца, и был уверен, что Акбопе всегда будет рядом. Оказывается, Акбопе может уехать и уехать навсегда. Халил перевел дух. Он даже не подозревал, что эта женщина так ему дорога. Теперь Халилу казалось, что и приезжал-то он в дом отца лишь только потому, что надеялся увидеть Акбопе, услышать ее шутки, смех, испытать счастье нескольких проведенных вместе дней. Одноко станет ему в отцовском доме без Акбопе. Сердце юноши скжала остшая тревога. Словно спрашивая совета, он поднял па отца глаза.

Карасай говорил:

— Я чувствовал, зачем он приехал. В прошлом году, еще земля на могиле не высохла, к Акбопе уже приезжали свататься. Я тебе не хотел говорить, чтобы зря не переживал. А теперь... Сам знаешь, кто не позарится па Акбопе. Такую женщину не часто встретишь. Тут до меня слух дошел, что ее собираются выдать за единственного сына омского торговца Молдабая. Я поспрашивал кое у кого: оказалось, правда. Так что вот зачем и приехал Капыш. Везет этому Молдабаю, даже зло берет. У таких даже камень в гору катится — и Карасай в досаде сплюнул.

— Может, нам хоть детей у себя оставить? — робко высказался Халил и тут же почувствовал, что пет, не дети дороги ему, сама Акбопе, без которой совсем опустеет отцовский дом.

— Ты что, сынок! Кто же теперь оставляет своих детей? Без Жалила для нее роднее отец и мать, чем свекор и свекровь. Тут и говорить нечего. Нет, надо что-то другое придумать.

— А что теперь придумаешь? — грустно проговорил Халил. Он совсем потерял голову, представив, что завтра утром Капыш насовсем увезет Акбопе. Если бы найти способ задержать ее хоть па несколько дней! За это время нашелся бы какой-нибудь выход. Неужели отец ничего не может придумать?

Карасай будто только и ждал этого мгновения.

— Есть способ, — сказал он, твердо глядя в растерянные глаза сына. — Есть, и он у тебя в руках. Если ты нач-

пешь действовать, то Капыша я возьму па себя. Он у меня и не никнет.

— А что я могу? — залепетал Халил. — Какой способ?

Карасай в сердцах хлопнул себя по коленям. Вот святая простота! Ну в кого он такой уродился? Ведь, кажется, яспей же ясного... И все же Карасай сдержал раздражение и пришёлся ласково, терпеливо втолковывать сыну:

— Халил-жан, я уж давно хотел с тобою поговорить. Это и мое желание и твоей матери. Оба мы хотим этого... — Карасай на минуту замялся, поднял грабли и принял парапать ими по земле. — В общем, так. Жалил был наш сын, а твой брат. И вы оба росли на наших глазах, как близнецы-ягната... Что поделаешь, Жалила не стало. Но у него остались дети, живые сиротки. Неужели мы отдадим их в чужие руки? Да ведь нам прощения не будет, и душа Жалила изведется вся на том свете. Сынок, замени им Жалила. Возьми сироток под свое крыло, согрей. Ты же видишь — такую, как Акбопе, редко встретишь. И в этом нет ничего плохого. Обычай этот достался нам от отцов, и не нам его отвергать. Послушай нас с матерью, сынок.

Так вот куда клонит отец! Халил отшатнулся и страшными глазами посмотрел на Карасая. Он отказывался верить собственным ушам. Сердце его было резко и гулко.

Карасай как ни в чем не бывало продолжал парапать граблями землю. Он даже не взглянул на сына, по его тягостное молчание принял желанное согласие.

— Сынок, если ты хочешь учиться — учись. Разве кто против? Но не отдавай бедную Акбопе чужим людям. Она же от слез изведется... А что касается Капыша — не беспокойся. Согласится — хорошо, скажет против — я сам Акбопеш никуда не выпущу из дома. Теперь это твой человек.

— Нет, нет! — прорвалось наконец у Халила. — Нет! Это же позор, коке! Позор! Даже не говорите мне!

Крик Халила прозвучал так громко, что напуганные овцы перестали жевать и забеспокоились. Во мраке овтарии их глаза светились яркими зеленоватыми огоньками.

Карасай грозно взглянул на сына:

— Какой позор? О каком позоре ты говоришь мне? Я тебя что, с обрыва толкаю? Откуда ты взялся, чтобы учить отца? Или ты умнее остальных? Вон, люди пожилые жеяются и пережеяются. А ты что, лучше их? Или, может, тебе Акбопе не подходит? А ты зпаешь, что сын Молдабая

в логоте купается, а всю зиму обивает пороги у Капыша? Не дотягивается до Акбопе. Так что перестань-ка упрямиться! Цепи золото, пока оно у тебя в руках.— Он перевел дух и продолжал спокойнее и тише:— Акбопе терять нам никак неизвестно. Может быть ехать учиться хоть завтра. Потом, если что, отпустишь ее, за это никто с тебя не спросит. Да и забы— не зараза, навечно не пристанут. Но сейчас ты должна заменить Жалила. Что будет потом — посмотрим. А сегодня бросай мальчишество и делай так, как тебе говорят. Я сам все устрою.

И не желая больше тратить попусту слов, Карасай чекко поднялся и зашагал прочь, уверенно и твердо ставя ноги. Халил остался сидеть, сжимая ладонями горящие щеки. Наставления отца смущали доходили до сознания. Было такое ощущение, будто он, легкий и радостный, бежал, ничего не подозревая, по тропинке, как вдруг невзначай наступил на валявшиеся грабли и получил крепкий и неожиданный удар по лбу... Что же происходит на белом свете?

На другой день Акбопе поднялась рано утром и долго, нехотя одевалась. Жамиш хлопатала у печки, разогревая кипящий ужин и кипятя чай. Опа с состраданием посмотрела на невестку, но ничего не сказала и только нике нагнулась к печке, ожесточенно орудуя в углях кочергой.

— Апа! — позвала невестка. — Отец, паверно, сегодня уедет.

— Да, милая, — отозвалась свекровь. — Сейчас позавтракает и поедет. Надо торопиться, а то развезет и не проедешь.

Акбопе в нерешительности остановилась возле копотившейся свекрови.

— Апа, вы только не огорчайтесь. Я тоже хочу ехать...

Жамиш вскочила и, бледная, едва не плача, уставилась на невестку. Кочерга, загремев по полу, вышла из ее руки.

— Душа моя, что ты говоришь? Как же я могу отпустить тебя? Неужели ты на самом деле хочешь бросить нас?

Опа жалела невестку и хотела ей добра, но в тоже время ей было невыносимо горько расставаться. Акбопе бросилась к старухе и крепко обняла ее за шею.

— Апа, — шептала она в самое ухо, — я же вернусь. Неужели вы думаете, что я брошу вас? Никуда я не уйду.

Я только съезжу, поживу у своих и опять приеду. Правда, правда!

Жамиш долгим грустным взглядом посмотрела в белое лицо невестки, потом поцеловала ее в большие черные глаза,— в один и другой.

— Приготовь тогда завтрак. Я пойду, положу свату подарки. Ты не видела, где мешочек?

Когда расстроенная старуха отправилась в кладовку, следом за ней неслышно скользнул Карасай, подслушавший за дверями весь ее разговор с невесткой. Не успела Жамиш вставить ключ в замок, как он подскочил и грубо схватил ее за руку.

— Безмозглая дура! Ты что, совсем ума лишилась? Куда ты собираешься?

— А что я могу? Домой опа хочет.

— Никуда не поедет! И сиди, не бегай.

— Да пусть съездит,— Жамиш решительно отворила кладовку.— Сколько ей сидеть в трауре? Хоть развеется немножко.

— Опять за свое! А разве здесь ее кто-нибудь держит взаперти? Я же тебе только вчера вдалбливал, безмозглой! Только свели их с Халилом, а ты хочешь ее отправить. Пусть хоть привыкнут как следует.

— Потом привыкнут. Если правятся друг дружке — сама вернется. Ты что — силой хочешь их свести?

— Ты чего болтаешь? Ты чего болтаешь, дура? — загремел было Карасай, наступая на жену, но на крыльце послышался кашель проснувшегося Капыша, и старик утих.

— Ну! — яростно пригрозил он жене.— Если только мы потеряем Акбопе,— я тебя!

Однако задержать невестку в доме так и не удалось. Акбопе одела потеплее дочку и уселилась в сани. Отговорить ее пробовал сам Капыш, но баюванная, выросшая на всем готовом, Акбопе не стала и слушать отца. Удрученный Капыш украдкой шепнул свату:

— Кареке, она такая же моя дочь, как и твоя. Не думай, что я увожу ее насовсем. Сама просится, видно, по матери соскучилась. А насчет Халила... мы же договорились. Других желаний у меня нет.

Карасай все еще пытался повернуть по-своему.

— Пусть едет, сват, и Халил поедет с вами. Если в санях тесно, я его верхом отправлю. Побудут у вас вместе, поживут, а уж той потом устроим.

Оп послал жену сказать сыну, чтобы собирался в дорогу, но Халил даже не открыл комнаты и проговорил из-за закрытой двери слабым голосом: «Не могу, апа. Заболел что-то».

Мягкая кошевка, запряженная парой гнедых, выехала со двора. Когда хруст копыт и визг полозьев раздались под окнами дома, Халил в одном белье вскочил с постели. Тонкий слой снега на стекле мешал глядеть, и Халил, лихорадочно дыша, растопил крохотный глазок. Белела подмороженная почью степь, кошевка уже заворачивала к роще. Переступая босыми ногами на холодном полу, Халил долго смотрел вслед уезжавшим. На сердце было тоскливо и горько, как никогда, и он отошел от окна только тогда, когда сани совсем скрылись из виду.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Зима была снежной, вьюжной, и с наступлением первого тепла степь затопило половодье. Южный ветер быстро согнал спег, и зябкие холмы оголились, словно верблюжьи горбы. Весна вступила в свои права. Солнце, еще вчера закрытое плотными низкими тучами, сияло над пробудившейся, мирно парившей землей. Снег оставался лишь в глубине оврагов да на северных склонах крутых холмов.

По раскисшим дорогам еще не было проезда, но тракторный поезд, волоча по грязи тяжелые сани с аккуратными зелеными домиками, тронулся в степь. Гул машин заполнил окрестности. Езозя по жидкой вязкой грязи, монгучие трактора упрямо одолевали степное бездорожье. Полозья громоздких деревянных саней глубоко врезались в податливую землю, обнажая сырую и стылую, как у расплаканного легкого, изнанку.

Трактора\* уходили все дальше, скоро заглох и совсем пропал надсадный гул моторов, и теперь казалось, будто зеленые домики сами собой плывут в оживывающую под солнцем степь.

Два проворных «газика», разбрзыгивая комья грязи, поравнялись с колонной и некоторое время шли рядом. Но вот трактора, оглушительно застреляв, стали одолевать крутой косогор, и машины легко ушли вперед.

— Вы еще не застали наших морозов, — говорил уполномоченный райкома, повернувшись к сидевшим сзади. Моргуну и Райхан. — Спросите-ка, каково досталось тем,

кто в «Ленинградском» или «Черниговском». Вам что — приехали весной, тепло. А тем пришлось испытать. Обмороженных много, а было, что и замерзали. Всего народ хватил.

— Да, холода здесь страшные,— сказала Райхан.

— Так вы считаете, что нам повезло? — запротестовал Моргун, щуря смеющиеся глаза. — Ну, пасчет тепла я еще согласен. Но зато те хоть что-то успели сделать зимой. А нам, как птичкам весенним, приходится браться за дело только теперь. У меня сейчас вот что из головы не выходит,— и директор совхоза постучал цветным карандашом по схеме угодий, разложенной на коленях.

Шофер, напряженно карауливший каждую колдобину на размытой дороге, мельком глянул на директора.

— Федор Трофимович, а ведь тут действительно как птичкам придется — и гнезда вить и кормежку добывать.

— Ну вот, а товарищ говорит, что нам повезло!

В машине засмеялись. Уполномоченный райкома миролюбиво заключил:

— Повезло — потому что приехали в самое тепло, ну, а не повезло — потому что припозднились...

С полей, тянувшихся по обе стороны дороги, уже сходила вода, и земля подсыхала. Вдали в копившихся волнах зноя возникали и пропадали недолгие причудливые видения — миражи. Ветер, напоенный сыростью, пролетал над степью, и в затопленных низинах рябилась синеватая гладь воды. Уполномоченный говорил, что новоселы, приехавшие зимой, уже подвезли стройматериалы и у них все готово для строительства. У тех же, кто прибыл весной, сейчас самое напряженное время: совпали все кампании — и строить надо и за пахоту приниматься.

— Завтра надо трактористов разбить по бригадам, — сказала Райхан, озабоченно глядя по сторонам.

— Кстати, прошу вас не забыть вот о чем, — проговорил уполномоченный, оборачиваясь с переднего сиденья. — У нас тут уже кое-какой опыт накопился, и я хочу обратить ваше внимание... Самое необходимое для людей — столевые. Не улыбайтесь, это не шуточки. У казахов есть хорошая поговорка: «Как человек поет, так он и работает». А вам туговато придется нынешней весной. Смотрите, чтоб люди не жаловались.

Директор совхоза, соглашаясь, покивал головой. Об условиях жизни на новых землях он был наслышан еще раньше, поэтому в последнем вагончике тракторного поезда

сдало все необходимое оборудование для рабочей столовой. Помимо того — перед самым отъездом председатель рабочего будущего совхоза познакомил его с представительной красивой женщиной — заведующей совхозной столовой.

— Работала завзято в ресторане, в городе. Проницать и любить и жаловать, — аттестовал ее председатель.

Женщина манерно протянула полную белую руку.

— Агафья Никаноровна, — нараспев представилась она, пристально глядя на директора четко подведенными глазами.

Она была старше Моргуна, но держалась с ним, как с ровесником, и с первых же минут попыталась установить теплые дружеские отношения. Федор Трофимович поморщился — все не нравилось ему в этой женщине: ее гладкое лицо без единой морщинки, манера настойчиво заглядывать в глаза, и даже какая-то вызывающая полнота, подчеркнутая тугой юбкой. Агафья Никаноровна, конечно, знала, что нравится мужчинам, и всячески старалась это подчеркнуть. Директор с первого взгляда отметил, насколько умело и экономно пользовалась она косметикой.

Впоследствии Федор Трофимович упрекнул себя задержанность и подчеркнуто холодный тон: нельзя же, подумал он, составлять мнение о человеке столь скоропалительно. Но, вспоминая потом людей, с которыми он успел познакомиться за последние дни, Моргун невольно поражался их непохожести одного на другого, их нескончаемому разнообразию. Ну, заведующая столовой — это, положим, одно. А вот главный инженер Райхап. Он увидел ее только вчера в кабинете секретаря райкома. Познакомились, пожали руки. Правда, часа два говорили о будущем совхозе. Но разве можно узнать человека за каких-то два часа?

Машинка, мотаясь из стороны в сторону, продолжала упрямо одолевать неровную дорогу. Федор Трофимович поглядывая на свою соседку, размышил о том, что поразило его еще вчера во время разговора.

Он удивился, что Райхан так чисто, без малейшего акцента говорит по-русски. Его покорила ее манера излагать свои мысли кратко, сдержанно, с мужской логикой. Он никогда раньше не бывал в этих местах, как и вообще на Востоке, и представление о здешних людях было чисто книжным. Мужчины казались ему какими-то джигитую-

шими молодцами, чем-то похожими на его любимого Хаджи Мурата, а женщины — покорными и робкими созданиями, всецело занятymi своими мелкими домашними заботами. Встреча с Райхан была первым открытием для молодого аспиранта киевской сельскохозяйственной Академии, и он еще вчера сказал себе, что мало, слишком мало интересовался он родной страной и так же непростиительно мало знал ее. А вообще, если быть откровенным, то он еще ничего не знал и не сделал настоящего. Прежде, занимаясь акробатикой, даже добившись звания мастера, он был сухим и гибким, как резина, но теперь раздобрел, погрузел и хоть в походке его, в манерах, в развороте широких плеч угадывался еще бывалый спортсмен, однако на деле спорт для него ушел в безвозвратное прошлое. Но что он знал об этих республиках? Сейчас жизнь как бы начинилась заново, на новом месте, с новыми самыми разнообразными людьми. Земля, куда он приехал, оказывается, полна самых неожиданных открытий, и он только теперь начинал всерьез задумываться, что мало, совсем недостаточно знать, где что находится и добывается. Настоящее знание жизни, ее опыт и мудрость приходят наравне со всеми этими людьми, которые приехали сюда с разных концов страны, и жизнь, судьба которых теперь в его руках, в руках его ближайших помощников.

Приглядываясь к Райхан, как к своей первой помощнице, Федор Трофимович был доволен, что судьба послала ему именно такого человека. Вчера он убедился, что главный инженер превосходно знает земли будущего хозяйства. Секретарь райкома лишь поддакивал ей, как школьник, когда они взялись составлять карту посевов и пастбищ совхоза. Моргун сам в свое время работал агрономом и считал, что к его знаниям не хватает лишь ученоей степени. Вчера же он убедился, что край, куда он приехал, предстал перед ним мудреной, никогда еще не читанной книгой, и все его прежние знания не значат ничего по сравнению с тем, что знает об этих местах эта немолодая усталая женщина.

Из окна машины по обе стороны дороги видна просыпающая бескрайнюю степь. Нигде ни кустика, ни горки. Изредка глаз останавливается на небольших, поросших камышами озерах. Не тронутый человеком камыш разросся здесь пастолько буйно, что порой совсем не видно воды,—лишь посредине едва проблескивает крохотное блюдце.

Райхан, пригнувшись к окну, оглядывает знакомые места.

— Вот видите,— обращается она к Моргуну,— озеро Камысты-коль. А там, дальше — озера Саржап. Говорят, когда-то там было джайллю Саржана. Богатый человек... А вот, видите, чернеет? Там тальник. А возле него заброшенная зимовка Есдаулета. А там, правее на холме — зимовка Салима. Были когда-то братья, богатые люди, Салим и Малим.

Федор Трофимович, всматриваясь и запоминая все, что ему показывали, заметил, что с тех пор, как они выехали из райцентра, им попалось всего два колхоза, а старых заброшенных зимовок вот уже десять или двенадцать. Поже, раньше аулов было больше.

— Вы хотите сказать: не стало ли меньше людей? — уточнила Райхан. — Нет, население не уменьшилось. Правда, в тридцатые годы народу сильно подсократилось, ну, а в войну — сами понимаете... И все же не поэтому так редко сейчас жилье. Казахи всегда вели кочевую жизнь. Зиму они проводили на зимовках, а лето — на джайллю. И вот в тридцатых годах, в коллективизацию, народ стал переходить к оседлости. Так что все эти зимовки — это как памятники прошлой жизни. Ну, а для народа теперь — ориентиры в степи. Здесь так и считают: от зимовки такого-то до следующей столько-то километров. Луговину Есдаулета знают, лощину Салима. То же самое и с дорогами. Приметы надежные. И вам, Федор Трофимович, все это запомнить не худо. На первых порах ориентироваться только так придется. Кстати, запомните: от зимовки Есдаулета пачинаются земли нашего совхоза. Вот оттуда.

Диковинные, непривычные названия здешних мест запали в память Моргуну еще вчера, когда секретарь райкома вместе с Райхан рассматривали карту земель Березовского совхоза. Переговариваясь, они то и дело упоминали какие-то зимовки, овраги, озеро и ставили на карте отметки. Федор Трофимович прислушивался и запоминал, и когда его спросили о чем-то, он свободно заговорил о тех же местах, называя их по-местному, и Райхан, если судить по ее удивленному взгляду, была приятно поражена.

«Газик» натужно полез на крутой осклизлый холм. Шофер, не отрывая глаз от узкой дорожки, уходящей вверх, быстро,lixорадочно орудовал барабанкой. Чем выше взбиралась машина, тем дальше открывались глазам окрестности. В мареве солнечного дня осколками зеркала

сверкали разбросанные по степи озера. Старинные заброшенные зимовки, которые проехали и потеряли из виду, вновь стали видны с голой вершины холма. С задраным радиатором машина из последних сил вскарабкалась на самый верх и тут же, словно бодливый бычок, пригнувшись, устремилась вниз в лощину, напомнившую дно огромного казана.

— Далеко же тут колхоз от колхоза,— проговорил Моргун, дерясь за спинку переднего сиденья и взглядывая на спидометр.— Километров тридцать, пожалуй, проехали... А это что там впереди — не колхоз?

— Нет,— замотал головой райкомовец.— Это постоянный двор. Мы его называем «Рощей Маликана». Ваша будущая резиденция, Федор Трофимович.

Скоро машина миновала рощу и пролетела мимо однокотого дома с широкой плоской крышей. Целая свора собак вырвалась со двора и бросилась следом. Собаки неслись за «газиком» словно за убегающим зверем, заливаясь осторвленным лаем и чуть не бросаясь под колеса. Потом они отстали и с видом исполненного долга поплелись обратно.

Было уже за полдень, когда приехавшие выбрали место для будущей усадьбы совхоза. Недалеко от рощи Моргун вбил в талую, никем еще не тронутую землю небольшой яблоневый колышек, которым благословил его в дальнюю дорогу отец. Начало новому хозяйству, таким образом, было положено. После этого, осматривая окрестности, приехавшие наткнулись на развалины забытого становища, и Райхан, чтобы мужчины не заметили ее слез, прошла вперед. Здесь, возле этих развалин, Райхан нежданно-негаданно встретила Карасая, и они онемели, застыв друг против друга, и лишь одна ненависть была в их глазах...

«Как, разве ты не умерла? — испуганно метались зрачки Карасая.

«А ты, еще жив?!»

Но никто из них не проронил ни слова.

В полном молчании приехавшие расселись по местам, и машины одна за другой укатили обратно. Карасай и его черная кобыла смотрели им вслед до тех пор, пока они не скрылись.

На обратном пути уже не было разговоров. Райхан сидела в глубокой задумчивости, и все понимали, что про-

изошло что-то важное, и не павязывались к ней с расспросами.

Первым нарушил молчание уполномоченный райкома, когда машины остановились на развилке степной дороги.

— Ну, товарищи, будьте здоровы. До завтра. По этой дороге вы попадете прямо в «Жана талап»... Я думаю, тракторы завтра доберутся до рощи Малжана. Вы их встретьте, а к полудню я тоже буду у вас. До свиданья.— И он пересел во вторую машину.

Они разъехались, уполномоченный отправился в сторону совхоза «Верный».

Федор Трофимович, посматривая по обе стороны дороги, обратил внимание, что снега здесь давно уже нет, а кое-где ветер задувает красноватую пыль. Где-то недалеку начинались солончаки — окрестности озера «Жаман-туз». Зимой и летом в этих местах вовсю хозяйствует ветер, иссушая землю. Снег задерживается только в камышах, и на солончаках приживаются одни колючки да кое-где метелочки неприхотливого седого ковыля.

— Федор Трофимович,— как бы нехотя позвала Райхан, и директор, всю дорогу тяготившийся напряженным молчанием, с готовностью повернулся к ней.— Наши земли вот до этих мест. Смотрите, снега совсем не осталось. И земля готова,— я знаю, проверяла. Если через неделю не начнем пахоту, почва пересохнет. И по-моему, начинать надо именно отсюда. Или вы считаете иначе?

— Что вы, Райхан Султановна, тут только вам карты в руки. Я думаю больше,— добавил Моргун,— пока не освоюсь, так вы уж командуйте мной без стесненья. Ладно?

— Командуйте...— усмехнулась Райхан.— Здесь командиновать нечего. Слышали, что колхоз «Жана-талап» присоединяют к нам? Так я этот колхоз знаю. У них много земли у озера «Жаман-туз». Солончаки, пахать нечего и думать. А в райкоме нам, кажется, запланировали их распахать. Чувствуете, чем пахнет? Вот тут уж наши пакомандируют. Ну, да посмотрим, что получится...

— Райхан приехала!.. Райхан!..

Это известие взбаламутило весь поселок, и скоро у маленького домика на самой окраине стало не протолкнуться. А народ все прибывал, тащились старики и старухи, хорошо помнившие прежнюю Райхан, с улюлюканьем бежали по улицам мальчишки. Каждому хотелось

своими глазами взглянуть на человека, давным-давно считавшегося пропавшим.

У калитки, сдерживая напор любопытных, стоял шофер Оспан и никого не пускал во двор.

— Ну куда, куда? — гудел оп недовольным басом.— Успеете еще. Завтра придет. Сейчас нельзя.

— Да ты с ума сошел! — пробовали пристыдить шофера.— Столько лет о человеке не было ни слуху ни духу... Давай, пропускай хоть по одному. Зайдем, отдадим салем и уйдем.

— Вам что, каждому объяснять надо? — выходил из себя Оспан.— Райхан не до вас сейчас. У пей мать без памяти лежит. И так старухе плохо было, а тут еще... Да-вайте заворачивайте.

Но уходить никому не хотелось. Старухи, собираясь в кучки, живо обсуждали событие.

— Матери-то каково, а? Бедная, бедная. Я сама, как только услыхала, совсем потеряла голову. Видите, галопши как попало падела.

— Но еще молодец Лиза-то. У другой бы сердце из груди выскочило.

— А все-таки дождалась. Сколько она, голубушка, твердила: увидеть бы Райхан и помирать можно. Дождалась вот.

— Э, чего говорить... Что уж написано на роду, того не миновать. Но сама я не думала, не гадала увидеть ее живой. Никак не думала!.. Это когда же было-то? Да зимой, кажись, зимой. Увидела я Райхан во сне. Будто подходит она ко мне, подходит близко-близко и говорит, чтобы я помянула ее в божьей молитве. Проснулась я и подумала, что маётся где-то душенька нашей Райхан. Пятница как раз была, ходила я к мулле Ташиму, чтоб прочитал оп за нее молитву...

Старухи, совсем забыв про гомон и толчью на узкой уличке, переговаривались, вздыхали и, скорбно кивали сморщенными высокими лицами.

А шофер Оспан продолжал отбиваться от любопытных.

— Ты хоть сам-то разглядел ее как следует? Как она — постарела?

Но Оспан, закрывший своим богатырским торсом калитку, словно не слышал надоевших расспросов.

В толпе переговаривались:

— А была-то она огопы! Теперь, поди-ка, совсем пе та...

— А ведь мы росли с ней вместе. Как сейчас помню —

косы черные, как уголь, высокая, красивая. Ох, и красивая же была!

— Где-то ведь жила до этих пор. И ни весточки, ни слова. Эй, шофер, может, ты что слыхал?

— Идите, идите,— отмахивался усталый Оспан.— Какое вам дело? Где была — там и была...

Тем временем в домике, к которому прикованы взгляды всего поселка, отхаживали мать Райхан. Узнав о дочери, старушка влетела в дом, словно подхваченное ветром перекати-поле, и с криком, стоном, слезами повисла у пеे на шее. Радость лишила мать последних сил. Райхан вдруг почувствовала, как ослабло и обвяло сухощавое тело матери, и она едва успела подхватить ее на руки. Старушку уложили в постель, засутились, взбрызнули водой. Мальчишка-шофер, крутившийся во дворе, полетел за фельдшером.

Райхан не отходила от постели и, глядя в помертвевшее лицо, гладила, гладила седые волосы. Она не узывала родного лица. Бескровные щеки ввалились настолько, что остро обозначились скулы и словно у неживой разлилась сипева под глазами. Райхан притронулась к рукам и со страхом почувствовала, как они холодают.

— Апа!.. Мама!.. — закричала она.— Да ведь она... Что же делать?

Бессилье, страх, отчаяние охватили ее. Горячие слезы падали на безжизненное лицо матери. Вдруг веки старушки затрепетали, разлепились, и на Райхан глянули знакомые голубые глаза. Но как они выцвели за все эти годы!

— Мама, это я! — без конца повторяла Райхан.— Я насовсем...

Мать, все еще не веря своему счастью, устало смеялась ресницы, но тут же глаза распахнулись вновь и на лице старушки появились признаки жизни: ожили и окрасились щеки, уверенней и тверже определился взгляд. И лишь тогда огромный и молчаливый человек, все это время тихо стоявший в сторонке и не подававший голоса, подступил к Райхан и заключил ее в крепкие объятия. Это был отец—Григорий Матвеевич Федоров.

Великану было тесно в маленьком домишке, голова его почти подпирала потолок. Окладистая борода, когда-то огненно-рыжая, а теперь изрядно тронутая сединой, росла у него чуть ли не от висков и сильно старила хозяина,— не то, глядя на яркие крупные губы и здоровые щеки, ему ни за что не дать бы его семидесяти лет.

«Ох и мужичище же, видать, был! — залюбовался великаном Моргун.— Но какие же они ей отец и мать? Ведь ни капли сходства!»

— Жеребята мой! — ласково выговаривал по-казахски Григорий Матвеевич, целуя дочь в поседевшие волосы и крепко прижимая к груди.— Единственный мой!

Райхан, закрыв глаза, как ребенок замерла на широкой груди отца.

Силы постепенно возвращались к счастливой матери, и когда пришло время зажигать в доме свет, Лиза-шешей окончательно пришла в себя.

— Чуть сердце не разорвалось,—призналась она и снова потянулась к Райхан.— Верблюжонок мой! Неужели это на самом деле ты?

Подбородок ее задрожал, в глазах заблестели слезы.

Вечером в дом набилось полно гостей, пелись песни, играла музыка, но за весь вечер никто не спросил Райхан, где она была эти долгие годы, почему не давала о себе весточки. Слишком велика была радость встречи, чтобы омрачать ее неприятными расспросами.

Посидев до полночи, гости стали расходиться.

Приехавшим постелили кому где. Шофер, еще совсем подросток, выскоцил во двор, чтобы спустить воду из радиатора. Был поздний час, поселок спал. Думая о Райхан и ее родителях, шофер так же как и Моргун подозревал, что тут кроется какая-то загадка. Но какая? Ни у кого из гостей узнать не довелось, а спрашивать у хозяина невовко. Но история, должно быть, очень загадочная...

Когда шофер вернулся, Григорий Матвеевич сидел уже босой. Сапоги хозяина высокие, с широкими голенищами и из толстой кожи, поразили подростка. В одном таком сапоге он, пожалуй, уместился бы весь, с головой и руками. Григорий Матвеевич отбросил сапоги в сторону, и они упали с таким тяжелым стуком, будто две лошадиных головы, отрубленных с шеей и грудью.

— Вот это сапоги у вас! — сказал по-русски шофер.— Какой, интересно, размер?

Григорий Матвеевич лег, набросил одеяло.

— Ты, сынок, вот что. Тебя, кажется, Жантасом звать? Давай-ка мы будем говорить по-казахски. И зови меня так, как я привык: Кургерей. Значит, для тебя я Кургерей-ата.— Старик, укладываясь поудобнее, закутался в одеяло и повернулся на бок, лицом к Жантасу.— А с сапогами у меня одно наказание. Всю жизнь шью только на заказ.

Ничего подходящего в магазинах нет. Лет пять я заказывал в Караганде прямо на фабрике, но вот эти сшил тут, в ауле. Вот попробуй-ка отгадать, какого они размера?

Жантас неуверенно сказал:

— Размера вроде сорок четвертого, сорок пятого...

— Сорок восьмого! И вот представляешь, каково мне было раньше? Два барана отдавал, чтоб только сшили.

Старик оказался словоохотливым, и Жантас ломал голову — как бы подобраться к загадочной истории Райхан и ее родителей.

— Кургерей-ата, — осторожно позвал он, — а по-казахски вы говорите совсем чисто. Что, видно, давно живете здесь?

— Ну, сынок, когда я пришел сюда, тебя еще и на свете не было. Повидал всякого — плохого и хорошего. Да что я, у меня воц уж Райхан седая совсем...

Старик зевнул, откидываясь на спину. Жантас насторожился, поднял заблестевшие глаза. Ничто не мешало сейчас в затихшем на ночь доме. Лишь слегка потрескивала на карнизе большой русской печи лампа с убавленным фитилем да из гостиной доносилось сонное посапывание уставшего за день Моргуна. Не спали в доме женщины, но они заперлись в самой дальней комнате и не могли напороться, наглядеться друг на друга.

Жантас поднялся, достал из пиджака,висевшего у изголовья, пачку сигарет. Завозился и хозяин — откинул одеяло, взял большую горбатую трубку и принялся набивать табаком.

— Не спиши, сынок? Чего не спится-то?

Жантас в волнении проглотил слону.

— Ата, — вкрадчиво заговорил он, — я хочу у вас спросить... Но вы не обидитесь?

— Да спрашивай. Чего обижаться-то?

— Тут видите что... Тетушка Райхан, когда мы выехали из района, была веселой, очень веселой. А тут вот, недалеко, возле развалин, мы встретили одного человека. Не знаете, — с таким вот, в ладошку, родимым пятном? И тетушку Райхан как подменили. Я вот и все думаю и соображаю. Теперь-то мне ясно, что она из этих мест, только давно уехала. Но что с этим человеком?

Жантас тянул и мямлил, никак не решаясь спросить напрямик: «Скажите, а Райхан на самом деле ваша дочь?»

Ему казалось, что он и без того забыл положенные приличия и расспросы его могут обидеть хозяина. Он умолк

и выжидающе уставился на старика. Огромная тень хозяина закрывала всю стену.

— Ну, что ж,— проговорил наконец старый Кургерей после долгого раздумья,— если ты все равно не спишь... Только ведь пачинать надо с самого начала. Столько было всего, столько прожито. Это все равно как песня, долгая старинная песня. А из песни, сам знаешь, слова не выбросишь... Так вот,— и старик сделал несколько быстрых, жадных затяжек.

### ПЕРВАЯ ПЕСНЬ СТАРОГО КУРГЕРЕЯ

— В молодости я был вором. И не просто вором, мелким там каким-нибудь воришкой, а самым настоящим разбойником с большой дороги. Точно, точно, так все оно и было...

В возрасте я был как раз твоем — самое такое переменичивое время. Ну и в Омске пристал к одной шайке. Десять человек нас тогда подбрасалось, все здоровенные — одни в одного. Что было делать? Учиться — денег нет, работать — пойди-ка, найди ее, эту работу. И вот когда уж все, кажется, было испробовано, когда и стыда, и сраму набрались, и лиха,— припялись мы за это самое свое ремесло.

Омск в ту пору был совсем не такой, как теперь. Сейчас, я смотрю, улицы — будто их по линейке вытянули. А тогда разбросаны были домишками как попало. И народу паезжало — просто табузы. Суетятся, толкуются, бродят из конца в конец. Ну уж пам тут раздолье. Кто заденет — кровью умоется. Никакой управы не было. Что хотели, то и делали.

Самое главное наше место — базар. Там мы и околачивались. Слыхал поди о Казачьем базаре?.. Правильно, он и сейчас уцелел. Но только тогда было побольше, чем теперь. Что ты, гораздо больше! Народу съезжалось — видимо-невидимо, со всех городов. Тут и купчишки, тут и спекулянты, тут и... Ну и нашего брата отиралось достаточно. И вот мы за день высмотрим, вынюхаем кто деньжонок наторговал, узнаем где остановился — и ночью налетаем. А если человек домой едет, так по дороге встречаем.

В этом деле — узнать, разнюхать, выведать — нам хорошую помошь один парнишка оказывал, татарчонок Халауддин. Отец у него купец, и знаменитый в Омске большую мануфактурную лавку держал. И знакомых у него — все, кто хоть мало-мальски торговал. Халауддину это

как раз на руку. Никто его и не подозревал, что он с нами в компании.

Помню, воскресенье было, зимой, в самые лютые морозы. Мы тогда глаз не спускали с одного человека. Но ходим не скопом, чтобы не обратить внимания, а по одному. Народу на базар съехалось — не протолкаться, поди-ка заметь пас в такой толчее.

Я в тот день орудовал на самом людном месте — где лошадей продают. Вот уже где народа так пароду! Сейчас такого и не увидишь... С краю, как только войти, верблюды лежат. Потом бараны — кучами прямо, один на другом. И жирные, круглые. Тут же мясники. Орут, зазывают, ножами сверкают. А потом лошади. Знаешь, как тогда было? Столбы вкопаны и у каждого столба по паре лошадей привязано. Ах, что были за лошади! И вот тут уж кого только не встретишь. Тут и казахи-богатеи понаехали из степи; идет и полушибок, а то и волчьью шубу за собой по снегу волочит. Омских купцов тоже немало, и татар. Толчая целый день. Самых красивых лошадей тогда цыгане приводили. Просто невиданные были кони! У тех, кто хоть маломальски разбирался в них, глаза разбегались.

И вот хожу я, толкаюсь, приглядываюсь. Вдруг — Халауддин. Прошел мимо, чуть задел и подмигнул. Это значит знак подал. Я тут же за ним. Иду поодаль, по из виду его не упускаю. А Халауддин, хоть и молодой, а уж третий-пеперетретый калач был. Хоть бы оглянулся! Идет себе с улыбочкой, со знакомыми раскланивается... Завел меня в самый заброшенный угол, где мучные лавочки лепились. В лавочках этих русские мельники из Малтая, из Шарбаккуля торговали, — все белые, словно айраном облитые, ни глаз, ни роги под мукою не разобрать, и каждый под хмельком от самогона, — это уж обязательно. Шум и там у них тоже как у цыган. Но это нам только на руку.

Халауддин, смотрю, свернул за лавку и остановился. Я к нему. Стоит, ждет, оскалился — зубы золотые блестят. «Ну, говорит, кажется, удача. В городе его накрыть трудно, — слишком много народа вокруг него крутится. Но ему нужна мануфактура, сам сказал. Сестра его друга выходит замуж, он торопится на свадьбу. Я сказал ему, чтоб зашел попозже. Значит, я задержу его, как только смогу. Едет он один. Пошлите-ка своих на дорогу. Он в аул Балта едет...» — «Балта?!» — у меня даже сердце оборвалось. — «Да, говорит. А что? Знакомое место?» — «Конечно, отвечаю...» И я тут же чуть не ляпнул этому мальчишке, чтобы

оп никому ничего не говорил. Не надо нам было грабить этого человека. Но потом спохватился — ведь непадежный парень этот Халауддин, как есть прдаст меня всей пашей шайке. Промолчал я, хоть на сердце и скребли кошки.

Халауддин засобирался уходить. «Вот и хорошо, говорит, что знакомое место. Сообщи побыстрее Кабану». И опять меня словно в сердце что толкнуло. Этот Кабан пашим атаманом был. Вот уж действительно кабан! Никогда больше мне не приходилось видеть такого человека. Да и человеком-то его как-то язык не поворачивается называть... Но, кстати, из всех, кто у нас был, только я мог с ним говорить на равных. Где-то он немного побаивался меня. Может быть, силу во мне чувствовал, что ли? Но если бы надо было прикончить меня — он и глазом не моргнул. Это уж точно...

И вот как мне теперь было идти к нему, говорить такое?

А человек, за которым мы охотились, был богатырь и красавец — просто загляденье. В народе его так и звали: Слу-Мурт — красавец-усач. Так его и мы между собой называли. Лошади у него были пара гнедых — просто ветер. Омские богачи умирали от зависти. Сколько золота ему предлагали, сколько скота — он и слушать не хотел. И Кабан наш решил заполучить этих коней. Он уже и с цыганами столквался и магарыч с ними распил. Как только лошади попадают к нам в руки, цыгане выкладывают деньги и угоняют их в другой какой-нибудь город подальше. Дело привычное.

И вдруг я узнаю, что Слу-Мурт из аула Балта. А этот аул — это же мой аул. Мой отчим, Дмитрий Павлович, там кузницу держал. Аулишко бедный, юрт пятьдесят. Вокруг русских много, из России еще в девятьсот седьмом году переселились. Отчим от своих русских как-то откололся и все время в ауле жил. Кузнецил, казахских ребятишек грамоте учил. Люди к нему очень хорошо относились. А я как поссорился с ним, так и сбежал и больше дома не показывался. Несколько лет уж прошло, даже забываться многое стало.

И вот на тебе — Слу-Мурт, оказывается, из-аула Балта!

Но делать нечего. В воровском деле жалости не должно быть. Предупредил я Кабана.

Рожа, помню, у Кабана так и расплылась от радости. Толстомордый был мужик, с редкими волосенками. Губу

ему где-то рассекли, и ее с угла стянуло кверху. Вечпо от него водкой и луком пепло.

«Гриша, сказал он, пойдешь сам. Только возьми кого-нибудь с собой».

Взял я Василька, ловкого и складного парнишку. Опрокинули мы с ним по паре стаканов самогона и пошли искать попутную подводу.

Добраться нам надо было до развилки, откуда дорога новорачивала к аулу. Мы приехали где-то после полдня, спрыгнули с саней и пошли пешком.

Лес стоял вокруг дремучий и густой. Прошли мы километра два или три и облюбовали себе такое место: такая пепролазная чащоба, что собака морды не просунет. В степи задувало немножко, а здесь ни одна ветка ни шелохнет-ся. И тишина, глушь, даже в ушах ломит.

Ждем, и чтобы согреться, распили еще одну бутылку. Холодно па одном-то месте.

«Васяtek, говорю, где твой нож?» — «Да вот,— отвечает.— Всегда наготове».

И финку вынимает из-за голенища,— длинная, наточенная. Я взял ее у него и забросил в кусты. Тот только рот разинул.

«Нас, говорю, здесь двое. Давай так — убивать его не будем, а лишь заберем коней. Ты оставайся здесь, а я пройду немножко вперед. Налетай неожиданно. Тебе надо только задержать его, а остальное я уж сам все сделаю. Понял? Но смотри — не попадись под камчу...» .

Слу-Мурт, я слыхал, искусный камчикер. Рассказывали, что однажды в Омске он па спор разрубил ударом камчи сложенную вчетверо сырую воловью шкуру. Представляешь себе?

Ну вот, значит, сидим мы, ждем. А мороз пробирает — аж кости стынут. И время тут как па зло тянетя еле-еле. Но все же завечерело, и в эту минуту я забыл, зачем я здесь и кого жду: так все стало чисто и красиво. Притихший лес стоял весь засыпанный снегом, и в багровом свете медленного заката деревья окрасились густым кровавым цветом. Солнца уже не было видно, оно томилось где-то за лесом, и по снегу протянулись длинные холодные тени. Чем ближе к ночи, тем сумрачней и глушее становился лес, пропадали краски, а из глубин, из самой чащобы потянуло ночным морозным мраком. Жутко и одипоко становится человеку в зимнем засыпающем лесу.

Но вот с отдаленной березки, стоявшей у самой дороги, сорвалась и полетела к лесу сорока. С потревоженной ветки просыпалась легкая кисея сухого снега. На беспокойное стрекотание сороки в глубине засыпавшего леса отзывалось неясное перебивчивое эхо. И скоро снова все затаялось в ожидании ночи.

Но я уже глаз не сводил с дороги. Сорока предупреждала не напрасно — скоро послышался далекий скрип полозьев. В звонком морозном воздухе отчетливо слышится каждый звук. Не знаю, отчего это тогда со мной было, по чем ближе раздавалось тонкое пенье полозьев по крепкой пакатаной дороге, тем больше отдавалось оно в моем сердце.

Слу-Мурт беспечно летел на своих гнедых по притихшему ночному лесу. Слышно было всхрапыванье лошадей, потом показалась на повороте черная точка и тотчас исчезла за деревьями. Потом мелькнула снова, и вот уже можно разглядеть коней и легкие сани.

Со своего места я хорошо видел, как из густой чащи, подступавшей к самой дороге, кошкой метнулся Василек. Он прыгнул и повис у коренника на узде. Конь испуганно шарахнулся в сторону, но сани так и не остановились, потому что Слу-Мурт, чуть свесившись на сторону, изо всех сил ударил Василька своей тяжелой толстой камчой. Василек вскрикнул и рухнул на дорогу.

Я выскошил из засады, когда сани еще не успели поймать ходу. Мне удалось схватиться за узду, разгоряченные кони с громким ржанием взвились на дыбы. Слу-Мурт успел лишь скинуть тулуп, как я, прячась за конями, прыгнул к нему в сани. Мы сцепились с ним, и я почувствовал, что кони, словно обрадовавшись, подхватили и понесли. Может быть, они испугались наших криков и возни в санях.

Вначала мы были кулаками по чьему попало, не глядя и не сознавая что делаем. Потом сцепились, впились один в другого намертво, и я до сих пор помню как мы смотрели в глаза, молчаливые и полные любой ненависти. Летели сани, мелькал по сторонам темный безмолвный лес, и я начал чувствовать, что у меня немеют руки. Вдруг Слу-Мурт схватил меня за горло и опрокинул. Я дернулся, мы оба упали к самому краю саней. Видимо, рыканье паше только поддавало коням страху, они прямо рвались из упряжек. И вот на самом краешке, головами уже за санями, мы лежим и держим друг друга. Близко, у самого лица,

песется, как бешеная, дорога, и стоит только кому-нибудь из нас сделать движение, как оба на полном скаку вывалимся из саней.

Не зная, сколько так продолжалось, по только помню, что вроде пебо стало все темнее. А лес, как ни откроешь глаза, кружится, кружится,— пока не слился вместе с пебом. Я уж ничего не мог разобрать. Пальцы Слу-Мурта все крепче сжимали мое горло, все труднее становился дышать. Потом я почувствовал, что совсем не в силах удерживать его, и тут в глазах моих что-то вспыхнуло, и я будто полетел с высокой-высокой кручи. Визгнули волосы самого уха полозья и смолкли, лицом я почувствовал холодный спег и стало тихо-тихо, будто я совсем огло...

Очнулся я на обочине, в снегу, сильно закоченевший. Ничего еще не соображаю, но попробовал пошевелить руками, ногами. Вроде бы ничего. Только холодно — даже двигаться больно. Попытался я подняться и не смог — закружилось все, поплыло перед глазами. «Помял оп, думаю, меня изрядно...» И тут только почувствовал, что во рту у меня нехорошо — и больно, и что-то набито: выплюнуть хочется. А это зубы, оказывается, мои же собственные. Все передние зубы он мне выкрошил.

Что было делать? Поднялся я все-таки и побрел через силу. Соображаю еще плохо, но помню, что тишина кругом — ни звука и мороз. А ночь, темень, лес вокруг и холодице — никакого спасения нет. Деревья стоят мохнатые, не шелохнутся, и я лицом, щеками чувствую, что изморозь аж в воздухе висит. И дышать нечем — до того наморозило... И вот бреду я, снег подо мной скрипит, а вверху, как гляну, рожок месяца закатывается за лес. И оттого, что я вижу, что и месяца сейчас не будет над дорогой, мне совсем худо: и страшно и одиноко... и прямо не знаю как и сказать. А пуговицы на мне на одной, даже застегнуться не могу, и продувает меня и в грудь и в бока. Пойти бы поскорее, чтоб на ходу согреться, так поги еле-еле волоку. Совсем, думаю, гибель...

Но ведь вот что интересно: пропадаю вроде, — и сил нету и без зубов, а путь держу не в Омск к своим друзьям-товарищам, а к аулу. Из головы у меня не выходит эта пара гнедых. Достану, думаю, как бы там ни было...

И кто знает, чем бы закончилась для меня эта морозная ночь, скорее всего замерз бы я где-нибудь на дороге, только слышу будто меня догоняет подвода. Шел я к тому времени долго, месяца уж не стало, и за спиной у меня во

все небо разгорелись Стожары. Остановился я, иду. Подводы идут, и не одна. Оттуда, видно, тоже разглядели меня и остановились — испугались. Сошлись, вижу, о чем-то шепчутся между собой. Потом крикнули:

— Эй, кто там?

Молчу я. Что им ответишь? Не говорить же что я и что со мной. А они пугаются еще больше и начипают, слышу, между собой.

— Эй! — тормошат своих, — вставайте!

— Топоры где? У кого ружье?

А расстоянье между нами вот как до двери, и мне хорошо все видно и слышно. Их всего трое или четверо было, а кричат они как только могут — пугают, значит, чтоб тем, если кто в засаде сидит, показалось, будто их много.

— Ладно вам, — говорю я им по-казахски и сам пошел навстречу. Они умолкли, только между собой шипят: «Да постой... подожди...» А тот, что меня окликнул, опять орет.

— Кто ты такой? Что тут делаешь?

— Григорий я, — говорю. — Сын Митрия.

— Какого еще Митрия.

— Да кузнеца. Из аула Балта.

— А-а... Знаем такого. И с сыном у него что-то вышло — удрал тот в Омск.

Кто-то из переводчиков шепчет своим:

— Похоже, пьяный он. Двух слов связать не может.

— Так мороз-то! — отвечают ему. — Тут не то что говорить, а и...

Но испуга уже нет, и на меня они поглядывают с интересом. Один даже посочувствовал от всего сердца:

— Матушка его, я слыхал, больная лежит. Вот, видно, и добирается. Как же, родная мать...

Посадили они меня на вторые сани к какому-то старику. В санях мешки с мукой лежали, по два, по три мешка. Я уж понял, что ничего они обо мне не знали и не слыхали. Никаких, значит, вестей до аула не доходило.

Сел я в сани, а рот свой разбитый все ладошкой прикрываю. Смотрю, стариок завозился, тулуп с себя потянул.

— Что ж ты, говорит, сынок, в одежке-то такой тощей? Как еще не окоченел!

И подает мне тулуп. Сначала я отказывался и не хотел брать, но старик рассердился и накинул мне тулуп на плечи. Тут уж я сдался, потому что мороз совсем осатапел. И как только я напялил на себя тулупчик, так согревать-

ся начал согреваться и засыпать. Дорога долгая оказалась и вудная.

Короче, мы тогда не сразу добрались до дома, а спачала запечевали и дали коням и себе передышку. И только на другое утро попали к себе.

Меня подвезли прямо к дому. В нашей части аула ютилась одна бедпота. Землянки низенькие, — одна крыша наверху, и бывало, что в одном таком закутке жило две-три семьи. Но наш дом был приметный и совсем не похожий на землянку. Еще в первый год отец устроил «помочь» и поднял стены. Потом он сам, собственными руками сделал окна, двери, обшил углы досками, обмазал со всех сторон. Дом, когда я уезжал, был ухоженный и чистенький, как яичко.

Теперь, гляжу, совсем ничего не осталось от прежнего. Стены облупились, как-то невесело, запущено кругом. Сено разбросано, солома.

Я как соскочил с саней, так сразу бросился к окну, Светало уж, и в горнице теплился огонь. Я стукнул. Тихо. Подождал и пошел к крылечку...

В доме было холодно, неприбрано. Сматрю, на полу лежат аульные старухи. Увидели меня, стали подниматься.

— Тише, — говорят, — только что уснула. Увидит тебя — плохо станет.

Мать лежала на большой деревянной кровати, лежала совсем как покойница. Я подошел ближе и не узнал ее. Меня напугали ее ввалившиеся глаза и сплющившиеся ресницы. Я стоял, смотрел и не мог понять — куда что девалось у матери? Когда я уезжал из дома, она была совсем здоровой. А это...

Старухи шепчут:

— Никак не может подняться. Что будет, что будет!..

— Может, хоть от радости встанет?

Мать, словно только и ждата этой минуты, медленно раскрыла глаза и долго, молча смотрела на меня. Видимо, она не сразу узнала меня, а может, просто не поверила.

— Пришел? — паконец еле слышно проговорила она. Подбородок ее задрожал, мне показалось, что она заплачет, но глаза матери оставались сухими.

Я ничего тогда не сказал, только брякнулся на железную койку, упал вниз лицом и целый день пролежал, не поднимая головы. Отвык я от дома и все здесь казалось мне чужим. Где был отец? Долго ли болеет мать? Но спросить у соседей я почему-то стеснялся.

Так прошел день. Чья-то рука зажгла подстеповатую лампу и поставила на печной карниз. Я слышал, как тихо сидели за столом мои братишкы, слышал, как трещал фитиль и понимал, что лампа коптит. Надо было бы встать, но не хватало сил поднять голову.

Вдруг ребятня, резавшая что-то ножницами из бумаги, вскочила из-за стола и загадала, запрыгала от радости:

— Дядя Султан!

— Дядя Султан пришел!

Приподнявшись на кровати, я увидел, что в дом вошел огромного роста крепкий человек, он вошел, низко присевшись в нашей маленькой двери, и детвора повисла у него на шее, на руках, обхватила за ноги. Я снова накрылся с головой. При моем появлении такой радости не было. Что же за человек, кем он приходится, что его встречают с таким восторгом?

Большой человек уселся, спросил о здоровье матери. Потом стал раздавать ребятишкам гостинцы. Наверно, это были конфеты, потому что они кричали, перебивая друг друга: «Петушок, петушок!» А Дуняша, сестренка我的, вдруг завизжала от радости:

— Мама, а мне на платье! Посмотри!.. Спасибо, дядя Султан!

Мне уже неудобно становилось лежать, будто в доме никого не было, и я откинул с головы одеяло. Гость пегромко спросил у детей:

— А это кто?

— Это? Гриша.

— Вчера из Омска приехал.

— Ах, вон кто! — удивился гость.— Гриша... Ну, у вас большая радость. Разбудите-ка. Я ведь его еще не видел.

Ребятишки кинулись стаскивать с меня одеяло, затормошили, потянули с кровати.

У меня все еще болел разбитый рот, я поморщился и приподнялся, часто моргая от света лампы. Дядя Султан оказался совсем молодым парнем, он сидел на табуретке и, не отрываясь, смотрел на меня. Сначала я ничего не понял, разглядывая гостя, но потом увидел знакомые усы и — поверишь? — сердце у меня остановилось. Передо мной сидел Слу-Мурт.

Мы долго разглядывали друг друга, не отводя глаз. Детишки притихли, зажав в руках гостинцы. Я был готов провалиться сквозь землю.

Слу-Мурт поднялся, накинул на голову красный лисий малахай.

— В сарае мешок муки. Запесете потом,—сказал он и вышел.

Я не мог опомниться, не в силах был пошевелиться, а детишки снова принялись скакать, радуясь гостинцам. Особенно без ума была Дуняша. Слу-Мурт подарил ей отрез яркого сатина с зелеными цветочками.

В тот вечер я долго сидел возле матери, и она, то и дело заливаясь слезами, рассказывала, что отца вот уж второй год как арестовала омская полиция. После этого она слегла и с тех пор не поднималась. Была у нее надежда, что отыщется сын, но от меня не было никаких вестей. Соседи не оставляли брошенную семью и помогали кто чем мог. Мать поминала добрым словом Султана и молила бога, чтобы он дал ему счастья и долгих лет. Без Султана ребятишки поумирали бы с голоду... Мать молила меня, чтобы я не оставлял теперь сирот и вывел их в люди. Да мне и самому нужно было начинать жить сначала.

С тех пор я окончательно покончил с воровством. А с Султаном мы вскоре подружились и так уж получилось, что стали с ним заступниками пашего аула...

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Ветер мотал на столбах фонари, и от палаток, выстроенных в ряд, в степь тянулись качающиеся, словно живые, тени. Иногда ветер задувал особенно сильно, и тогда казалось, что качаются не тени, а сама земля.

За палатками на небольшой вытоптанной площадке толкались, поднимая пыль, пары, и рыжий парень лениво и широко растягивал мехи баяна. При первом свете фонарей, скрипящих на ветру, веснушчатое безучастное лицо парня походило на пестрое воропье яйцо.

Вечер только начался, и танцы в разгаре, но на кругу почти не видно женских юбок,— девчат в совхозе пока маловато. Парни, обивавшиеся попарно, неловко толкнутся под удалую музыку баяна и задевают плечами тех, кому достались партнерши.

Халил, стоя в сторонке, наблюдал за танцовщиками.

Дома, в Кзыл-Жалау, среди своих сверстников и знакомых он чувствовал себя свободно и непринужденно, а здесь еще не освоился и почти никого не знал. И все же

сплыть дома одному было тоскливо, едва заиграл баян, он вслед за всеми потянулся к площадке.

Из вагончика, поставленного на бревна, спрыгнула девушка и направилась к танцующим. Халилу показалось, что мотающиеся по земле тени качают девушку, и ей с трудом, как лодке в бурю, удается с этим бороться. Наблюдая за танцующими, она остановилась рядом с Халилом, и ему удалось как следует ее разглядеть. Лицо девушки как будто показалось ему знакомым, но он никак не мог припомнить, где ее видел. Волнистые светлые волосы свободно падали на плечи, и это заставило Халила смотреть не отрываясь. «Нет, другой цвет волос ей не подошел бы...» Черная куртка с открытым воротом сидела на девушке плотно и ладно, как бы подчеркивая ее певысокую крепкую фигурку. Обута она была в туфли на низком каблуке.

Девушка заметила пристальное разглядывание Халила. Ей стало не по себе, и она несколько раз мельком взглянула на него, но в ее взгляде он не уловил ничего кроме откровенного дружелюбия и снова подумал, что они где-то виделись раньше. В это время от толпы ребят, стоявших возле баяниста, отделился совсем молоденький парнишка в неизвестно широких клешах и с напомаженной головой. Подойдя к девушке, он развязно поклонился:

— Мадам, прошу вас.

Тусклый свет блестел на его прилизанных волосах, и Халилу, молча наблюдавшему за всем, подумалось, что развязный этот парнишка похож на только что родившегося теленка, еще не успевшего обсохнуть.

Дружелюбное выражение в глазах девушки пропало, и она ответила сухо, совсем не глядя на парнишку:

— Во-первых, я тебе не мадам. А во-вторых, Жора, запомни навсегда: как бы ни была тебе девушка знакома, никогда не бывай с ней развязен. Понял? Иначе никто с тобой танцевать не станет.

Девушка говорила громко и отчетливо, словно рассчитывая, что ее услышат, и Халил обратил внимание на то, что громадный детина, стоявший в сторонке, на самом деле внимательно прислушивается к разговору. Халил знал этого парня, и теперь ему стало ясно, кто подоспал к девушке напомаженного парнишку. Видя, что его посланец получил отказ, детина двинулся сам.

— Ласточка моя, пойдем потанцуем.

От него исходил густой запах бензина и водочного перегара.

Девушка отвернулась.

— Нет. Не пойду.

Детина потянулся было к ней, но девушка неожиданно сказала Халилу:

— Пойдемте танцевать! — и, схватив его за руку, увлекла за собой на круг.

Тут только Халил вспомнил, где он видел девушку: это было в день, когда в совхозе прокладывали первую борозду. Она вела трактор, и плуг резал маслянистый плотный пласт, оставляя за собой перевитый, словно девичья коса, разбуженный след перепаханной земли. Халил тогда не приглядывался к девушке,— весь совхоз в тот день был за трактором, радуясь и празднуя начало больших работ. Так, значит, эта решительная красавица и есть та самая трактористка? Тогда она не показалась ему такой красивой, скорее наоборот — толстая, неуклюжая, какая-то мужиковатая...

— Как вас зовут? — неожиданно спросила девушка.

— Халил,— пробормотал он и тут же уточнил:— Халил.

— А меня Тамара.

От нее исходил тонкий запах духов, и Халил, разглядывая ее совсем близко, удивился тому, что жесткий степной ветер и солнца вообще не тронули ее щекового лица. Нет, она совсем не походила на ту неповоротливую девушкину на тракторе. Эта была легкой, подвижной, чутко улавливающей малейшее движение партнера.

Застенчивый и замкнутый, Халил всегда робел при знакомствах, и требовалось немало времени, чтобы он освоился и разговорился. Потом он становился весел и доверчив, и не было в компании человека более веселого, чем он.

Тамара, разговорившись, чем-то напомнила ему уехавшую Акбопе, и он, становясь с каждой минутой проще и непримечательней, уже расспрашивал ее, кто она и откуда и каково ей живется на далекой от родины казахской земле.

Сильный толчок едва не сбил их с ног. Держась друг за друга, они отлетели в сторону. Чьи-то руки поддержали их, не дали упасть. Верзила-тракторист, обняв какую-то плотную женщину с широкой спиной, нацеливался толкнуть с другой стороны.

Тамара сняла с плеча Халила руку и сузившимися глазами долго смотрела на верзилу. Он, не переставая танцевать, оскалился:

— Что, не узнаешь?

— Узнаю,— вздохнула девушка и увела Халила с круга.

Неприятное происшествие на площадке окончательно испортило настроение обоим. Халил видел, что девушка удручена еще больше, чем он, и, чтобы как-то разрядить тягостное молчание, спросил:

— Тамара, вы не ушибли ногу?

Девушка грустно усмехнулась:

— Вы удивлены, что я прихрамываю? Это у меня с детства.

Простой безыскусный ответ заставил Халила побагроветь. «Как же я во время танцев-то не заметил?!» Он смешился от своей оплошности и до самого вагончика, где жила девушка, не проронил ни слова. Теперь на самом деле заметно бросилось в глаза, что девушка при каждом шаге невольно припадает на одну ногу.

Они остановились и стали прощаться.

— Ты расстроился? — спросила Тамара, вспомнив происшествие на тапцах. — Не огорчайся. Это он, видишь ли, характер показывает. Непутевой парень. Остальные ребята у нас совсем не такие. Вот увидишь, когда сойдешься поближе.

Халил медление побрел домой. Шум голосов на площадке, звук баюча становились все тише. Дома еще не ложились, — в окнах еле заметно теплился свет керосиновых ламп.

Что-то черпало возле запертых ворот, и Халил вначале подумал, что это поленица кизяка, но, подойдя ближе, увидел целый табунчик привязанных лошадей. В доме были приезжие.

Лошади зяякали уздечками, всхрапывали, отгоняли резвившихся рядом жеребят.

Из ворот вышли двое — отец и еще кто-то. Халил поспешил спрятаться, тесно прижавшись к забору, и они прошли мимо, не заметив его. Поздний гость, как заметил Халил, был одет по-зимнему: в толстых кожаных шароварах и теплом малахаем.

— Так, значит, я поехал, Кареке, — сказал гость, подходя к лошадям.

— Счастливого пути. А зря сдешь па ночь глядя. Започевал бы.

— Кареке, разве сейчас время разлеживаться? Поеду к лошадям.

— Ну, смотри,— отвечал отец.— Где сейчас лошади? На Жаман-тузе? Самое лучшее, что нам осталось. Всю степь распахали.

— Да пу. Для пастьбы еще пайдутся места. Вокруг «Кана-Талапа» пе шпбко-то распашешься. Недавно там Райхан была, говорила с людьми. Есть слух, что совхоз наш превратят в животноводческий. Только вот места у нас пе для скотилы. Ну да Райхан-то знает. Она же местная, здешняя. Здесь родилась и выросла.

Гость отвязал жеребца и стал подтягивать подпругу.

— Что ж, правильно решили,— проговорил Карасай, доставая из-за пазухи широкий теплый кошелек. Он покрылся в кошельке и выпул несколько новеньких хрустящих бумажек. Приблизившись к гостю, Карасай сунул ему деньги за пазуху.— Вот, спасибо тебе за все. В долгую я никогда не останусь. Как говорится, гора с горой пе сходится, а человек с человеком... Станет ваш колхоз животноводческим, заберешь копей назад. У меня самого силы теперь, знаешь какое,—кроме тебя пасти их некому. Да и зять твой, думаю, тоже доволен.

Гость с усилием затягивал подпругу и не очень внимательно слушал, что говорит ему хозяин. А говорил Карасай больше памеками, недомолвками, и гостю это не нравилось. В сердцах он так сильно дернул подпругу, что жеребец завертелся на месте.

— Тпру, стой проклятый! — и табунщик рванул за узду. Жеребец, беспокойно мотая головой, присмирел.

Затянув ремень, гость поправил седло, затем достал из-за пазухи деньги Карасая. С минуту он молча вертел их в руках.

— Караке, я еще пе нищий без куска хлеба. Слава богу, есть-пить у меня найдется и, может быть, даже не хуже, чем у кого другого. И пе дай бог, чтобы мне пришлось когда-нибудь побираться.

С этими словами он вернул деньги хозяину.

— О чём ты говоришь? — запротестовал Карасай.— Да спасет тебя аллах...

— Караке, я прошу от вас только за свой труд. Пять лет я пасу ваш скот, и еще пи одна голова не пропала. Став

до растет и все прибавляется, и я думаю, что моей вины перед вами никакой нет.

— И все же вы мне когда-то пообещали, и это обещание длится до сих пор... А это вы заберите. Этого не только пять лет, а даже пять моих ночей бессонных в буране, не стоят. Чем так, я лучше ничего не возьму.

Табунщик неуклюже задрал толстую ногу в стремя, но едва коснулся, как легким быстрым движением оказался в седле. Жеребец под ним затанцевал. Карасай порылся в кошельке и достал еще одну бумажку. Но гость разбирая поводья, даже не взглянул на деньги.

— Караке, если хотите держать своих лошадей в совхозном табуне, поговорите с новым директором. Или с Райхап. Теперь вся власть у нее. Скажет — возьми, возьму. А так... хватит, я достаточно ждал вашей платы.

Карасай медленно сложил деньги обратно в кошелек.

— Воля твоя. Не хочешь — не надо. Ты думаешь, этот скот весь мой? Как бы не так! А зятя твоего, председателя! Или забыл?

Табунщик резко дернул поводья, и жеребец закружился, ударил копытом в землю.

— Караке, вы с Косимаевым совсем нас запугали. Но ничего. Пусть-ка оп еще раз попробует! Вы знаете, дважды обрезание не делают... — и он поскакал прочь, волоча за собой по земле длинный курук.

Карасай постоял, глядя ему вслед, и покуда слышен был добрый топот копыт, старику чудилось в нем грозное предостережение табунщика: «Пусть-ка еще раз попробует!»

— Пес! — сквозь зубы процедил Карасай. — С жириу бесишься?

Он заметил подошедшего Халила и быстро обернулся.

— Ты, что ли? Где это тебя носит в полночь?

— Так, бродил... — промямлил Халил и хотел проскользнуть мимо отца в ворота, но тот остановил его.

— Постой-ка... Иди, поговорить падо.

Они обошли притихший табунчик лошадей и присели на разбитую тележку, спятую с колес.

— Сыпал, как он разговаривал со мной? — спросил Карасай. — Как скоро собачий помет станет лекарством!

Халил чувствовал, что отец весь дрожит от гнева. Старик трясущимися руками насыпал на ладонь табаку, быстрым заученным движением отправил за губу и, смор-

ицившись, звонко сплюнул. Он все не мог успокоиться после разговора с табунщиком.

— Коке, чьи это лошади? — спросил Халил, чтобы перемешать разговор.

— Погоди, — отмахнулся сердитый Карасай. — Сейчас узнаешь.

Молоденький стригунок уже несколько раз порывался подойти к сидевшим людям, но никак не осмеливался. Наконец он робко приблизился к Карасаю и, вытянув шею, стал обнюхивать его плечи, грудь. Старик осторожно, чтобы не вспугнуть, поднял руку и запустил пальцы в мягкую шелковистую гриву жеребенка. Он долго гладил его, расчесывал, трепал, и от сердца постепенно отлегло.

— Эх, святая душа — вся эта скотина. Недаром говорят, сынок: скот — радость для глаз.

Рука старика продолжала ласково почесывать присмиревшего жеребенка по шее, по узкой, не окрепшей еще грудке.

— Вот смотри, сынок, тебе уж пора разбираться, где хорошее, а где плохое. Времена-то какие настают, — замечаешь? С целиной этой... Скоро вообще нам негде повернуться будет. Ты думаешь, почему это пригнали мне сегодня скотину, которая несколько лет наслась в колхозном табуне? Все оттого. Да еще Райхан. Откуда она взялась на мою голову? Никогда мы с ней не ладили, а уж теперь... Чует мое сердце. Всегда она была никудышным человеком... Так вот, сынок... Нас еще старшие учили. «Если время — лиса, то будь гончим». Хватит нам лежать, как песькам. Придется тебе до осени попасти здесь скот. С овцами и коровами Дика один управится. А как только «Жана-Талап» станет животноводческим совхозом, устроишься туда табунщиком. Устроишься, будешь числиться — и довольно. Кому пасти, без тебя найдется. Тут важно то, что табунщик имеет право держать в табуне своих лошадей...

— Коке, какой же из меня табунщик?

— Ничего. Год-два поработаешь, лошадей пристроишь, а там что-нибудь придумаем.

— Из-за лошадей становится табунщиком... Уж лучше шофером. Зачем нам столько лошадей? Неужели не хватит двух-трех?

Карасай вновь начал тихо закипать от ярости.

— Нет, вы послушайте, что он болтает! «Зачем столько лошадей?» Да они кормят меня, эти лошади, они меня в люди вывели. И то, что ты рос без забот и до сих пор не

держал в руках лопаты,—это тоже благодаря им. У степного царства нет жизни без коня! Конь — это деньги, это мясо, это — все! Запомни, и чтоб я больше не слыхал такого. Хватит болтаться с этими ветрогонами!—он мотнул головой в сторону палаток приезжих.—Баарьей головы они тебе не поднесут, не жди. Пора за дело приниматься!

В том году тепло наступило рано и уже в середине мая установились тихие бархатные ночи. Пустив лошадей пастись, Халил укладывался на разостланный кафтан из домотканой шерсти и подолгу бездумно глядел в высокое степное небо.

Стояла пора полнолуния, и огромный диск, словно золотое блюдо, незаметно плыл над степью. Жеребята, целый день томившиеся в загоне, радовались свободе и теперь прыгали, ревились возле маток. Жирные, заботливо откормленные кобылицы осторожно обнюхивали незнакомую землю и шаг за шагом отправлялись искать знакомый табун, от которого они никак не могли отвыкнуть. Изредка лошади останавливались, чтобы пощипать травы, и Халил, приподнявшись, видел их неясные силуэты под холодным, рассеянным светом.

Изредка в степи меркло и темнело,—это па круглый лик луны набегало легкое, будто из теребленой шерсти облачко, и тогда размечтавшемуся Халилу казалось, что это румяная кокетливая красавица игриво прячется за неплотной запавеской.

Низко над землей мерцали крупные и редкие звезды перевернутого ковша, а мутная беспорядочная россыпь Млечного Пути напоминала переливающиеся издалека огни большого аула.

Извечная тайна почного неба давно питала воображение Халила. Еще в детские годы, почуя па крыше, он подолгу не мог уснуть, заглядевшись па острый недосияемый блеск созвездий. Постепенно он выделил и запомнил свою звезду, как называл он, и с тех пор, просыпаясь поутру от раннего степного ветерка, он первым делом находил ее на том месте, куда она скатывалась за ночь, находил и с легким сердцем заворачивался в одеяло и засыпал вновь до восхода жаркого солнца. И соп тогда приходил быстрый и крепкий...

Нынешней весной в степи прибавилось огней, и, может быть, оттого, привычное небо стало меньше привлекать

Халил. Спутав лошадей и пустив их пастись, он часто и подолгу смотрел в густую черноту степи, где далеко и пешно, сходясь и разъезжаясь, переливалось множество спичечков. Трактора вели почную пахоту, и он знал, что в этом беспорядочном множестве огней есть один, который ему хотелось бы узнать и отличить от всех, узрать и запомнить, потому что на том тракторе работала Тамара.

С той первой встречи на танцах Халил больше не видел ее, по чем-то запомнилась она и не выходила из головы. Уж не приветливостью ли и дружелюбием, столь необычными при первом знакомстве? Во всяком случае, сейчас, вспоминая тот вечер, Халил ругал себя за проклятую застенчивость, помешавшую ему разговориться и сказать обычные легкие слова, которые закрепили бы их мимолетное знакомство и, кто знает, дали бы повод увидеться вновь.

Заглядевшись на огни и размечтавшись, Халил забыл о лошадях. Не слышно стало знакомого ржанья, лишь издали еле уловимо доносится гул работающих тракторов да время от времени со стороны дороги послышится шум проезжающей машины. Машины теперь шли часто, и, если смотреть на дорогу, то в одном и том же месте можно было видеть, как ярко и неукротимо горели два упорных набегающих огня, потом они вдруг смешались в сторону и пропадали, а на прежнем месте снова показывались такие же приближающиеся огни.

Осмотриваясь по сторонам, Халил плохо различал, что вокруг, луна к тому часу опустилась совсем низко и запуталась в густом и плотном облаке. Лошадей не видно было и не слышно, и он пошел в ту сторону, куда они обычно направлялись в поисках родного табуна. Иногда он останавливался в темноте, и тогда связка уздеочек в его руке издавала мелодичный звук, единственный звук, нарушающий глубокую тишину поздней ночи.

Чтобы лучше видеть, Халил присаживался на корточки и высматривал — не зачернеет ли что-нибудь впереди, и однажды ему показалось, что есть, но когда он подошел и взгляделся, оказалось — кустарник, маленький островок зарослей таволги.

Время шло, и Халил уж исходил окрестности, где обычно находил лошадей. Куда они могли забрести? Может, путы разорвались? Да нет, не должно бы... Лишь бы не напали волки!

А ночь становилась глупе, темнее, и уж надолго по-меркло небо, заволакиваясь медленной тучей. Халил услыхал ленивый рокот, тут же сверкнуло где-то далеко и пока не ярко, будто предостерегая. Халил ускорил шаги. Из-под ног стали чаще взлетать перепуганные птицы, ночевавшие в густой, как овечья шерсть, траве, и всякий раз Халил останавливался и с опаской слушал тишину.

Теперь, даже не присаживаясь, можно было разглядеть впереди темную, уходящую ввысь громаду — склон угрюмого отрога горы Кыз-Емшек. Черная мрачная туча сидела на плече горы, зацепившись словно войлок. А там, где угадывалась седловина, копилась гроза, и Халил всякий раз прикрывался рукой, когда ярко и все чаще, все ожесточеннее вспыхивали молнии. Будто кто-то невидимый скрывался между вершинами и быстро, резко бил и бил в кремень, высекая острые искры. Гром прокатывался в низком невидимом пебе, и горы, казалось, содрогались в этом требовательном и грозном гуле.

Халил неожиданно ступил в мягкую пахоту и остановился. Дальше идти не имело смысла. Перед глазами была сплошная чернота, и небо теперь совсем слилось с землей. Пользуясь минутным предгрозовым затишьем, Халил прислушался и вновь различил размеренный рабочий рокот трактора, ползавшего где-то неподалеку, возле склона горы. Потом перепел прокричал одиночко и соплю: «Быт-плдак, быт-плдак». И снова тихо.

Впереди быстро и ядовито перечеркинула черноту молния.

Похлопывая уздечками себя по ноге, Халил раздумывал, как быть. И вдруг близкий душераздирающий крик заставил его вздрогнуть. Это было так неожиданно и так близко, что сжалось сердце. Кричала женщина и кричала в беде, она боролась и отчаянно звала на помощь. Сорвалась откуда-то из куста испуганная сова и едва не задела Халила по лицу. Он опомнился и со всех ног бросился па крик...

Той же ночью по гладкой степной дороге летел тяжело груженный ЗИС. Изредка машину встряхивало на твердых выбоинах, по верзила-шофер, сидевший согнувшись за барабанкой, не сбавлял хода.

Рейс был долгий, и, чтобы снять усталость, шофер перед самым вечером остановился у дорожной столовой, за-

ност и один за другим вытянул два стакана светлой. Садились солнце, утихал ветер, ежедневно с самого утра задувавший из далеких сибирских степей. Дерягин кинул взгляд на привычную картину закатной степи и привычно запустил мотор. Теперь хмель проходил, но близился и конец пути, и Дерягин гнал машину, остро поглядывая на дорогу красными воспаленными глазами и по привычке перекидывая во рту изжеванную потухшую папиросу.

Его большое уставшее тело едва помещалось в кабине; пригнувшись, он походил на старого орла, уже подавившегося вперед, чтобы сняться и взлететь.

Несмотря на скандальный задиристый характер, Дерягин пользовался репутацией дельного, добросовестного шоффера, и это признавали и ценили в нем не только ребята-сверстники, но и начальство, потому что редко кто в состоянии был изо дня в день выдерживать такие долгие изматывающие рейсы по степным дорогам и к тому же в образцовом порядке содержать свою машину. Его выделял даже строгий и неласковый к людям завгар Морозов, и Дерягин знал все это, он хорошо знал себе цену, поэтому жил и вел себя как хочет, поскольку не задумываясь над тем, что товарищи постоянно побаиваются его и сторонятся и что кроме преданного Володи Котенка у него нет и, похоже, не будет здесь настоящих друзей.

Он заявил о себе в первый же день на новом месте, вернее, в первую ночь, когда новоселы только обосновались у рощи Малжана. Вечером, дождавшись тишины, Дерягин установил посреди вагончика перевернутый ящик, спустил пониже лампу и достал колоду карт. ИграТЬ уселись вчетвером. Волody Котенок сидел сбоку и тоже просил карту, но проигрывал раз за разом, как проигрывали и двое остальных партнеров, и стопка денег перед банкометом все росла и росла. Наконец он объявил:

— Стук. В банке четыреста.

Карты были разданы снова, и партнеры стали пытать последнее счастье.

— На тридцать.

— На сорок...

— На сто!

Дерягин, сдавая карты и открывая свои, уверенно забирал ставки. Остался последний, четвертый, еще совсем молоденький парнишка с рыжими вихрами. Он волновался и прятал в потных горячих ладонях карту. Проигравшие

соседи склонились к нему. У парнишки был туз, и это давало надежду на счастье.

— На все,— вдруг произнес он и тут же испугался, забормотав что-то совсем не подходящее:— А вообще-то... Смотри сам.

По партнеры уже придвигнулись и горячо поддержали его угасающий азарт:

— Иди! Мы проиграли — ты должен взять.

— Дави, не бойся!

— Ну, на все так на все.

И первно зевнул, захватывая полную грудь спрятого прокуренного воздуха.

Теперь внимание всех было приковано к большим волосатым лапам Дерягина. Парнишка сжимал в руке заветный туз.

Банкомет сбросил карту, и парнишка взял ее, по отрывать не торопился. Он сложил ее с тузом, еще не видя, и принял осторожно выдвигать, чувствуя, что сердце мечется, как жеребенок. Из-за тузов показалась девятка, и парнишка сказал радостно и нетерпеливо:

— Бери себе!

С сонным равнодушным лицом Дерягин перевернул свою карту и тут же каким-то неуловимым движением выбросил вторую. Десятка и десятка. Двадцать очков! Парнишка задохнулся.

Но тут раздался голос со стороны:

— Постой, а ты откуда это карту вытащил?

Дерягин вздрогнул.

— Ид-ди ты...— он схватил стакан и бросил в голову сказавшего. Тот успел присесть, и стакан разлетелся о стенку.

Верзила вскочил, страшно озираясь, и все, кто были в вагончике и наблюдали за игрой, попятились. Злой, оскалившийся Дерягин напоминал зверя перед прыжком.

Больше в вагончике никто не проронил ни слова, каждый старался отвести глаза от разъяренного взгляда Дерягина. И мало-помалу верзила успокоился, его вздымавшаяся, как кузнецкие мехи, грудь опада.

Игра прекратилась, Дерягин сгреб с ящика деньги и, не считая, сунул в карман. Напряжение спало, ребята разбрелись по нарам и затихли. Дерягин остался сидеть посреди вагончика под висячей лампой. Где-то в глубине души он не рад был этому дурацкому выигрышу. Даже Котенок, преданный человек и давнишний закадычный

руг, ничего не сказал ему сегодня, молча забрался на свое место, и, прежде чем он успел нырнуть под одеяло, Дерягин поймал его быстрый отчужденный взгляд. Жалел он его, что ли? А может, презирал?

Человек несдержаный, способный на самые крайние поступки, Дерягин в то же время умел замечать свои ошибки и раскаиваться, однако переживал он глубоко в душе, ни за что на свете не соглашаясь признаться товарищам. То, что творилось у него на сердце, было заперто от других на семь замков.

Так получилось и после злополучного выигрыша в карты. Даже друг осудил его, и молчаливое осуждение всегда преданного Котенка не осталось незамеченным, однако Дерягин никому не сказал ни слова, он не подал и вида ни, как ни в чем не бывало, отправился в долгий утомительный рейс. Работа, дальняя дорога всегда возвращали ему душевное равновесие.

На степь опустились сумерки, потом настала ночь, но тяжелый ЗИС не сбавлял хода, бросая впереди себя два сильных пучка света. Дорога просматривалась далеко, и вдруг Дерягин разглядел па пути зайчишку, врасплох захваченного ярким светом. Гул набегающей машины был страшен, и зайчишка, мелькнув куцым хвостом, пустился наутек, никак не в силах выскочить из напряженного пучка света. Узкий яркий коридор как бы направлял бег зверька, он был уже недалеко, и Дерягин, загораясь азартом погони, все прибавлял скорости. Силы беглеца стали убывать, и теперь можно было разглядеть, что это толстая брюхатая зайчиха. Дерягин даже привстал, ожидая, что жертва сейчас окажется под колесом, но в самый последний миг зайчиха сделала отчаянный прыжок в сторону и пропала из глаз. Не сразу, по довольно круто тяжелая машина тоже вильнула с дороги, и в пашаривающем свете фар тотчас стала видна улепетывающая зайчиха. ЗИС вновь понесся по целине, па этот раз совсем не разбирая дороги. Возникали и тут же пропадали снова в темень чахлые кустики чия, машину подбрасывало па кочках, но Дерягин гнал и гнал, видя перед собой лишь взлетающий пущистый комочек. У зайчихи уж не оставалось сил, и Дерягин однажды совсем потерял ее, но, развернув машину и пустив далеко вперед полный свет, он увидел ее под кустиком чия, припавшую к земле и судорожно водящую боками. С тех пор зайчиха уж не убегала со всех ног, а лишь отпрыгивала от набегающей машины в сторону и,

пока Дерягин разворачивался, она отдохнула. Потом попался участок густой нетронутой травы, и зайчиха скороподилась от назойливого и страшного света, но Дерягину приглянулся утюжить этот участок взад и вперед, и зайчиха, выпорхнув из-под самых колес, опять попалась на глаза. Но теперь она отдохнула и набралась сил и снова ударилась в бег. Азарт охоты целиком завладел человеком и он, не раздумывая, сильно погнал машину по сухим колдобинам и кочкам. И он настиг бы жертву на своей незнающей усталости машине, она была совсем уж рядом, вновь теряющая последние силы, но тут на пути встала непреодолимая преграда — чернота недавно распаханной степи. Машина разом оборвала свой сумасшедший бег, и Дерягин в далеком слабеющем свете фар видел, как зайчиха несколько раз кувыркнулась на кочках пахоты, застыла и исчезла в темноте.

Дерягин вышел из машины и огляделся. Луна безпадежно увязла в густеющих неторопливых тучах. В степи стояла глубокая тишина. Даже трактора утихомирились к этому позднему часу, их огоньки виднелись далеко один от другого, и еле слышный рокот как бы напоминал о великой усталости. Погоня завела Дерягина в совсем не знакомые места, и он, осматриваясь, гадал — не в совхозных ли домиках горят вон там, в стороне, огни.

Пахота, в которую уткнулась машина, уходила вдаль, и чернота падающей грозы оттого становилась еще гуще. Разъятая земля пахла влажно и нежно, и порой казалось, что это чье-то мертвое и спокойное дыхание дополняется из непроглядной тьмы.

Дерягин развернул машину и поехал вдоль кромки вспаханного поля. Не доезжая середины гона, он заметил трактор, замерший прямо в борозде. Фары погашены, лемеха так и остались глубоко в земле. Похоже трактор заглох в самый разгар работы.

А тракторист-то где?

Помигав светом, Дерягин увидел, что кто-то бежит к машине. Ага, вот он! Дерягин полез из кабину навстречу.

Чем быстрее приближался заброшенный в степи тракторист, тем недоумением всматривался в него пораженный Дерягин. Он отказывался верить глазам. Бывают же встречи! Вот не думал, не гадал... К машине подбежала Тамара.

Оказывается, у нее кончились солярка, и прицепщик отправился в далекую бригаду. Девушке было страшно однажды, и она обрадовалась, увидев остановившуюся маши-

тв. Однако радость ее была недолгой — она тоже узвала Дерягина.

— А ведь я к тебе специально,— сказал Дерягин, выключив мотор.— Может, поговорим вчистую?

— Зря трудился, на почь-то глядя,— сухо ответила девушка.— Поговорить и днем можно, да только... О чем нам говорить? Наш разговор давно закончен.

Она повернулась, чтобы уйти, но Дерягин крепко схватил ее за руку.

— Нет, дорогуша. Разговор только начиняется. И учти — от меня ты не убежишь. Поняла? Я тебя не отпущу — хоть голову па плаху!

— Перестань, Василий! Девчат в совхозе и без меня хватает. А меня оставь в покое.

— Да я на целину только из-за тебя приехал,— неужели ты не понимаешь? Для меня жизни больше нет! Ты пойми...

Девушка попыталась высвободиться, но Дерягин еще крепче сжал ее руку и потянул к себе.

— Ну, прости, если что... Я ж не просто... А, Тамара?

Или у кого еще не просил прощения! Ты ж сама знаешь...

— Нашел чем хвастать!.. И пусти меня,— слышишь?

Да пусти же!..

— А вот не пуши! Не пуши,— и все! Ты моя теперь,— понимаешь? Моя! Так и жить будем вдвоем. Ты не знаешь... Ты мне скажи чего-нибудь, ты только прикажи! Я все, что захочешь...

— Пусти! Не о чем нам...

— А-а... Так ты вот как! Ты, видно, все уже забыла. Ну, смотри, ты меня знаешь. Найдут как-нибудь в степи твое красивое тело...

— Запугал!... Пусти, говорю!

Дерягин рванул девушку к себе и, схватив в охапку, повалился в траву. Силясь вырваться, Тамара закричала что было мочи...

Подбежавший Халил увидел двух барахтающихся на земле людей. «Тамара?!» Дерягин от неожиданности растерялся. Девушка вскочила на ноги и с плачем бросилась к Халилу. Ее всю трясло от страха.

Дерягин лениво поднялся на ноги. Отстранив девушку, Халил удобнее перехватил связку уздеек.

— Не подходи! — закричал он.

— А если подойти? — сквозь зубы проговорил Дерягин, медленно приближаясь.— Заразный, что ли?

Он подошел и небрежно, одним пальцем хотел приподнять подбородок Халила. Тамара решительно стала между ними.

— Убери руки! Ты же только что клялся: «человеком стал...»

— Теперь это не твоего ума дело, кем я стал: человеком ли, чертом... я-то думал, она тут пашет, а она, оказывается, вон кому свиданья назначает. Весело, гляжу, проводишь время!

— Не тронь его. На меня говори, что хочешь, а на него...

— Ну-ну... — Дерягин отступил. — А ты, сопляк, гляжу, храбрый. Ладно, как-нибудь встретимся.

— Не пугай, не пугай. Смотри, сам попадешься.

— Ну, разве что так, — недобро рассмеялся Дерягин. — Посмотрим.

Он залез в кабину, включил мотор и с места сильно погнал машину. Халил долго смотрел, как она подпрыгивает и громыхает на кочках. Только теперь, когда опасность миновала, он ощутил противный страх, прокатившийся от сердца к коленям. Минутой раньше он никакого страха не чувствовал.

— Ты откуда взялся? — первой нарушила молчание Тамара. — С неба, что ли, свалился?

В голосе ее звучало удивление и радость благополучно минувшей опасности. Халил молча усмехнулся, пожал плечами.

— Нет, правда, что ты тут делал среди почн? — допытывалась она.

— Лошадей пас.

— Лошадей? Да какие же тут лошади?

— Какие... Наши лошади.

. Девушка перевела дух.

— Ладно, идем. Посиди со мной. Где-то прицепщика черти носят!

Тамара опрокинулась в траву, устало завела под голову руки. Халил присел рядом, положив в сторонку узечки.

— Слушай, — немного погодя спросила Тамара, — а у тебя много лошадей?

— Много.

— Ну, сколько?

— Около десятка, пожалуй. И еще жеребята.

— Ого! — она подняла голову. — И все твои?

— Конечно.

— И ты один пасешь их? А почему их не привязать на ночь?

— Нельзя. Лошадь только ночью и пасется. Днем, в лагеру, она отдыхает, где-нибудь стоит в тенечке... — Халил пригнулся к самой земле, все еще надеясь разглядеть: не покажутся ли знакомые силуэты пасущихся коней. — Ночью, если за лошадями не следить, они могут забрести далеко. И потом волки...

— Да, да. Знаешь, я совсем недавно видела волка. Самого настоящего! Никогда раньше не приходилось... Нашли трактористы четверых волчат поймали. Хорошенькие такие, прямо как овчарки.

— Волк? Здесь? — переспросил обеспокоенный Халил. Он снова пригнулся к земле, выискивая в темноте лошадей.

— Халил, а ты не боишься один в степи? — спросила Тамара. — И тебе не скучно?

— Что делать... А тебе разве не скучно? Ты же день и ночь одна.

— Да пу, о чём ты говоришь. Если бы ты хоть один день побывал моем месте! — опа обхватила руками согнувшиеся колени и, чуть откинув голову, мечтательно заглянула в ту сторону, где грузная медлительная туча совсем слилась с черной полосой распаханной степи. На лицо девушки упала первая крупная капля и тотчас еле слышно зашелестело кругом в сухой притянутой траве. — Ты знаешь, какое это чувство, когда трактор будет утром степь, а за тобой, за твоей спицой, вырастают валы перевернутой земли. Как волны, — честное слово! Не знаю, как у других, но мне иногда не хочется даже па обед останавливаться. Правда, правда! Я ведь иногда даже сплю здесь, в степи. Заглушишь мотор — и сразу тишина, тишина, как будто сразу все остановилось в мире. Бросишь в траву фуфайку и — раз! — сразу намертво. А иногда наоборот — раздумаешься. И чего только тогда не пойдет в голову!

Она умолкла и с мышцу сидела, чуть покачиваясь, погружаясь в руки. Потом будто что-то вспомнила:

— Я иногда думаю: каждый человек живет по-своему. В самом деле, вот жила я в городе. Вечер подходит: танцы. Домой приходишь: ужин холодный. Что-нибудь похватаешь — и спать. И ведь тоже усташь за день, иногда ног под собой не чуешь. А что сделала? Да ничего. Ты не думай, я той жизни несколько не жалею. У меня сейчас какой-то смысл появился, я сейчас понимать стала, зачем

я живу. Точно, точно! Может, кому-нибудь это покажется наивным, по я, например, когда вижу, сколько я за день распахала, я думаю, что день этот прожила не зря. И завтрашний день будет такой же. И от этого чувства спится так, что даже дождь не разбудит.

— Значит, кто не пашет землю, тот не спит? — усмехнулся Халил. — А ученики, а студенты? Или, по-твоему, они бездельники?

— Да ну, я же тоже училась в школе механизации! Но и там... Смотри, это же тоже надо понимать и чувствовать — как прожит день? Я, например, если не прочитала ничего, ничего не сделала, то чувствовала, что день потерян. Правда, правда!.. Ну, а вот тебя возьмем. Ты когда школу окончила?

— Я? В прошлом году.

— Ага. И что ты с тех пор делаешь? Или ты ничего не делаешь? Неужели ты не сожалеешь, что время уходит зря? Или ты поскольку не думаешь, что будет с тобой завтра, послезавтра? Ведь думаешь же?

Халил опустил глаза и ничего не ответил. На самом деле он никогда не задумывался о завтрашнем дне. Зачем?..

Редкие тяжеловесные капли стали падать чаще, дождь расходился. Тамара поднялась и засмотрелась на одинокий приближающийся огонек.

— Ну вот, идет мой прицепщик. Пошли в кабину, чего под дождем мокнуть...

Дождь, зарядивший ночью, под утро прекратился, небо очистилось и к восходу солнца над степью установился свежий аромат умытых трав.

В одних белых исподниках Карасай стоял на плоской сырой крыше избушки и смотрел вперед, пытаясь разглядеть, не покажется ли Халил с табуром. Но ни Халила, ни кобылиц с жеребятами не было видно, хотя в это время они обычно возвращались с ночной пастьбы. Медленно вставало солнце, согревая воздух и папоеппую землю, и Карасаю казалось, что трактора, застрекотавшие далеко впереди, у самого подножья Кыз-Емшек, были похожи на баурсаки, разбросанные редко на широком раскинутом дастархане.

Не понимая, что могло случиться с сыпом, Карасай по спешке оделся и пошел ловить спутанного коня, пасшегося недалеко от дома. Он не испытывал ни малейшей тревоги и поэтому цеторопливо трусил на отдыхнувшем и сытом

коно. Он видел, как ползают, стреляя дымом, разбросанные в степи трактора, и ~~навесело~~ думал, что на его глазах меняется не только обжигая земля, но и весь уклад старинной привычной жизни. Скоро совсем не останется выпасов, а там, где они сохранятся, будет пастись лишь колхозный скот, и хозяйство одинокого домика в степи постепенно придет в запустение. Скот Карасая станет, как бельмо на глазу, и если даже Халил устроится табунщиком, то и тогда спрятать в общественном табуне все свое поголовье окажется делом нелегким. Выхода, как ни хитри, не оставалось: лучше всего часть скота обратить в деньги. Но в то же время Карасай попимал, что сейчас, в начале лета, только дурак станет продавать скотину. Овец, тех еще, пожалуй, можно, на них всегда хороший спрос, но остальных... И старик, не слишком торопя коня, ломал голову над заботами, которых день ото дня не убывало, а только прибавлялось. Его беспокоил Халил, совсем не приспособленный к жизни парень. «На базар его, что ли, послать одного, пусть привыкает». Заставляла задумываться Акбопе, почему-то долго засидевшаяся в гостях у отда. Думать приходилось много, и хитрый расчетливый старик прекрасно видел, что прошлого уже не вернуть, значит, надо находить какие-то новые пути, надо приспособливаться. «Если время — лиса...»

Задумавшись, Карасай не заметил, как паткнулся па пахоту. Конь всхрапнул и, словно напугавшись крутого яра, попятился назад. Вздохнул и Карасай, глядя на обвображенную степь. Родимое пятно на его лице сморщилось, словно от боли. «Смотри ты, даже залежь вспахали. А ведь это место, где раньше Слу-Мурт и Кургерей хлеб сеяли. Все прошло, ничего не осталось,— думал старик, горько глядя на длинные, бесконечно уходящие к краю земли черные полосы.— А ведь целый аул был. Богатый ли, бедный, а был... Вот время что делает!..»

Он медленно ехал вдоль вспаханной залежки и думал о том, что знал и помнил о жизни, когда-то шумевшей здесь, на пустых и заброшенных ныне местах. Он вспомнил Слу-Мурта и Кургеря, потом и весь аул, его тяжелую надсадную жизнь, добывавшего себе пропитание лишь икалкой сохой...

И о том же самом рассказывал Жаптасу великан-старик, вспоминая прошлое, как слова полузыбкой песни.

## ВТОРАЯ ПЕСНЬ СТАРОГО КУРГЕРЕЯ

...— Да, а уж богатырь был Слу-Мурт и красавец — другого такого не сыскать. Лоб — две четверти, глаза, как у ястреба, а па каждое плечо можно по двое садиться.

Я его и в ауле продолжал называть Слу-Муртом, постепенно это прозвище так и прицепилось к нему...

О том, что у нас было в дороге, ни он, ни я до поры до времени не заговаривали. Как будто забыли оба. И лишь потом, когда мы подружились и сошлись как следует, Султан однажды расхохотался: «Как говорится, враги — до первого разговора, а копи — до ржания... Ведь чуть мы тогда с тобой из-за какого-то деръма друг друга не погубили. А?.. Но ты-то! В жизни я такого богатыря не встречал. Ох, и напугал же ты меня!»

Так смехом этот разговор и закончился. Больше мы и не поминали того случая.

Султану, как я увидел, жилось в ауле совсем не сладко. Ну, то что беден он был — так там все такие. Но Султан был очень одинок. Ни братьев, ни родных — никакого. И даже детей бог не давал. Родится парнишка, а через год-другой, глядишь, помирает. Только одна-единственная дочка сумела выжить. Выжила, выросла, стала человеком... Это вот опа, наша Райхан...

И еще одна беда была у Султана — жена болела. С малых лет у нее что-то было с глазами. А потом, при мне уж, она совсем ослепла.

Но Султан, как ни гнула его судьба, все же не поддался. И оставался таким, каким был,— бывало, все, что есть в доме, раздаст вдовам, сиротам, каждого притаскает, скажет хорошее слово. Золото был человек и парень настоящий.

А время тогда было, как вспомпишь,— хуже не придумаешь. Год змей выдался, и парод еле таскал ноги. Бесны уж не думали и дождаться. Многие порезали последнюю скотину и к весне оказались совсем голенькие. Куда народу было подаваться? Мужчины пошли пасти скот Маткиана, а бабы... Что уж говорить,— бабы тоже напинались у него батрачить, но что они заработают? Войдут с огнем, как говорится, а выйдут с золой... Тяжелое время.

Как-то Султан позвал меня, и мы долго рассуждали о совместном хозяйстве. Вроде придумывалось что-то... Позвали стариков, молодые пришли. Султан прямо к делу приступил.

— У меня, говорит, есть одно соображение... Вот дожили мы до весны, и очень хорошо, что дожили. Но как это нам далось? Скот-то, который остался, к концу зимы уже углы сараев и кизяк грыз, а дети все мешки перетрясли, где курт был и еремщик, все крошки подобрали. Я, говорит, подсчитал: за зиму в нашем ауле умерло больше десяти ребятишек. И это не считая стариков и больных, которые умерли, можно сказать, своей смертью! Так дети-то разве от болезни умерли? От голода! И вот я говорю — если мы не избавимся от этого проклятого голода, нам вообще всем конец придет. Всем! И напрасно вы радуетесь весне. Думаете, зиму пережили — и все хорошо? Опять к баю собираетесь напинаться?

— А что нам делать? — говорит тут старый Боташ. — Что нам еще остается? Или как это в пословице: гонит двух коз, а свистит на всю степь. За душой у нас пи крошки хлеба, а мы будем сидеть сложа руки! Ничего этим рукам не сделается, пускай поработают.

Болтливый был этот старикашка Боташ и вечно с мокрым носом. Хлюпает, шмыгает, как раскаленное шило в воду сует. И вот сказал он это Султану, снял свою драную шапочонку, отвернулся и снова натянул.

— Кто глотает, — говорит, — тот не голодает. И если мы до осени па малжаповском молоке доживем, то беды, думаю, от этого не будет. С поганой овцы хоть шерсти клок.

Тут его еще кто-то поддержал из стариков.

— Что ж, — говорят, — нам теперь и умирать сложа руки?

Султан аж задрожал, закипел весь.

— Сложа руки умирать, говорите? А надолго ли вам хватит объедков с байского стола? Зима-то подойдет, так бай оставит только тех, кто коней сможет пасти. А все остальные куда денутся?

— Так что нам делать? — не унимается гундосый Боташ.

— Иди под зад Малжапа ляг, если тебе ничего делать. Или мы уж совсем не мужчины? На что мы годимся? Неужели только для того, чтобы выбивать у бая вшей?

Тут подтянулись наши парни и уже не сводят с Султаном глаз. Один, чахоточный такой, измученный, даже темнеть начал от злости. А другой, пришедший погреться на солнышке и даже штаны свои овчинные расстегнувший,

так тот чесаться бросил и рубаху опустил, Султан все на него смотрел...

— Сурок, говорит, и тот на зиму запасает. А мы у байского стола обедки собираем. Или вы опять падеетесь, что поедете в Омск и мешок муки привезете? Но только надолго ли вам хватит этого мешка? Да и на что вы его теперь выменяете? Скота-то совсем не осталось... Давайте лучше сделаем так. Вот после Митрия остался кусок распаханной земли. Надо его хоть ногтями, да расцарапать и посеять хлеба. А соберем урожай — тогда хоть ребятишки не будут голодными сидеть.

Султан умолк и посмотрел на собравшихся. Старый Йусуп вздохнул и опустил голову.

— Что ж, сынок, это было бы хорошо. У Митрия, помнится, пшеница хорошо росла. Только вот скотина Малжана все вытоптала. Разве успели за его табунами! Как бы опять беда не повторилась.

— Бояться нечего,— сказал Султан.— Если надо — все лето будем караулить. Пусть только сунется!

— Так то это так...— тянул Йусуп.— А как сохи? Где взять?

— Все будет хорошо, отец. Вот сидит Кургерей, сын Митрия. Он нагляделся у отца. Обещает сам ковать плуги. Ну, и я ему помогу...

— Кургерей... А если ему вдруг опять все надоест, и он возьмет да и удерет в Омск? Ищи его потом, свищи!

Тут уж я не выдержал.

— Йок! — кричу по-казахски.— Ты, аксакал, пепривильно говоришь. Ты умрешь, и я умру. Руки есть, работа есть. Беспокоиться не надо.

Говорил я тогда еще плохо, и все, кто были, рассмеялись.

— Ай, молодец! Совсем хорошо научился говорить.

— Конечно, говорю. Уши есть, язык есть. Научишься. Снова рассмеялись и после этого перешли сразу к делу. Султан говорил:

— Значит, мы с Кургереем беремся за инвентарь. Ничего страшного: глаза боятся, а руки делают. И о тягле не надо беспокоиться. Коней не хватит, коровы есть. Запряжем, если что...

По Боташ опять загудосил, замотал шапкой:

— О чем он говорит! Единственную кормилицу — и в соху? Да мы лучше сами запряжемся!

— А что, если надо, и запряжемся! — твердо прогово-

рил старый Жусуп и поднялся, как бы давая понять, что обо всем переговорено и надо браться за дело.

Ну, приялись мы тогда и на первых порах хлебнули горя. С одной стороны — пароду мало. Семей пять с Ботаническим все-таки не решились и нанялись к Маликану пасти скот на джайляу. А тут еще троих человек Султан отправил к Жаман-Тузу, возить в город соль — зарабатывать всем на пропитание. И хорошо сделал, что отправил. Они потом приехали и привезли два мешка ячменя... А с другой стороны — тягло. Лошади, те, что сохранились, отощали настолько, что оставались в борозде. Той весной даже пара гнедых Султана совсем выбыла из сил. И пришлось нам запрягать коров. И тоже — и смех и грех. Они, оказывается, поросистые, особенно молодые. Приучика их к сохе! А приучили — молоко пропало...

Словом, досталось нам. А тут еще лизоблюды байские — смеются, грозят, когда понаедут. «Вы, говорят, теперь только суньтесь на порог. Ишь, клячи, решили жиром обрасти. Посмотрим, посмотрим, что вы запоете, когда с голоду начнете пухнуть...»

Прискакал как-то с дружками маликановский парень, Карабет. Правильно-то не Карабет его звали, а Карасай. Карабетом мы его за большое родимое пятно прозвали. И он самому Маликану племянником приходился, сын его брата Талкана. У этого Талкана полон дом голопузой детворы, и он всю жизнь батрачил на брата. Так и замерз в стужу с его табуном... Ну, а Карабет остался у дяди и в ту пору уже потявкивал на всех, как сурок. Ему тогда лет шестнадцать-семнадцать было.

Значит, прискакал он с дружками и разорался:

— А ну, кричит, убрайтесь! Земля тут наша, и нечего всяkim попрошайкам пищим пастища портить!

Разошелся и давай камчой хлестать по коровам, по лошадям. Лупит прямо по глазам. А Султан как раз за плугом шел. Увидел он это и нестерпел: подскочил, сдернул его с седла, и сам вскочил на лошадь. Дружки Карабета как увидели его верхом, да еще с камчой в руке, ссыпнули кто куда. Не стал он за ними гоняться, а подъехал к Карабету и отдал ему коня. Так тот, вместо того, чтобы тихонько убраться, взял да и огорел Султана камчой по лицу. Злой был, завистливый — настоящий байский выкорыш.

Что тут с Султаном сделалось! Карабет от него отлетел, как мячик. Думаю, что если бы я не подоспел, Султан

задушил бы его, как котенка. Когда я подбежал, Султан душил его камчой. У того уж язык вываливался... Бросился я, разнял. Коня мы тогда прогнали камчой, а мальчишка, когда отышался, ушел пешком. И ведь тоже, только отошел подальше, орать начал: «Отомшу, — кричит. — Убью!» И долго он так орал, пока из байского аула не подъехали люди и не увезли его. К нам они сунуться не посмели, и правильно сделали: Султан в ту минуту разорвал бы любого. Да и у меня тоже все кипело...

С того дня оставили они нас в покое.

Пахать залежь, как ты знаешь, куда легче, чем целину. Отцовский клин нам дался вроде бы легко. Но вот как за целину взялись — тут мы патерпелись мук. Соха не лезет в землю, хоть плачь, а тут еще коровенки крутятся. Ох, и вредная же в упряжке скотина! Когда мы с Султаном, так еще вроде бы пашется, а только поставил кого-нибудь вместо себя — все, конец. Еле-еле ковыряет землю, — не пашет, а только портит.

Вымотались мы с ним — ног под собой не чуем. Руки сбиты, в костях ломота. Ночь подойдет, а мы и уснуть не можем. Одна кожа да кости остались.

Но все-таки вспахали, посеяли. Где-то во второй половине мая отсеялись. Пшеница у нас еще с зимы оставалась, берегли ее пуще глаза. И полмешка еще после сева осталось. Так мы эти полмешка поджарили и ребятишкам раздали. Каждому вот по такой деревянной чашке пришлось. Радости было — давно не помнили! Несколько дней вся ребятня как с ума посходила. По зернышку жевали, будто лакомство какое. А мы смотрели на них и чуть не плакали. «Что же, думалось, они осенью станут вытворять, когда мы настоящий урожай соберем!» У многих ведь и молока не стало в доме с этой пахотой, бросили коровы доиться. А с козы, если у кого была, много ли возьмешь?

Так что надежды наши теперь были на осень. И, надо сказать, все начали складывалось как нельзя лучше. Отсеялись мы в срок, а для через два или три, то есть тоже в самый раз, пошли хорошие дожди. Бабы в ауле чуть лбы не расколотили в молитвах: до того все удачно получалось. И дождь лиx, как на заказ. Польет несколько дней, потом солнышко. Только подсушит землю — опять дождь. Лучше и не придумаешь.

И вот как-то кузнечим мы с Султаном в отцовской кузне, шину патягиваем на колесо, и вдруг слышим — бегут с поля ребятишки и кричат, вопят от радости. А у нас

в кузне старики сидели, Иусуп тоже был... Выскочили мы, попять ничего не можем. А крик стонет, как на пожаре. И бегут все, бегут в поле. Мы повскакали на лошадей и тоже туда. Я уж думал что случилось с посевами... Но пет, прискакали мы, обогнали всех баб, ребятишек, и видим — зеленело наше поле.

Еще вчера лежало оно черное и все в буграх, а сегодня после ночных дождиков прохлюпались ростки, и стало оно как бархатный ковер. Люди топчутся вокруг, с ума чуть не сходят от радости. Свое же все, своими руками заложено!.. И так чуть не до вечера проторчали мы на поле. Вернулись, как с праздника.

И с того дня мы ни на минуту не забывали о своем поле. Ходили, любовались и тут же плевали через плечо, чтобы, не дай бог, сглазить.

А поле все зеленело, и ростки, едва появившись, стали быстро, будто молодая осока, набирать рост и силу.

В том же году, в это, примерно, время, мы и с Лизой сошлись. После смерти матери дом совсем осиротел,— ведь что за дом без женщины? Ну, придут когда соседки, постригают, уберут,— все это не то. Дому нужна настоящая хозяйка... А с другой стороны, смотри, что получается: где мне взять невесту в ауле? Хоть меня и любили, и уважали, но девку отдать за меня никто не соглашался. Чужой человек, другой веры. Уж на что Султан пользовался у всех авторитетом, а и тот ничего не мог поделать. «Хороший, говорят, он парень, но — русский...» Вот и пришло мне брать жену со стороны, дочь одного переселенца, осевшего в Шарбак-Куле. Правда, там я долго порога не обивал. Мы с Лизой как-то сразу друг другу понравились, и дело было сделано скоро и без всяких там...

И вот женился я, и сразу в моем доме будто просветлело. Ребятишки сытые, умытые, одетые, скачут, как жеребята. Пошла жизнь! Видно, правду говорят старые люди, что жениться не на богатой, а на ловкой. А Лизу, как я уж потом узнал, отец школил и спуску не давал. Сурой был мужчина мой тестя и человек обстоятельный...

Не помню уж на который день, но он приехал к нам погостить, и мы с Султаном повели его на поле. «Смотрите, дескать...» Иван Максимович долго ходил по полю, глядел на пшеницу и только крякал. Что-то не нравилось старику, и мы с Султаном в толк не могли взять: что такое? А выходит, что я, хоть и русский, а ни черта в хлебопашцы не гожусь.

— Вы только посмотрите,— принялся за нас Иван Максимович.— Вот тут вы по залежи сеяли, а тут по целине. Так кто же так поднимает свежую землю? Кто это пахал? Руки ему оторвать надо. Комья-то почему не разбороили?.. А тут... смотрите, смотрите. То густо, то редко. Эх, вы! И цветник развели. Вот эти желтые цветы — их к чертовой матери надо? Это ж сорняк, они хлебу мешают. Или вы цветы собираетесь молотить, а не пшеницу?

Долго еще отчитывал пас стариик, мы слушали и па усмотали. А потом он отошел маленько и подобрел.

— Хорошая, говорит, земля тут, были бы руки. Вот вы,— коров тут замучили, людей без молока оставили, а что получилось?.. Давайте-ка так: завтра же соберите всех баб, ребятню всю и пусть они прополют как следует. Эти цветочки можете себе на голову надеть, а тут не оставляйте. Вот увидите, как пшеница сразу у вас пойдет...

Два раза нам говорить не надо было. На другой же день, все, кто держался па ногах, вышли в поле. Да же старый Йусуп притащился.

Женщины только па ребятишек покрикивают:

— Эй, чего остановился? Давай, давай. Да пе топчи, смотри!

— Ты под поги смотри, а не крутись. Куда ты уставился? Это хлеб у тебя под ногами, а не трава для коровы...

Какому-то ребятенку затрещина перепала, и он залылся на всю степь.

— Тетушка,— заступился Султан,— за что вы его? Ведь маленький же еще. Хорошо, что пришел с вами...

— Головы у него нет, вот за что! — кричит мать, а ребенок уж слезами умылся и присмирел у Султана под рукой.— Сколько раз ему, дураку, говорила, ничего не понимает. Смотри! — и показывает несколько пшеничных стебельков, которые парнишка вырвал вместе с травой.

Что тут ей скажешь? Бедные люди всю жизнЬ жили впроголодь, а тут вдруг появилась надежда. Так они над этим пшеничным клочком аж тряслись все, как над собственным гнездом...

Иван Максимович оказался прав — после прополки пшеница у нас сильно пошла в рост и к осени вымахала по грудь коню. И либо такое зерно, тяжелое. А тут как раз дожди утихли, жара настала, и пшеница золотиться начала, желтеть и сваливаться от тяжести на сторону. Все поле полегло, будто куга па болоте.

Ребятишки поля так целыми днями и торчали,

Не то что скотину какую,— воробьев камнями гоняли. А в том году сусликов что-то у нас развелось,— ну прямо кишмя кишили. Так ребятия натаскает ведрами воды, наставит капканы и давай зативать норы. Наловили их бог знает сколько... Словом, осень была уже вот — рукой достать, и каждый ждет, не дождется дня, когда можно начинать уборку.

Я опять съездил к Ивану Максимовичу и позвал его, чтобы он приехал, подучил нас — что и к чему. Никто же никогда серпа в руках не держал! Согласился старик, а па другой день после его приезда суховей задул — ну прямо как из печки. Иван Максимович походил, посмотрел и говорит, что хлеб сохнет и скоро осыпаться начнет. Надо приступать.

Назавтра решили выходить, а вечером у Султана собрались. Старый Йусуп заставил барана заколоть, самого что ни есть жирного — в жертву, чтоб все было благополучно. И вот весь вечер и даже чуть ли не ночь напролет просидели мы у Султана, ожидая утра. Мы сюда серпы приволокли, и тесть показывал как с ними управляться, потом какие-то случаи рассказывал. Хохотали, помню, даже песни пели.

Перед самым утром, когда все разошлись, Иван Максимович говорит мне:

— Ну, ветер сегодня — прямо какой-то шальной. Не помню я что-то такого... Счастье ваше, если уцелеет хлеб.

— Пичего,— пробормотал я, а у самого что-то заскребло на душе. «Неужели, думаю... Ведь какие-то часы остались!»

Спать я в ту ночь не спал, а так, задремал вполглаза. Не до сна что-то было.

И вот странное дело. Был я когда-то вором, причинял людям горе и немало порой горя, но никогда до той ночи не думал я и не знал, что человек может настолько быть жестоким. Это даже мне, вору, удивительно стало.

Проснулся я от испуга. Ночь жаркая, и окна, двери в доме пастежь. Я вскочил и ничего не могу понять. Крик, плач, куда-то бегут. Выскочил и я. Бабы бегут, ребятишки. Небо все в огне и к огню этому с криком, как верблюды, несутся раздетые люди. Словно обезумели все.. я, как сообразил, окостенел весь.

Горел хлеб. Подбежали мы, бросились тушить. Да только что сделаешь? Огонь выше человека полыхает, а мы, как вскочили, так и прибежали пи с чем. Ну, сорвали

что на ком было: кто рубашку, кто чапан. Я, например, так штаны снял и штанами принялся хлестать. Только чего уж там... Хлеб-то сухой весь был, так огонь будто расплясался па поле. Гул стоит, треск — как он шел стеной.

Народ кричит:

— Воды!

— Кошмой надо...

Да разве огонь будет ждать! И потом — па него теперь целое озеро можно выпить: не уймешь. Сущь, а тут еще ветер проклятый. Искры летят, дым завивается куда-то по ветру, люди мельтешаются, и уж не понять — не люди ли горят вместе с хлебом?

Мальчишка, помню, закричал, закричал как зарезанный. Я все штанами своими орудовал, а тут выскочил из дыма па крик и вижу: бежит парнишка, а рубашка па нем вся отием взялась. И так разгорелась, будто охапка огия бежит, а не живой человек. И хлеб за ним так струйкой и загорается. Бросились мы ловить его да тушить, а мальчишка уж по земле катается и никак отря упять не может.

Много было страха. Всего и не расскажешь.

Спасли мы тогда только крохотный клочок — переплюнуть можно. Остальное все сплюнуло. Потрещал еще немножко огонь и в степь ушел. Слабее стал, ниже и где-то унялся. А у нас пусто стало, черно, кто-то плакать принялся. Я смотрю — в саже все, подпалились, а у Султана один ус совсем сгорел. Постояли мы, помолчали и медленно потащились домой. И никто ни слова, ни голоса — будто с похорон идем.

Но все уже тогда понимали, что это не так просто залялось, а чья-то злая рука. Однако говорить той почью никто не говорил...

Я все мальчишку того вспоминаю. Сирота был, отец умер, а мать одна осталась. Мы с Султаном прямо с поля к ней пошли. Кричит, бедный, поклонками стучит — места живого не найдешь. Мать, конечно, убивается. Один-единственный оставался он у нее, и вот... Посидели мы. Ну что можно сделать? И ведь кричит, как жеребенок. На весь аул слышно. А только к рассвету стал затихать. Откроет когда глазенки, что-то поищет, поищет и губами зашевелит. «Нан,—скажет,—нан\*...» и снова затихнет.

Схоронили мы его. Как мать убивалась — до сих пор в ушах стоит.

---

\* Нан — хлеб.

— Чуб ты ослеп! — кричала. — Чуб ты.. Возьми же и меня, если ребенка забрал!

По земле каталась, еле увела мы ее домой... .

Вот так все и пошло прахом. Надеялись, растили, а какая-то змея взяла да и смахнула. И ведь до сих пор никто не знает, кто эта змея. Хотя у нас нисколько не сомневались, что беда пришла из байского аула...

«Да, никто не сомневался,— думал Карасай, тихо покачиваясь в седле.— Но доказательств не было. Да и что они тогда могли сделать, эти голодащицы?»

Много лет прошло с той памятной почти, но за все время Карасай ни разу не проговорился о своей жестокой мести Слу-Мурту. Даже сам Малжан не знал, как ему удалось, выбрав момент, запалить бедняцкий хлеб. Карасай упрямо хранил свою страшную тайну, не доверяя никому. Таков уж характер,— все, что он сделало, остается в его душе. И от этого правила Карасай не отступал всю жизнь.

Несчастье бедняцкого аула оказалось на руку Малжану. Это был жестокий урок тем, кто начал перекидываться на сторону русских переселенцев, учивших казахов сеять хлеб. Многие уж начинали роптать, возмущаясь тем, что не век же имходить за хвостом байского скота...

Карасай не побоялся в одиночку выступить против целого аула, и теперь, вспоминая, он ехал и вновь чувствовал, как и тогда, легкое опемение от собственной смелости, удачи и сноровки.

«В наше время говорили,— раздумывал Карасай,— что человек уже в тридцать лет настоящий хозяин дома. Сколько мне тогда было? Пятидесят. И ведь не побоялся же!.. А Халил? Совсем мужчина, а никакой твердости. Или это у меня сердце с молодости каменное было?»

Старик еще долго размышлял бы о переменчивости времени и никудышности пылающей молодежи, то и дело недобрым словом поминая своего совсем не приспособленного к жизни сына, как вдруг на том месте, где когда-то на бедняцком созревшем поле вспыхнул пожар, он увидел Халила. Карасай даже коня остановил, не веря своим глазам.

Сотрясал землю, полз мимо трактор, тяжело протаскивал зарывшиеся в землю плуги. Поравнявшись с всадником, трактор остановился и из кабины выпрыгнул радост-

ный Халил. Какая-то желтоволосая улыбающаяся девка высунулась за ним и, смеясь, крикнула: «Приходи, все равно тебе делать нечего. Поболтаем!» И Халил замахал рукой. «Ладно, приду. До свиданья!»

Карасай, паливаясь глевом, молча смотрел, как счастливый сын, спотыкаясь па кочках, бежит к нему навстречу.

— Ты что тут делал? — пакинул он па Халила. — Я думал, ты человеком стаешь, а ты... Где лошади?

Халил опустил голову. Карасай дернул повод и поехал прочь. Молчаливый сын шагал за ним следом.

— Ладно, — проговорил паконец Карасай, слезая с седла. — Отправляйся домой и возьми мотоцикл. Пока тут тебя черти посыпли, лошади, поди, до табуна уж добрались. Только бы не случилось ничего... Да поторопливайся, поторопливайся! — крикнул он вслед.

В самой глухой части болота, там, где кончаются северные отроги Қызы-Емшек, в зарослях таволги волчья пара давно облюбовала пору, и однажды темной пепастной ночью в норе запищали волчата. Место было дикое, здесь никогда не ступало копыто коня, и чтобы пробраться в нору, приходилось лезть сквозь плотные заросли. На сучьях кустарника висела линялая волчья шерсть, прошлогодние клочья смерзлись, свалялись и трепыхались на ветру, словно куски недокатанной кошмы.

С появлением волчат в норе стало тесно и самцу приводило хлопот. Каждую ночь он обшаривал окрестности в поисках добычи и однажды паткнулся па целый выводок еликов — самку с детенышами, лежащими под кустом чилика. Вскочив на тоненькие трепетные ножки, елики заозирались влажными пугливыми глазами и застригли ушами. Но было поздно, — сильный матерый волк, ростом с хорошего телка, быстро прикопчил всех, с хрустом ломая слабенькие позвонки своими каменными челюстями. Самку елика он приволок в нору, и вместе с волчицей они жадно разорвали ее па куски. В яме терпко запахло кровью. Пока волчица насыщалась, самец лежал па боку и, съято отрыгиваясь, жмурил сонные глаза.

Наступал день, и солнце поднялось па длину аркана, когда самец услышал непонятный дробный гул. Волчица спала, положив голову па бедро старого самца и во снепускала слюни. Однако непривычный звук приближаю-

щейся опасности заставил вскочить и ее. Волчата, лежавшие мордами к соскам возле теплого материнского живота, рассыпались по земле.

Гул надвигался и скоро оказался так близко, что посыпался песок со стенок ямы. Какое-то чудовище, скрежеща и сотрясая землю, грозило размолоть большие камни, прикрывающие лаз в нору. Волчата, только недавно оторвавшиеся от земли животы, сбились в угол и остро поблескивали глазенками. Старый волк, кося горящими глазами, медленно сжимал свое большое тело в пружинящий комок и готовился к прыжку. Но враг не появился перед норой, он прошел мимо, очень близко, и вскоре его пугающий лязг и грохот стали затихать. Волк разогнулся, шерсть на его загривке опустилась.

Однако чудовище не думало уходить, скоро оно снова загрохотало рядом, еще ближе, чем прежде, и снова не тронуло норы, по волки уже не спали покоя, со злобным страхом прислушиваясь к опасности, надвигающейся неумолимо, медленными, сужающимися к норе кругами. И настала минута, когда грохот раздался над самыми головами, в нору посыпалась земля,— железная машина, задравшись на бугре, поросшем таволгой, нависла над ямой. Волчата с визгом бросились к лазу, по самец успел схватить одного в зубы и вырвался из-под самого носа чудовища. Следом за ним, тоже с детенышем в зубах, устремилась волчица.

Когда звери, сокрушая заросли, достигли другой стороны болота, сзади, на оставленном месте, раздались громкие человеческие голоса. Бросив детенышей в густую траву, волки повернули назад. Грузная, с длинными висячими сосками волчица совсем забыла о страхе. Она ринулась прямо на людские голоса, но самец вцепился ей клыками в загривок и не пустил, и она смирилась, тяжело поводя отощавшими боками, утихла и отошла к брошенным в траву волчатам, накрыла их теплым животом.

Затаившись в камышах, самец не отрывал своих горящих непавицью глаз от людей, беспущущихся у обнаруженней норы. Большой железный дом замер на пригорке, пугая сверкающими клыками. Внутри его что-то стучит и клюкает, выбрасывая хлопьями густой и едкий дым. Волк видел такие железные дома в степи, но видел лишь издалека, не рискуя приближаться, а вот так, рядом, он разглядывал его впервые. Чудовище сверкало выпученными гла-

зинцами и совсем не жалело степи,— после него остались на земле крутые борозды и комья.

Люди, слазившие в пору, выволокли четверых волчат, притихших от яркого света и гама. Волчата висели в их руках и не подавали голоса. Потом люди бросили их в раскрытую дверь своего железного дома и один из них забрался внутрь. Волк смотрел и видел, что второй человек пошел к плугам. Тотчас огромный дом затрясло, он отворотил от поры и пополз, перебирая сверкающими клыками. Следом за ним пластами переворачивалась черная земля. Видимо, чудовище отправилось на поиски новой ямы.

Волки лежали в зарослях до самой темноты. Весь день они наблюдали за степью и не узнавали тихого давно обжитого угла. Повсюду, где только можно было видеть, ползали по земле большие железные дома, переворачивая землю. Оставаться здесь дальше было невозможно.

Когда шум в степи утих, волки взяли спасенных детенышней в зубы и отправились искать новое логово. Не останавливаясь, они трусили всю почку и наконец очутились на солончаках возле Жаман-Туза. Там они облюбовали бугор и весь остаток ночи рыли яму. Вокруг было тихо, и сколько самец ни поднимал голову и ни принюхивался, опасности не ожидалось. Посвистывал на голой ровной земле ветер, и сухой кудай легонько покачивал головкой. С наступлением дня волки разглядели высоко в небе парящего ястреба, и это первое живое существо на новом месте напоминало им не об опасности, а о голоде. Самец, задрав голову, заглядился на далекую птицу. От задранной вчера самки елика остался лишь вкус крови и память прошедшей сытости. Брюхо зверей подводило от голода, и надо было подумать о новой добыче.

Миновал долгий день, и с вечера самец тронулся на охоту. Всю ночь он рыскал по скучным окрестностям, пухкая налетающий издалека ветер, но не находил поживы его чуткий, всегда влажнеющий нос. Только под утро, на самом рассвете, он заметил на изнемытом кустике чия пахохлепную сову, незаметно подкрался и схватил. Полетели перья, волк разорвал птицу пополам и проглотил в два приема. Маленький комочек теплого вонючего мяса лишь раздразнил аппетит огромного зверя.

Двое суток кряду гонял волк по степи. Несколько раз он осторожно приближался к аулу, преодолевая непонятный запах человека. Но в ауле все было заперто и тихо. Обшаривая степь, он то и дело натыкался на грохочущие

поселенные дома, и почью они ему казались еще страшнее, чем днем.

Зной, измученный, голодный возвратился волк в логово Волчица, карауля оставшихся детенышей, не могла уйти до него и целыми днями охотилась поблизости на мышь. Заметив самца, она выбежала ему навстречу, с надеждой и радостью повиливая хвостом. Но самец ничего не добывал, и волчица уныло поджала хвост. Раньше, когда он возвращался сытым и с добычей, он обычно ласково обнюхивал подругу, игриво покусывал ее за загривок, но сегодня он только зыркнул на нее злыми глазами, проскользнул в логово и лег, свернулся клубком.

Возле норы на холмике из желто-белой глины играли и грелись волчаты. Из шестерых детенышей остались лишь они двое, и теперь им было вдоволь молока. Они окрепли, поднялись и отвердели кончики их серых ушей. Волчаты баражтались, радуясь жизни, и подкатились к дремавшему самцу. Сначала они попытались взобраться на волка, скатились, потом принялись теребить его за ухо и за хвост. Не открывая глаз, волк грозно и негромко прорычал, однако волчаты продолжали забавляться, дергая и кусая его. И тут злость отощавшего, отчаявшегося зверя нашла себе выход. С налитыми глазами, с шерстью, вставшей дыбом, он вскочил и сбросил с шеи игравшего волчонка. Одним разом он перекусил ему хребтишко и тут же хватапул за морду бросившуюся к нему волчицу. Он был страшен, и волчица отступила в глубь норы, забилась и прикрыла собой единственного детеныша. Так пролежала она весь день, ни на шаг не отпуская от себя волчонка.

Наступила третья голодная ночь, и в предрассветный тихий час, когда стала бледнеть и скатываться луна, два зверя рядом вышли на поиски добычи. Никогда раньше не давалось им пропитание с таким трудом. Они забыли время, когда каждая почь приносила легкую добычу, и тогда день они проводили в прохладной яме, скрываясь от глаз и отдыхая.

Теперь они совсем лишились сна, потому что жестокий голод досекал их и гнал на поиски пищи.

Место, где волки облюбовали себе логово, было богато озерами. На рассвете над уснувшими водами потянул свежий ветерок, зашумели камыши, и в час восхода загоготали гуси, закрякали утки, раздались звонкие протяжные клики лебедей. Слушая эти смешавшиеся голоса занимающегося дня, волки различали и знакомые, так напугавшие их гру-

бые звуки ползающих по степи громадных железных домов. Трактора в тот рапший час также завели свою нескончаемую песню.

Держась по привычке подветренной стороны, волки обошли озеро и углубились дальше в степь. Но па пути пока попадались одни пересохшие кизяки, настолько давние, что черви вконец истощили их. Неожиданно изголодавшееся чутье зверей обнаружило близкий теплый запах, и волк первым, роняя слюну, бросился вперед. Сильно отталкиваясь своими железными лапами, он взлетел на пригорок и сразу увидел пасущихся лошадей. Он не поверил удаче,— возле копей не было ни одного человека, хотя сегодня его не остановил бы и человек.

Оба, волк и волчица, нырнули в широкую балку и, прокакав недолго, так же стремительно выпеслись наверх. Голод гнал их, и они были в неукротимом азарте охоты. Несколько ласточек с испуганным плеском пронеслись над лошадьми, но животные, не чуя опасности, продолжали мирно пастись.

И лишь когда волки выскочили из балки, лошади захрапели и в ужасе попятились.

Не сбавляя хода, волк бросился к жеребенку и одним рывком свалил его. Рыжая кобылица, в диком страхе взвившись на дыбы, разорвала путы и пустилась вскачь. За ней понеслись остальные лошади. Волки, длинными бросками догоняя свои жертвы, скакали чуть в сторонке. Самец, приоравливаясь к бегу, несколько раз пытался пасочить на черную ситуацию кобылицу, но всякий раз встречал грозные копыта. Тогда он обогнал ее и забежал спереди. Неловко прыгая, кобылица прынула в сторону, однако волк успел вцепиться ей прямо в губы и, как ни металась несчастная жертва, он крепко держал ее, упираясь всеми лапами в землю. Он был стар, силен и опытен, и этот давнишний прием перешел к нему от далеких предков. Лошадь теперь была обречена, потому что от боли и страха она стала вырываться и сильно тянутуть назад; только этого и надо было волку,— он вдруг резко разжал клыки, и лошадь опрокинулась, подставив беззащитное жирное брюхо. Метнувшись, как кошка, зверь распорол лошади живот. Он даже не стал приканчивать свою жертву. Задыхаясь от голода и жадности, он рвал теплое мясо, глотал горячую кровь и вконец добрался до лакомых мест, сплошь заросших толстым слоем жира. Глухое урчание послышалось из

самой угробы зверя. Он дал себе волю, насыщаясь за все эти голодные дни.

Ридом, свалив резвого стригунка, урчала и давилась волками отощавшая волчица.

В это время со стороны синевшей вдалеке рощи Малыши показался прыгающий на кочках мотоцикл. Карасай ~~видел~~ почуял несчастье и крикнул Халилу, чтобы прибавить хода. Мотоцикл вихрем полетел по бездорожью.

Волки подпустили людей почти вплотную. Задрав худые зады и упираясь всеми лапами, звери рвали мясо и горопливо глотали. Мотоцикл подлетел и остановился. Бык и волчица, озираясь на ходу, тяжело потрусили в балке..

— Проклятые! — отчаянным голосом закричал Карасай, в бессилии глядя, как уходят звери и, не отрывая глаз от растерзанной скотины.— Только этого мне не хватало... Боже, какую ты еще беду пошлешь!

Чалый жеребец с разорванным пахом подошел совсем близко и, словно жалуясь, уставился на хозяина влажными кроткими глазами. Карасай, не переставая ругаться, сжимал кулаки. Впешину поги жеребца подкосились и он рухнулся на землю.

Смотреть на такое разорение не было сил. Халил не выдержал и отвернулся.

Женщину, вступившую в калитку, Карасай встретил настороженно,— он не любил чужих в доме. Мало того, что весь этот сброд, съехавшийся за каким-то дьяволом в тихую степь, перевернул всю его жизнь, так пет, им этого мало,— они еще и во двор лезут!.. Однако нелюдимость старика нисколько не обескуражила гостью.

— Хозяин,— певучим голосом завела женщина, быстро оглядываясь по сторонам,— какая у вас благодать. А что творится у нас в палатах! Грязь, сырость, холод. Забыла уж, когда и спала по-человечески. И со здоровьем,— слышите? Насморк, кашель,— ужас! Что хотите заплачу,— только уступите комнату. Не могу я болыше в таких условиях...

Жалуясь, опа не отпускала его взгляда, и Карасай надменно шевельнул ноздрями. Чем собирается прельстить его эта гладкая, как раскормленная кобылица, баба? Платой? Да он плевал на ее жалкие гроши! Подумаешь, доход...

— Этот дом ставился для себя,— сдержанно ответил он, избегая смотреть в ее светлые настойчивые глаза.—

И не зпаю, как у вас, а у нас нет обычая жить за счет квартантов.

С этими словами он бесцеремонно выпроводил ее за ворота. Нахальный народ! После ухода женщины Карасай даже след ее окурил, чтобы заказать дорогу обратно.

Теперь, глядя на изорванных подыхающих лошадей, Карасай вспомнил о недавней просительнице и заторопился в поселок. Он знал где искать ее и, заявившись в рабочую столовую, попросил вызвать заведующую.

— Маржа,— вежливо поклонился он, прикладывая руку к сердцу,— не стоит обижаться на старика. Такая жизнь пошла,— разве удержишься...

— Что вы, какие пустяки,— рассмеялась Япишина.— Я человек незлопамятный.

Она не понимала, что вдруг привело к ней этого нелюдимого суворого человека. Вчера он не захотел даже выслушать ее и попросту выгнал со двора.

— Грязно вы живете,— сам видел. Разве можно? Комната у меня свободная, можно договориться... Только никаких денег мне не надо!— тут же предупредил старик.

Медленным изучающим взглядом посмотрела она в его глаза.

— Ну-ну, хорошо... я думаю — договоримся.

Карасай обрадовался.

— Конечно! Зачем считать от кого кому перешло?

Выставив белый пухлый подбородок, Япишина с легким сердцем рассмеялась.

— Кому, как не торговому работнику лучше знать прибыли и убытки?

В тот же день в доме Карасая явилось несколько женщин-поварих и быстро, дружно побелили комнату. К вечеру с небольшим багажом пожаловала и квартантка.

А на другой день все мясо подохших лошадей Карасай отвез на склад совхозной столовой. Квартантка оказалась нужным, пезаменным для дел человеком.

Однако, радуясь удаче и заранее подсчитывая всю будущую прибыль, Карасай и подумать не мог какую роль суждено сыграть в его судьбе этому, казалось бы, выгодному знакомству и какой оборот примут события в течение самого недалекого времени.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Воскресную базарную толчею не разогнал и полуденный зной.

Раньше на маленький базарчик в Кызыл-Талау съезжались лишь старики и старухи из окрестных колхозов, привозившие на продажу разную мелочь с огородов: семечки, огурцы, морковь. Торговля была копеечной, и к полуночи базар закрывался. Теперь же, с приездом новоселов, на вытоптанной пыльной площади народ толчится до самого вечера. Приезжие, запасаясь в дорогу, забегают в магазины и лавки, плотно обступают столы, на которых чай только не навалено. Даже краснобокий душистый шорт не исчезает с районного базарчика, а прежде местные видели его лишь раз в году по случаю приезда какого-либо столичного родственника. Вокруг столов с яблоками день-деньской вются ребятишки, не в силах оторвать блестящих глазенок от соблазнительного лакомства.

Халилу досталось место рядом со стариком, продававшим кумыс из черной грязной сабы. Собираясь на базар, парень оделся будто па гулянье: повенчайский костюм, поверх шиджака выпущен ворот белой рубашки. Изнывая за столом, на котором разложена белая, как снег, жирная баранина, он меньше всего походил на горластого засаленного мясника — касапчи. Никогда раньше ему не приходилось торчать за прилавком, и от стыда он не знает куда девать глаза.

— Эй, парек, почем мясо? — то и дело окликают покупатели. Халил вздрагивает, растерянно озирается и еле слышно бурчит что-то под нос. Пропади она пропадом эта торговля! Как назло, часто подходят знакомые, и тогда Халил готов провалиться сквозь землю.

Кучка старииков, сидевших неподалеку в тени, припялась высмеивать соседа Халила, растрепанного торговца кумысом.

— Эй, Машрап, что это заставило тебя притащиться на базар?

— Чем драть деньги за священное питье, лучше бы угостил нас!

— Ну да, он, видно, разбогатеть падумал.

— Вот человек, одной погой в могиле стоит, а чем запялся.

Пощады от старииков не было, и сосед Халила сдался: тряся ределькой бороденкой на крохотном подбородке и

повторял, что хотел выручить лишь па чай и сахар для старухи, он налил насмешникам по чашке кумыса. Старики, потягивая взбитый желтый напиток, оставили его в покое и взялись за Халила.

— Эй, а ты никак сын Карабета?

Халил настороженно кивнул.

— Ну вот, мало ему омского базара. Он еще и на паш базар разинул пасть.

— Видно, правду говорят, что ни одна денежка не мимует кармана Карабета!

— А скажи-ка, сынок, дома-то, наверное, уже целый сундук. Вы что, гноить их собираетесь?

Халил, затравленный вконец, не знал что и отвечать. Он вспомнил, что дома действительно имелся небольшой обитый медными долосами сундучок, в который отец всякий раз прятал базарную выручку. Уж не на этот ли сундук памекают ядовитые старики?.. К счастью, напившись кумыса и подобрев, старики забыли о Халиле и разговорились между собой. Но разговор их все равно о Карасе, и Халил, молчаливо присутствуя, вынужден слушать, что говорят об его отце.

— Денег у Карабета — счет потерял. И полоп двор скота. Только и знает, что продавать да деньги загребать.

— Однако в такую жару его никогда из дома не вытянешь. А тут.. Видно, что-то поджимает его.

— Что поджимает? Ясно что. Рядом с ним совхоз образуется. А «Жана-Талап», говорят, присоединяется к совхозу. Где ему теперь пасти свой скот?

Старики еще долго рассуждали, на разные лады пересывая косточки Карасаю. Халила удивило, что все, кто принимал участие в разговоре, отзывались об отце с ненавистью. За что они так ненавидят его? Сам Халил никогда не задумывался ни о характере отца, ни о его поступках. Он любил его как мог и всю жизнь был уверен, что отец пользуется у окружающих непрекаемым и заслуженным уважением. И вдруг... Даже неприятное прозвище отца Карабет, которое часто повторяли старики, принимало сейчас какое-то иное, двусмысленное значение: черноликий, человек с черной душой. Все это было ново для Халила, неожиданно и западало глубоко в душу.

После полудня, когда зной пошел на убыль, Халил плонул на торговлю, накрыл тряпкой мясо и ушел, попросив старика-соседа присмотреть. Он направился в шашлычную. Прежде в здешних краях не знали и не видели,

что это за певидалъ такая — шашлык. Но вот весной, едва всплыть потянулись новоселы, в самом углу базара задымился жаровня. В низеньком саманном домишке, где раньше продавали книги и учебники, обосновались двое шустрых армян. Над дверью появилась вывеска па двух языках, в самом помещении стало тесно от больших бочек с вином. Растропные продавцы в измазанных халатах бочкою наливали стаканы и пучками спичами с огня палочки и прожаренного мяса. Заведение поправилось, и там до самого закрытия базара стал толпиться народ.

Войдя в шашлычную, Халил хотел было протолкаться вперед, но его окликнули и грубо схватили за плечо.

— А ну в очередь! Куда прешь?

Халил, высматривая кого-нибудь из продавцов, отступил к двери.

Одип из армян сегодня подходил к Халилу и долго прохаживался возле стола, па котором лежали четыре освежеванные барапы туши.

— Послушай, дорогой, сегодня жара и мясо испортится. Давай-ка я заберу у тебя все оптом.

Но Халил побоялся продешевить и отказал покупателю, а сейчас пришел просить сам.

Шашлычник, приходивший утром, сразу заметил Халила, однако не подал и вида. Пришлось проглотить обиду и подождать. Лишь через некоторое время армянин улыбнулся, показав целый ряд золотых зубов, и поманил Халила.

— Проходи, проходи, дорогой. Садись сюда, па бочку. Пить захотел? На, выпей,— и протянул стакан с вином.— Бери, бери, платить не надо. Я угощаю.

Халил не успел опомниться, как в руке у него оказался липкий стакан с бурым, цвета таволги, вином. Пока он осматривался, не зная, куда отставить стакан, армянин протянул ему палочку горячего душегостного шашлыка.

— Пей, пей, не задерживай,— поторопил продавец.— Стаканов не хватает.

Тут же из разных углов закричали нетерпеливые голоса:

— Товарищи, давайте поскорее!

— Тут вам не ресторан, рассиживаться!

— Разговоры потом. Эй, там, в углу. Вы скоро?

Пить вино Халилу доводилось лишь однажды — на вечеринке в честь окончания школы. Но он тогда не то чтобы опьянел, а и вкуса вина не почувствовал. На этот раз ему совсем не хотелось пить, но кругом было столько пьяниц,

к тому же его торопили с посудой,— он поднес вино к губам и неторопливо, маленькими глотками вытянул стакан до дна.

От посетителей, уже побывавших в шашлычной, Халил слышал, что вино тут неважное, почти вода, однако выпив стакан, он облизнул губы и утерся,— вино показалось ему сладким, будто чай с сахаром, и слегка терпким. «Кажется, в самом деле слабовато,— подумал он.— А может, оно и должно быть таким...»

Шашлычники были заняты своим делом и, казалось, совсем не обращали на Халила внимания, однако стоило ему допить стакан, как в руках у него оказывался повый, полный до краев, и армянин, угощая, дружески подмигивал ему и улыбался. Так, со стаканом в руках, Халил присидел на громадной прохладной бочке до самого вечера.

Кончив торговлю, шашлычники заперли дверь, вывалили кучу измятых денег и принялись считать выручку. Ловко раскладывая деньги, армянин, угощавший Халила випом, то и дело посматривал на него и весело скалил золотые зубы. Халил тоже улыбался, и мало-помалу ему стало казаться, что золотых зубов у шашлычника гораздо больше, чем на самом деле, и все они какого-то зловещего красноватого оттенка. Потом ему стали мерещиться не одни, а несколько улыбающихся ртов, набитых золотом, и Халилу это показалось настолько забавным, что он принялся хохотать. Шашлычники, тот и другой, представлялись ему веселыми ребятами, у которых ни на мигнуту не закрываются рты. С такими чудесными людьми хотелось говорить по-дружески, они поймут и помогут в любом деле, в любой беде. И Халил, еле подыскивая нужные слова, рассказал зачем он явился в шашлычную.

— Дорогой,—сказал, прикладывая руку к сердцу, торговец,— ты пришел слишком поздно. Почему не отдал, когда я просил? Я же просил тебя! А теперь взять не могу, не обижайся. Я договорился с другим человеком. В такую жару нельзя много брать, хранить негде. Извини, помочь не могу... Ты расстроился? Э, зачем так? На, лучше выпей! Пей, пей, дорогой. Кавказское вино, хорошее вино. Пей!— И он протянул расстроенному парню стакан.

Скоро перед глазами Халила вновь замаячили, заперевшись красноватым светом золотые зубы шашлычника. Что было дальше, он плохо помнил... Кажется, ему удалось все же упросить своих друзей принять оставшееся мясо за полцены.

Эх, ладно, помогу хорошему парню! — в конце концов согласился армянин, не переставая улыбаться. — Но только учти — никому ни слова, что продал мясо мне. И дома не говори. Понимаешь, дорогой, я не имею права покушать с рук. А вдруг потребсоюз узнает?..

Славив все, что оставалось от дневной торговли, Халил с легким сердцем вышел с притихшего базара. Поселок спал, лишь кое-где светились огни. Напевая что-то под нос, побрел качаясь к районному клубу. Там еще должны были быть люди. В голове шумело, и Халил впервые в жизни испытывал обманчивое счастье опьянения...

В отсутствие Халила, уехавшего на воскресный базар, вернулась от родителей Акбопе, и Карасай, начинавший беспокоиться долгим молчанием невестки, был очень доволен. Возвращение Акбопе принесло в одинокий дом желанное спокойствие и затишье.

День прошел тихо и счастливо, а к вечеру вдруг свалилось несчастье, снова перевернувшее все в доме вверх дном.

Перед самым закатом в степи потемнело и стал пакраивать дождь. Карасай, управившись с делами, отправился загнать с поля овец. Дием, в ясную погоду, овцы паслись недалеко от дома, и Карасай видел их со двора. Теперь же овец словно след простыл. Старик поиском глазами, но не нашел и Дики, который обычно не уходил от стада. Начиная злиться, он приложил руки ко рту и принялся зычно звать Дику. Куда он пропал? Карасай вернулся домой и, с тревогой посматривая на приближающиеся непастистые сумерки, оседлал коня. Времени до наступления темноты оставалось немногого, и Карасай, едва выехал со двора, погнал коня рысью. На душе у него было неспокойно, и он на чем свет стоит ругал неизвестно куда запропавшего Дику...

Отсутствие Дики не на шутку встревожило хозяина. Обычно парень никогда не отлучался из дома, все время хлопочая по хозяйству. Если ему и приходилось выбегать со двора, то только затем, чтобы завернуть к роще удалявшихся далеко в степь овец.

Карасай еще не знал, что Дику в этот день совсем отбылся от дома. Выйдя со двора, парень загляделся на ровные ряды домов, строящихся из белого степного камня. Об этом камне новоселы рассказывали чудеса: прочный,

легкий, куда легче самана, великолепный строительный материал. Нашла его и указала строителям Райхан, отлично знавшая все места в округе, и с ее легкой руки о камне скоро узнали повсюду. Дика сам слыхал, что за камнем стали ездить даже из самых отдаленных совхозов.

Нерешительно приблизившись, Дика увидел десяток недостроенных домов, стоявших без крыш, и невысоко поднятые стены какого-то длинного барабанного строения. Неподалеку навалена куча этого самого камня. Дика подошел и, нагнувшись, потрогал огромный, величиной с мельничный жернов валун. Глыба легко подалась под его рукой, и Дика, сильно заинтересованный, стал один за другим поднимать валявшиеся вокруг камни. Все они оказались настолько легкими, что Дика осмелелся подступить к необъятной глыбе, напоминавшей лежащего жеребенка-двулетку. Камень был велик, и Дика, присев, кое-как подсунул руки под ребристый край. «Не подниму!» — подумалось ему, но глыба нехотя оторвалась от земли, и удовлетворенный Дика, подержав ее на весу, с облегчением бросил обратно на землю.

— Эй, молодец,— послышался чей-то голос,— ты что это, камни задумал воровать?

Дика испуганно обернулся и увидел чернявого парня с большим носом и щегольскими усиками. Парень сидел на стене, сложенной из плотно подогнанных камней, и держал в руке мастерок. Глаза парня смотрели дружелюбно, однако Дика, застигнутый врасплох, растерялся.

— Может, у тебя силы излишek? Тогда подай-ка мне вон тот камешек. Толик,— сказал чернявый своему помощнику,— ты отдохни пока. Посмотрим, что за силенка у малого.

Дика беспрекословно повиновался. Он стал подтаскивать и один за другим подавать наверх крупные каменные кирпичи.

— Э, стой, стой, зачем так быстро. Устанешь. Или ты думаешь: раз-два и — удрасть. Нет, брат, теперь мы тебя до вечера не отпустим. Так что силенку побереги, зря не расходуй.

Парень оказался словоохотливым, но Дика плохо понимал его быструю веселую речь. Однако он видел, что рабочие настроены по-дружески, и ему было приятно хоть чем-то им помочь.

— Тебя как зовут-то? — спросил паконец носатый парень с усиками.

Дика.

Дика... Это что еще за имя? Дик — вот имя. Смотри, как красиво: Дик. Так вот, Дик, возьми вот это ведро и поди мне оттуда раствор. Вон-вон, перед тобой, в колоде. Да много не набирай, не поднимешь.

По Дика навалил полное ведро крутой тяжелой смеси песка с цементом и легко подал наверх.

— Ого,— удивился чернявый,— а силенка у тебя — для бог! Только подтяни да подвязки покрепче штаны. Что они у тебя слезают?

С этими веселыми ребятами Дика проработал до самого вечера, пока их не погнал со стройки незаметно собравшийся дождь. Но даже тогда Дика не отправился домой. Вместе со всеми побежал и спрятался в одном из крытых домов. В доме было тесно, шумно, по работе не прекращалась: все, кто собрались, принялись штукатурить стены. Дика вновь ворочал за двоих, испытывая какое-то незнакомое раньше наслаждение своей полезностью всем этим людям.

Старание незнакомого диковатого парня не осталось незамеченным.

— Это он в первый день,—заметил кто-то.— Посмотрим, что завтра будет.

— А накопил на вольном воздухе силенок! Экономить только не умеет.

— А чего ему? Не курит... Видишь, одышки даже нет.

Подошел бригадир, заинтересованно оглядел широкоплечего, сильно смущающегося парня.

— Ты оттуда, из того вон дома? А специальность какая-нибудь есть? Чем ты вообще занимаешься?

Дика, недоуменно озираясь, молчал, и за него ответили со стороны.

— Да чем ему здесь заниматься? Это же постоянный двор. Наверное, ухаживает за лошадьми, тем и кормится. А что другое еще придумаешь?.. Слушай, друг, жена у тебя есть?

Дика совсем смущился и мрачно опустил голову.

— Ну вот,— сказал чернявый парень с усиками, который заставил Дику подносить камни.— Какая жена? Тут сто верст скажи и ни одной девки не встретишь.

Бригадир спросил товарищем:

— Может, нам его к себе взять?

— А что? Если будет так работать, как сегодня, то многих за пояс ваткнет. В передовики выйдет.

— Ну, вот что, Дик,— решил бригадир,— значит, договорились. За сегодняшний день я выпишу тебе полсотни. А вообще, если приживешься, тысячи две-три в месяц будешь выколачивать. Это самое малое. Одеться только тебе не мешало бы. Уж больно одежонка у тебя... Ну, согласен?

Дика, переминаясь, не поднимал головы.

— Да что тут раздумывать? — подбодрил его кто-то. — Живет рядом, значит, на работу — рукой подать.

Осторожно, боясь поверить, Дика поднял глаза и испытующе обвел всех, кто стоял рядом. Но нет, никто и не думал над ним смеяться, ему предлагали работу наравне со всеми и обещали платить регулярно и сполна. Впервые в жизни ему предлагалась оплачиваемая работа. Неужели и в самом деле его руки кому-то нужны, а труд его чего-то стоит?

Возвращаясь в сумерках домой, Дика от радости не чуял под собой ног. Все, что сегодня было пережито, пропислось на языке, и Дика решил поделиться с тетушкой Жамиш. Опа поймет его и не обругает, только ей он может открыть, что у него в голове и на сердце. Что, думалось парню, если он и впрямь устроится в бригаду строителей и станет каждый месяц приносить заработанные деньги?! Сегодня он хорошо показал себя, все видели, как он старался и в один голос хвалили его. И вот результат — за каких-то полдня он заработал целых пятьдесят рублей! Когда он зарабатывал такие деньги? И кто хвалил его когда-нибудь в жизни? Ни разу он не слышал ни одного ласкового слова. А сегодня... Нет, он поговорит с Жамиш и отпросится у пей на весь завтрашний день. Его звали, его будут ждать в бригаде. Пусть Жамиш поговорит с дядюшкой Карасаем. За скотиной он станет ухаживать по-прежнему, пусть не беспокоится. Он успеет, он все успеет сделать...

Так рассуждал он, добираясь в кромешной тьме до дома. Ноги Дики разъезжались в грязи, дождь вымочил его до нитки, но па душе парня было светло, и он с легким сердцем вступил в знакомый двор.

Во дворе горела лампа, при зыбком пеярком свете Карасай свежевал барана. Хозяину сегодня долго пришлось гонять по степи, прежде чем он пашел заблудившихся овец. Как он и боялся, волки напали на стадо и произвели настоящий погром. Крутясь на коне, Карасай еле собрал перепуганных овец и пригнал к дому. Двух голов он во-

овине недосчитался, многие были изорваны волчьими клыками и теперь годились только на мясо.

Дика, едва появившись во дворе, увидел испуганных овец, разглядел изуродованные курдюки, висящие как лоны снега, перемешанные с кровью, и сразу догадался, что произошло в степи.

Боясь встретиться с хозяином, он хотел незаметно проплыть в дом, но Карасай увидел его, вскочил на ноги и отбросил испачканный в крови пож.

— А-а, явился в мать... в отца... — ярость распирала грудь Карасая. Он сорвал с рогатины тяжелую, туго витую камчу и грозно двинулся к парню.

— Зажрался! Да я тебя по свету пущу, да я тебе... На ног тебе, на, на!

От первого же удара лопнула мокрая выцветшая рубашонка Дики. Он закричал и закрылся руками, но тугая, наботливо смазанная жиром плеть плотно и хищно впивалась в его плечи, рвала стянутую па теле рубаху. Один из ударов пришелся по шее, конец камчи обвился и больно хлестнул по глазу. Дика, не переставая кричать, свалился на землю. Карасай уже не помнил себя от ярости. Отшвырнув плеть, он подскочил к упавшему и принялся бить его ногами. Закрывая голову, Дика кричал:

— Агатай! Агатай!

— На тебе! Вот! Вот! — приговаривал задыхающийся Карасай, пиная тяжелыми подкованными сапогами в бока корчившегося на земле Дику. Дворовые собаки, весь вечер умильно сидевшие недалеко от хозяина в ожидании покормки, поджали хвосты и трусливо забились кто куда, боясь показаться на глаза.

Услышав крики, из дома выскоцила Акбопе и бросилась к свекру. От сильного толчка Карасай отлетел в сторону и чуть не упал. Затмение гнева медленно спадало с его глаз. Воспользовавшись пежданной помощью, несчастный Дика вскочил с земли и, плача, закрывая руками обображенное лицо, кинулся прочь со двора.

Ничего не видя и не слыша, Дика бежал под дождем до тех пор, пока не попал в рощу. Здесь он приткнулся к старой береске и, обняв толстый покачивающийся ствол, сполз на землю. После небольшого перерыва ливень забушевал с прежней силой, но под береской было тихо, лишь изредка с промытой густой листвы срывались и падали холодные крупные капли. Прижалвшись лицом к дереву, Дика рыдал, не замечая ни ливня, ни грохота грозы, шумящей

пад степью. Разбитый плетью глаз горел как от ожога, по даже не от боли сотрясалось большое исполосованное тело Дики,— все обиды, все унижения припоминались ему сейчас разом, вся его горькая неудавшаяся жизнь, и у него не было сил удержать рыданий.

Настоящее имя Дики, которым нарекли его родители — Турсуп. Отец и мать страстно желали сына, но как на беду все новорожденные умирали один за другим. Когда родился последний ребенок, они позвали муллу и тот дал мальчишке обнадеживающее имя: Турсун\*. И новорожденный выжил, стал подрастать к великой радости своих родителей. Но вот беда — через два года смерть унесла и отца и мать, и едва поднявшийся на ноги парнишка остался круглым спротой. Кто-то из родственников взял ребенка к себе, и с этих пор начались мытарства пасчастного. Незная ухода и заботы, мальчишка тяжело заболел и до пяти лет не мог стоять на ногах. В школу Турсун попал лишь одиннадцати лет, памного отстав от сверстников, учился плохо и, чтобы не быть постоянной мишенью для пасмурек, бросил учебу, едва закончив четвертый класс. К тому же и родственники, на чьем попечении находился Турсун, не соглашались больше кормить великозрастного парня.

И пошел Турсун по домам, нанимаясь в работники, соглашаясь на любую работу, чтобы только добыть себе пропитание.

Когда началась война, парня вызвали в военкомат, по комиссии начисто забраковала его: еще с детства, после перепесенной болезни, у него сильно испортилось зрение. Турсун остался в ауле, всем лишний, никому не нужный, едва добывающий себе кусок хлеба.

С каждым годом жить становилось труднее, как-то в поисках работы он попал в районный центр. Здесь было больше возможностей устроиться, и Турсун стал ходить по домам, нанимаясь молоть зерно. В те трудные годы появилось множество самодельных ручных мельниц, здоровый, выносливый парень мог два-три дня, почти не разгибаясь, крутить тяжелый жернов, ни с кем не разговаривая, ничего не замечая, лишь мерно раскачиваясь и вполголоса напевая какие-то запомнившиеся песни. Платой за его работу были еда и почлег.

Выросший среди чужих людей, парень становилсяся тихим, замкнутым и позлобившим. Сколько бы ни ругали

---

\* Турсуп — означает «Да будет жить!»

так. Турсун никогда не говорил слова наперекор, а лишь умолял и опускал голову. Такая покорность правилась всем, у кого он работал, парня жалели и старались ему помочь.

Гораздо хуже складывались у него отношения с подростками. Мальчишки, дель-деньской гонявшие по улицам, не знали к Турсуну жалости и, пользуясь его незлобивостью, часто издевались над ним, как над дурачком. Однажды они остановили его на улице, плотно окружили и увлекли в сторону.

— Эй, Турсун, а ты чего это не женишься?

— Ха-ха-ха, да он еще ребенок, у него вон и усы еще не растут.

— Ну да, пока у него вырастут усы, у всех жепщиц нубы выпадут!

— Ребята, а он, случайно, не кыз-теке\*? Давайте стянем с него штаны и посмотрим.

— Давайте, давайте!..

— Ой, ребята, глядите какой он здоровенный!

Мальчишки вцепились в него со всех сторон. Турсун нерешительно отбивался.

— Вот черт, смотрите, какой он жирный. Даже штаны не держатся.

— А чего ему. Какие у него заботы? Лишь бы ручка у жернова была цела. Больше и беспокоиться не о чем. Живет, как дикарь.

— Это точно, точно. Дикий человек.

— Совсем дикий...

С тех пор с легкой руки мальчишек к Турсуну приселилось уличное прозвище — Дикий. О нем так и говорить стали: «А где этот дикий парень?» или «Давайте позовем этого дикого, пусть споет». В конце концов и сам Турсун привык и смирился с тем, что настоящее его имя забыли, и уже не обижался, когда все — и стар и млад называли его коротко и просто: Дика.

Тем временем кончилась война, домой стали возвращаться демобилизованные. Дика заметил, что его все реже приглашают па помочь, и тогда он сам отправился по домам, всюду, где только можно, предлагая свои не знавшие усталости руки. Благодаря тому, что у него была устоявшаяся репутация скромного, прилежного парня, ему передавали кое-какую работенку и значит он бывал пакормлен

\* Кыз-теке — двуполый (букв. девушка-козел).

и устроен на почь. На большее он никогда и не рассчитывал. В домах, где ему приходилось бывать, его хорошо знали и любили, а детишки, стоило ему появиться, с радостными воплями повисали у него на шее. Дика доставляло огромное удовольствие часами возиться со своими маленькими друзьями. Он покорно становился на четвереньки, изображая из себя выночного верблюда или верховую лошадь, забавлял детишек тем, что весьма искусно лаял по-собачьи.

Работящего, безответного парня уже давно заприметил Карасай. Как-то Дика работал у Косиманова, и вечером, когда зажгли в доме свет, женщины попросили его спеть. В разгар веселья работника позвали в другую комнату, где хозяин принимал приехавшего в гости Карасая.

В просторной чистой горнице сидело несколько человек. Гости ждали пока сварится бесбармак\* и откровенно скучали. Приход Дики внес заметное оживление.

— Что-то ты,— сказали парню,— частенько возле баб отираешься. Уж не задумал ли жениться?

— Пусть, пусть женится на здоровье. Кто за такого джигита не отдаст свою дочь? Золотые руки, да и поет так, что заслушаешься.

— Надо, надо его женить.

— А ты сам, Дика, никого не имеешь на примете?— спросил Косиманов, подмигивая гостям.— Или ты на замужних заришься? То-то я смотрю, не вылезаешь из домов Камыса и Шарипа. Смотри, не вздумай украсить кого-нибудь из нас рогами. За такие вещи знаешь, что бывает?

Слушая шутки развлекающихся гостей, Дика смущенно улыбался и не смел поднять сконфуженного лица.

— Нет, вы посмотрите, как он улыбается! Заметили? Ох, этот молодец что-то затаил в душе.

— Да бросьте нападать па парня. Дика ни на кого и не смотрит. Зачем ему наши старухи, если вокруг девок полно?

Карасай, присматриваясь к парню, молча лежал, подложив под локоть подушку. Он не спускал с Дики оценивающего взгляда. Наконец подал голос и он.

— А что — парень он хороший. Только глаза, я гляжу, у него невеселые. Надо найти ему сейчас жену, пусть заживет своим домом. Сколько можно мотаться по чужим

\* Бесбармак — мясо по-казахски, национальное блюдо.

ищорам? Так что вот — возьму-ка я его к себе. Пусть по-  
могает у меня. И братом мне будет и сыном... Надо же по-  
мощи человеку!

Гости обрадованно зашумели:

— О Кареке, на здоровье. Такой опекун нашелся пар-  
ню. О чем еще и мечтать Дике?

— Ну, Дика, радуйся, твое счастье!

Парень переминался с ноги на ногу, отказывался ве-  
рить своим ушам. Неужели копчились для него скитания  
из дома в дом, и он заживет как настоящий человек? Свой  
дом, своя крыша над головой. Как это все неожиданно!  
Неплохо. Волна горячей благодарности к Карасаю стеснила  
ему грудь. А Карасай, дотянувшись до кровати, взял боль-  
шой бумажный сверток и принялся неторопливо развора-  
чивать.

— Вот,— сказал он, бросая парню новые штаны из  
бумазей и красную сatinовую рубашку, — взял сегодня в  
лавке. А то оборвался — страшно смотреть. Носи па здо-  
ровье, светик.

У Дики перехватило дыхание. Впервые в жизни вдох-  
нул он соблазнительный запах обнов. И Карасай сейчас  
оказался ему человеком великодушным, с добрым сердцем.  
Как его благодарить за все? На глазах Дика выступили  
слезы. Он не знал что сказать, куда ступить, что делать  
с обновами.

— Надень-ка, надень! — затормошили его гости. — Ски-  
дай свою рвань.

Облачившись в синие штаны и красную рубаху, Дика  
словно преобразился. Он оглядывал себя, ощупывал, слов-  
но все еще не веря тому, что с ним происходит. Обновы  
были впору, только штаны оказались широковаты в поясе.  
Дика поднял свой старый тряпичный пояс и хотел подпоя-  
саться, но Косиманов, увидев, горячо запротестовал:

— Брось, брось. Если уж обновляться, так с головы  
до ног.

Он сходил в соседнюю комнату, принес старый, потре-  
скавшийся офицерский пояс и выгоревшую на солнце воен-  
ную фуражку.

— На, поси.

Фуражка оказалась тесноватой, но Дика, паялив ее  
на свои нестриженные вихри, расплылся в улыбке, — всю  
жизнь он завидовал тем, кто носил военную форму.

— Ну, теперь берегись, девки, — сказал кто-то из гos-  
тей. — Увидят — в обморок попадают.

— То ли еще будет,— обещал разошедшийся Карасай.— Тещерь и за сватовством дело не станет. А кто нам откажет? Слава богу, на калым как-нибудь паскребем.

Дика слушал, и ему казалось, что для него и впрямь наступает счастливая жизнь, никакого не похожая на прежнюю. Под этим впечатлением он находился все первые дни и в доме Карасая. Устраиваясь на новом месте, он ходил веселый, весь преобразившийся, совсем не замечая, что благодетельствовавший его старик сразу взвалил на него всю тяжелую домашнюю работу.

Постепенно Дика обжился, привык и уже не представлял себе никакой иной участи. Его заботой стала ежедневная работа по хозяйству, уход за многочисленной скотиной Карасая. Как говорит пословица, вошел огнем, а вышел холодной золой. И если кто-нибудь из наезжающих к хозяину гостей пробовал напомнить Карасаю о его давнем обещании женить парня, старик сердился и выходил из себя.

— Ну чего болтаете? Делать вам больше нечего. Сами бы подумали — какая дура пойдет за этого балбеса? Он ноги-то еле таскает, а уж жениться... Тоже мне, нашли мужика!

И Дика, привыкший к постоянным насмешкам, старался не подавать повода к разговорам, которые раздражали бы Карасая. Не до жиру, быть бы живу,— думал задавленный работой парень и с раннего утра до позднего вечера, лето и зиму, знал лишь одно — ублажать хозяина, оставаться незаметным, бессловесным, иметь право на кусок хлеба и место под крышей.

...А вот теперь он лишился и крыши над головой. Куда ему было деваться в такую черную ненастную ночь, когда ливень все пуще расходится над страшно гудящей рощей?

Дика перестал плакать и, подняв голову, прислушался. Густел вокруг пугающий мрак, а в глубине рощи что-то постоянно стучало и барабанило, будто он находился не в лесу, а посреди открытой степи. В шуме грозы ему казалось, что какие-то скалы сталкиваются, грохоча вверху, и вот-вот обрушатся на голову. Внезапно вся роща вдруг осветилась ярким, каким-то неживым мерцающим светом, который пронизал рощу насквозь. Испуганный притихший Дика увидел вдруг темную фигуру, бредущую под дождем по ночному лесу. Напряжение было так велико, что Дика едва не закричал от ужаса.

— Дика! — вдруг услышал он знакомый женский голос. — Дика, где ты?

Это была Акбопе. Она засыпала, что Дика не мог убежать далеко, накинула на голову чекмель, всевший в передней ее гвозде, и отправилась в рощу. Не подавая голоса, молодая женщина обшаривала кусты, разыскивая беглеца. Она закричала, испугавшись яркой вспышки молнии.

Появление Акбопе снова растрогало избитого парня. Только что он думал, что нет у него на свете никого, кто подумал бы о нем, позаботился, сказал ласковое слово. Молодая женщина накинула на промокшего Дику теплый чекмель и присела рядом, крепко обняв. Плечи парня, едва прикрытые изорванной в клочья рубахой, дрожали.

— Несчастные мы с тобой, несчастные, — говорила Акбопе, тоже заливаясь слезами. — Что с нами будет? Тебе хоть легче, ты ничем не связана. А я опутана по рукам и ногам. Уходи лучше отсюда куда глаза глядят. Пока старик жив, добра в этом доме не жди...

Дика пригрелася и затих, доверчиво уткнувшись Акбопе в грудь. А молодая женщина, закрыв глаза и всякий раз вздрагивая, когда раздавался грохот грозы, говорила и говорила, впервые за много лет изливая все, что накопилось у нее на сердце...

Дождь не переставал, и Халил едва добрался до дома. Тяжелый мотоцикл бросало на кочках, машина совсем не слушалась руля, то и дело проваливаясь в колдобины. Завидев огоньки родного дома, Халил перевел дух. Остановившись у ворот, он повернулся и выпустил ключ, спрыгнул с сиденья. Грязь, налипшая на колеса, комьями отваливалась на землю, когда Халил, сильно упираясь ногами, на руках вкатывал мотоцикл во двор.

В кухне, едва он переступил порог, к нему бросилась мать. Старая Жамиш возилась у топившейся печки, мешая щипцами раскаленные угли. Когда она вскочила, щипцы со звоном полетели на пол.

— Жеребеночек мой, — запричитала мать, — паконец-то вернулся! Ведь что делается на дворе... Я уж извелась вся. Раздевайся скорей, на тебе же нитки сухой нету. Я тебе сейчас принесу переодеться... У нас радость, сынок, — Акбопе вернулась, — прибавила она, понизив голос.

— Приехала! — невольно вырвалось у Халила, по он тотчас взял себя в руки и деловито сказал: — Апа, я там тебе цейлонского чаю привез.

— Сейлон? — удивилась Жамиш. — Какой еще сейлон?  
Разве и такой бывает чай?

— В районе все хватали этот чай. Говорят, он еще лучше индийского.

— О светик мой, не забыл о матери!

— Ребятишки где? — спрашивал Халил. — Я им яблок купил. Все здесь, в мешке. В район столько яблок навезли, люди по целому ящику берут.

— Теперь, если все будет хорошо, к нам чего только не навезут, — заметила старая Жамиш, развязывая мокрый мешок.

— Апа, а где отец?

Мать, уже запустившая руку в мешок, вздрогнула и прикусила губу. Говорить, нет? Потом подозвала сына поближе и шепотом, еле слышно, сказала, указывая глазами на дверь в соседнюю комнату:

— Лежит. Ох, сынок, что тут было!.. Все вверх дном перевернулся.

— А в чем дело? Что случилось?

— Не спрашивай. Как посмотришь, сколько горя из-за этой скотины... Овцы куда-то в дождь ушли, ну, а волки и напали. Двух совсем не нашли, а многих так порвали, что смотреть тошно. Вон, в сарае стоят. Хвосты как лохмотья висят... Дике, бедняге, сегодня так досталось, что из дома убежал.

Халил подскочил:

— Как убежал?

— Ну не убежал... куда ему, бедняге, бежать? Где-нибудь крутится возле дома.

— Так его найти надо, позвать! Дождь-то посмотри какой...

— Сиди, сиди, Акбоне уже привела его. Ей, бедняжке, сегодня тоже досталось от старика... Боже мой, что за жизнь пошла! Этот старик нас всех до гроба доведет.

Мать вспомнила погибшего Жалила, и слезы навернулись ей на глаза. Опа отвернулась, чтоб не видел Халил, и спома захлопотала у печки.

Сам Карасай, в сапогах, одетый, лежал в соседней комнате на кровати. Он уткнулся лицом в степку и зябко пятивал па себя тяжелый овчинный тулуп. Шумела за окном непогода. Расслышав, что вернулся с базара Халил, старик нехотя поднялся, спустился с кровати потя и долго, мрачно смотрел па тупые носки сапог. Он не решался окликнуть сына.

В конце концов стариk достал из кармана рожок с табаком, постукал о подошву сапога и зычно крикнул в бухню:

— Ёй, где моя плевательница?

Мелкий, тщательно перетертый табак неслышно высыпался из рожка на ладонь. Стариk захватил огромную щепоть и ловким движением заправил за губу. Примял языком, сплюнул и только после этого позвал сына:

— Ну, как базар? Как поторговал?

«Поторговал...» Халилу вспомнились ядовитые старики на базаре, их насмешки, и он нахмурился. «Провалилась бы эта торговля!» — подумал он, но, взглянув на грузного, мрачного отца, сдержался и не произнес ни слова.

Подождав ответа, Карасай тяжело съехал с высокой кровати и направился к большому сундуку, стоявшему в простенке под окном. Мелодично звякнул замок, крышка сундука поднялась, показав множество металлических зубов. Халилу, наблюдавшему за отцом, показалось, что это зубастый зверь лениво раскрыл свою страшную пасть. Засунув руку, Карасай достал еще один сундук, поменьше, окованный желтой медью. Сундучок блестел, как игрушечный, и всякий раз, когда отец вытаскивал его, Халилу казалось, что из него должны появиться какие-то необычные сказочные вещи. Так было с детства, и сундук постоянно манил Халила, скрывая в себе что-то загадочное. Однако теперь появление отцовской кубышки всякий раз напоминало о гибели старшего брата. Страшная нелепая смерть Жалила почему-то связывалась вот с этим игрушечным, но потерявшим всякую загадочность сундучком.

Пока отец возился с замком, Халил вынул из кармана горсть смятых десятирублевок и бросил на стол. Карасай крякнул и, поплевав на пальцы, стал терпеливо и завороженно разглаживать и складывать. Когда деньги были разобраны и сложены аккуратной стопкой, стариk не спеша пересчитал, что-то быстро прикинув в уме и вскинул на сына заблестевшие глаза.

— Где остальные?

Халил молчал, и огромное родимое пятно на отцовском лице стало наливаться кровью.

— Я спрашиваю, где остальные?

— Все здесь, — тихо ответил Халил.

— Что-о? Да ты в своем уме!

— Матери чаю купил. Ребятишкам яблок.

— Яблок... Я тебя разве за этим посыпал?

— Сейчас тепло, отец. Чтоб не испортилось, пришлось отдать по дешевке.

— Ты что тут болтаешь? — грозно поднялся Карасай. — Ты не мясо по дешевке отдал, ты меня дешево продал! Слышишь? Этого только мне не хватало! Чтоб еще ты меня объедал! Вон отсюда! Катись со двора! Сгинь с моих глаз!

Старая Жамиш, с тревогой слушавшая весь разговор, поспешила на помощь сыну.

— Да ладно тебе. Он же еще ребенок. Откуда ему знать, как торговать?

— Не вмешивайся! — взорвался Карасай, пнув ногой плевательницу. Консервная банка, гремя, пролетела через комнату и ударилась в стенку. — Тебя кто сюда просил? Ты чего суешься куда не надо? Ребенок... Нашла ребеночка! Борода уж растет, а ума так и не нажил... Это все ты, твое воспитание. Носишься с пим, как гусыни. У людей вон посмотришь — не дети, а загляденье. А тут... Закрались, жиром заплыли! Масло уж изо рта течет. Посмотрел бы я на вас, что бы вы стали делать, если бы не я...

— Ладно, ладно,— не утерпела Жамиш,— только ты и кормишь всех нас.

Такая дерзость обычно безответной жены окончательно вывела Карасая из себя. Он вскочил и схватил висевшую у двери плеть.

— Ты чего это... Ты чего это разболталась? А?

Сжимая в руке рукоять камчи, Карасай медленно двинулся к жене. Жамиш заплакала и спряталась за спину сына. Халил оказался грудь в грудь с рассерженным отцом. Они стояли друг против друга, Халил чувствовал за спиной испуганную мать. Он смело глянул в гневные глаза подступившего отца.

Вздымаая грудь, Карасай презрительно смотрел на взбунтовавшегося сына, ломая его вызывающий взгляд. Топенекий, с блестящими глазами и загоревшимися щеками, Халил сейчас поразительно походил на мать, на когда-то бойкую, неутомимую Жамиш. Щелкнув плетью по сапогу, Карасай отступил, обрушив на голову сына поток бранных, оскорбительных слов.

— С жиру перебесились... Правду говорят, что от парня, который пошел в мать, добра не жди. Кто у нее путь в родне? Да никого. И ты таким же будешь, такое же... Это я тебе как отец говорю. И сгинь с моих глаз! Чтоб не видеть тебя и не слышать.

Халил с матерью выскользнули за дверь, оставив Карасая одного. Гнев еще долго бушевал в груди старика, и, не зная, на ком сорвать злость, он походил, потопал по горнице, потом пальцем выгреб из-за губы слипшийся комок табаку и в сердцах швырнул в притворенную дверь на кухню. Но это не принесло желанного облегчения. Тогда Карасай плюхнулся на измятую постель и задумался, скав руками виски.

Затихло все в доме и, казалось, вымерло. В тяжелой упаковывающей тишине Карасаю было лишь слышно, как бьются в окна крупные капли дождя. Стекло большой виничей лампы давно закоптилось, и оттого в комнате стало еще сумрачней и тоскливой. Старик вздыхал, ворочался и скрипел кроватью.

В кухне Жамиш вынула из кипящего казана сварившееся мясо, положила на большое деревянное блюдо. Хорошо изучив за годы совместной жизни характер мужа, она привыкла к его неукротимым вспышкам и теперь тихо, чтоб не слышно было, выговаривала надувшемуся сыну:

— Сынок, это же родной отец. Разве можно на него обижаться? Ведь он же только о вас заботится,— лишь бы вывести вас в люди. Из-за этого-то он и скандалит со всеми. Ну, а сегодня... Ведь его тоже понять надо. После смерти Жалила на наш дом беда за бедой. Словно нарочно. Еще хорошо, что он нашел этих проклятых овец. А не нашел бы — всех бы волки задрали. Вот он и сердится. А что тебя он ругает, так ты не обращай внимания. Он же добра тебе хочет, чтобы ты скорее на ноги становился. Кто же не любит родное-то дите?

Поворачивая над огнем сохнущие брюки, Халил почти не слушал, что говорила ему мать. Перед глазами его так и стоял разбушевавшийся отец с плетью в руке. Яркий огонь пылающих кизяков обвевал сумрачное лицо задумавшегося Халила.

Наступил час ужина, все молча уселись за стол. Карасай достал острый нож, быстро и ловко порезал на блюде дымящееся мясо. Не глядя на Жамиш, буркнул:

— А остальные где? Сквозь землю провалились?

Жамиш, остужая в деревянной чашке горячую сурпу, охотно откликнулась:

— Да где все? У Акбопе голова болит, спать легла. Дети уже спят. Я им недавно мясо носила.

— А Дика? — спросил Халил.

Жамиш метнула быстрый взгляд на мужа и ничего не ответила. Карасай медленно протянул руку и взял жирного мяса. Ужин продолжался в напряженном молчании. Жамиш и Халил ели неохотно, Карасай же, хоть и сидел мрачнее тучи, быстро одолел половину блюда.

— Ну как мотоцикл? — спросил он паконец у сына.— Хорош на ходу?

Халил нерешительно подняв глаза и увидел, что лицо отца смягчилось. Ничего не отвечая, он молча кивнул головой. Жамиш, радуясь тому, что скандал забывается, поддержала разговор:

— Бегает так, что глаза не успевают. Теперь у меня одна забота — не сбросил бы он тебя, как поровистый же-ребец. Будь осторожен, Халил-жай, кто его знает, что может случиться. Свалившись, беды не оберешься. В прошлом году, рассказывают, один парень упал с мотоцикла, пасмерть уился. Не дай бог такой смерти!

Слушая, как охотно разливается старуха, Карасай в душе был благодарен ей за поддержку.

— Мать дело говорит,— сказал он.— Хоть наши с коляской и поустойчивей остальных, но перевернуться все равно может. Говорят, если люлька попадет на обочину, проще простого опрокинет. Надо поосторожней ездить... До осени катайся, а осенью учиться воедешь. Ну, а если не воедешь и будешь жив-здоров,— машину куплю.

Карасай ждал, что его слова обрадуют сына, однако обещание отца лишь заставило Халила насторожиться. К чему бы такая щедрость? Халил уже успел привыкнуть, что так, за здорово живешь, отец никогда не раскошелится.

— Ну, Жамиш,— распоряжался повеселевший отец,— убирай со стола да стели постель. Халилу надо отоспаться.

А завтра чуть свет подними нас. Пока баранов заколем, времени много уйдет.

Халил поднял голову, но спрашивать, куда собирается ехать отец, не стал. Карасай продолжал:

— Хоть сейчас и полно машин, да связываться с ними не стоит. Шоферы совсем совесть потеряли. А в коляску мотоцикла мы туш пять свободно загрузим. Если выедем на рассвете, то в Омск к самому базару успеем.

— Помогай-то вам бог! — ввернула суеверная Жамиш.

— Вот-вот,— продолжал Карасай.— А в этот Кзыл-Жалau и ездить не стоило. Зря только мясо пропало, лучше бы собакам выбросили. Поедем в Омск, сынок. Заодно научишься, как надо торговать. А научишься — сам будешь

видить. Сколько можно мне, старику, по базарам бегать? Кстати, Жамиш, ты постирала передники и полотенца? Не забудь, смотри. Надо все сегодня приготовить.

— Коке,— твердо сказал Халил,— я на базар не поеду.

— Что?! — негромко удивился Карасай. Он смотрел на сына, и Халил видел, как начинает темнеть родимое пятно на лице отца — верный признак приближающегося гнева. Однако Карасай нашел силы подавить в себе ярость, и когда Халил, поднявшись из-за стола, направился в комнату, он спокойно остановил его.

— Постой-ка: И поди сюда, сядь. Садись, садись. И послушай. Я как отец тебе скажу.

Наугадная Жамиш сделала знак, чтобы сын не артачился и сел.

Халил опустился рядом с отцом.

— Значит, отказываешься ехать? Так, так... Может, стесняешься? А ты думаешь, я сразу к базару привык? Да у нас в породе никого нет, кто бы торговлей занимался! Мать тебе скажет. А вот пришлось же.. Время сейчас, сын, такое, что у кого деньги, у того и почет. Еще старики говорили: «Если время — лиса, то будь гончей и хватай ее». А старики знали, что говорили... Так вот, если хочешь быть с дельгами,— базаром не брезгуй. И я бы не трогал тебя, если бы жив был Жалил. Жил бы ты тогда, как тебе хочется. Но ты у меня один, а годы мои уходят. Тебе все останется после меня. Понимаешь? И я не о себе думаю, не о Жамиш. Мы свое прожили. Я о тебе заботюсь,— пойми ты это! Ты уж взрослый человек, пора самому хозяином становиться.

— Но разве так уж обязательно с базара жить? — пробовал сопротивляться Халил.— Столько вокруг народу, кто не торгует. И ведь живут же ничуть не хуже других. Все работают, заняты в артели или на стройке,— почему я должен копаться в своем хозяйстве? Вон ребята, которые со мной кончили школу, в совхозе устроились. Или пачелину сколько приехали... Мне же просто стыдно!

Карасай, терпеливо выслушивая сына, спокойно усмехался. Едва Халил кончил, старик рассмеялся коротким недобрый смехом.

— Ты сынок, уже привык и не замечаешь, как живешь.— С этими словами он широко повел рукой, указывая на стены горницы, сплошь завешанные коврами.— Ты у кого-нибудь в доме видел такое? А?.. Вот то-то. А ребят

я зпаю. Ты думаешь, они от хорошей жизни па работу пошли? Они тоже отродясь не ели досыта, им одеться не во что, у них же жилы рвутся от натуги,— пойми ты это! Иначе им и не прокормиться, не прожить. И тебе не па них падо равняться — ты сыт, одет, у тебя всего полно. Ты смотри па равных себе. А эти, что едут... Их голод гонит, нужда...

Теряя уверенность, Карасай сердито взглянул па жену, как бы прося у неё поддержки. Жамиш поняла его и с готовностью подхватила:

— Да, сынок, что с лопатой в руке, что с весами па базаре,— одни заботы у человека.

— Апа,— мягко и проникновенно произнес Халил,— я же не ребенок. Вот ты говоришь — у всех одна забота: лишь бы прожить. Но если бы все думали только об од-ном — поесть, одеться и больше ничего, то для чего же тогда быть человеком? Что это за жизнь?

— А по-твоему, в чем жизнь? — спросил, не повышая голоса, Карасай.

Халил даже не взглянул на него. Он продолжал говорить, по-прежнему глядя на мать, будто кроме них никого за столом не было.

— Позавчера у меня в стёпи лопнул баллон, и я долго сидел один. На мое счастье, ехал шофер Оспан. Мы с ним быстро залатали баллон и надели колесо. Он увидел в люльке мясо и засмеялся: «Жалил, говорит, умер, так теперь Карекен тебя приручает. Смотри, говорит, парень, пропадешь ни за что». А мне даже сказать ему нечего!

— Сказать нечего! — воскликнул Карасай загораясь.— Сказал бы ему, что не его это собачье дело. Тоже мне, ведро мазутное! От зависти лопается.

— И еще,— продолжал Халил, все так же не замечая отца,— он мне кое о чём рассказал. «Мы, говорит, в твои годы за колхоз боролись, горели в огне, замерзали па холоде. Да и в войну тоже... А ты вот уж какой большой, и целый год без дела болтаешься. Никакой, говорит, от тебя никому пользы...» Разве он не прав?

Карасай, слушая, терпеливо перевел дух. Но лицо его багровело, па щеках обозначились желваки.

— ...Оспан, пока мы отдыхали, разглядел суслика. «Вон, говорит, видишь? Тоже ведь не зпает ни минуты покоя. Таскает все к себе и таскает. А натаскает, па виму завалится и будет себе грызть да поправляться. А что толку? Какая польза от него? Да никакой. Даже сусликам-

согласим никакой пользы. И вот у вас, говорит, в доме то же самое. Подумай, говорит, об этом...»

Хватит! — рявкнул Карасай, потеряв последнее терпение. — Нашел кого слушать! Или правду говорят: кривой конь всегда найдет хромого. Хорошенько время настало, если уж этот дурак Оспан начинает учить жить... Все, хватит болтать, ложись давай спать. Завтра ехать надо.

— Нет, коке, я никуда не поеду!

— Не поедешь?! Тогда пошел отсюда! Чтоб ноги твоей здесь не было, чтоб духу твоего...

Большая десятилинейная лампа с увернутым фитилем скудно освещала горницу. Приподнявшись на постели, Халил осторожно спустил ноги и потянулся к лампе, чтобы потушить, но вздрогнул от тихого голоса Акбопе:

— Не надо, пусть горит.

Он с удивлением обернулся к ней и увидел, что она не спит. Молодая женщина лежала с запрокинутыми руками и, напряженно о чем-то думая, неотрывно смотрела в потолок. На потолке обвалившийся кусок штукатурки обнажил почерневший брус матицы.

Халил неловко опустился обратно на кровать. Акбопе казалась чем-то расстроенной, и он не мог понять: может быть, она обижается, что он, вернувшись с базара, не бросился сразу же к ней, а может, она слышала о егоссоре с отцом и вообще удручена всем, что произошло сегодня в доме? Ему жалко Акбопе, но он не может найти подходящих слов, чтобы как-то утешить ее и ободрить, и вообще в сознании его до сих пор никак не укладывается, что она теперь жена, свой, близкий и родной человек.

— Халил, — неожиданно позвала она, и голос ее заставил тревожно забиться сердце. — Халил, ты не спиши?

— Нет... Не могу...

— И я.

Опять молчание, долгое, напряженное. Во всем доме давно уже тихо.

— Халил, слыхал, что сегодня произошло?

— Да. И мне досталось... Отец какой-то странный стал. Зададил одно и то же: базар, базар.

— У моего то же самое. Будто их по одной мерке шили...

Лампа зачадила, и в горнице запахло керосиновой гарью. Акбопе, приподнявшись, протянула руку и прибавила фитиль. Огонь вспыхнул ярче.

— Ругает он тебя?.. А за что?

— Да все одно и то же. Не умеешь, говорит, торговать, ни к чему не пригодный. А у меня душа не лежит к базару! Что я могу с собой поделать?.. Завтра, говорит, поедем в Омск.

— Ты поедешь?

— Ни за что! Поэтому-то он на меня и... Не поедешь, говорит, уходи из дома!

— Уходи... А куда уйдешь?

Халил ничего не ответил. На языке у него вертелось: «Мало ли куда, земля большая», — но, подумав об Акбопе, он промолчал. Молодая женщина, казалось, угадала его мысли.

— Поступай как знаешь, Халил. От чужого ума еще никто богатства не пакопил. А чем пропадать тебе, как Жалилу, лучше уж...

Халил плохо понимал, что говорит ему Акбопе, — он не сводил с нее глаз. У него никак не укладывалось в голове, что теперь она жена ему, и он не знал, как себя вести. А молодая женщина, продолжая говорить, поднялась в постели и, дотянувшись до лампы, потушила свет. Халил успел заметить полные белые щеки, мелькнувшие под почной рубашкой. Укладываясь под одеялом, Акбопе говорила в темноте:

— Может, ты меня боишься, что свяжу тебя по рукам и ногам? Поступай как хочешь. Ты свободный человек. Ну, а в остальном...

Рано утром, едва начало светать, Халил поднялся и, осторожно одевшись, вышел со двора. Он не стал дожидаться завтрака.

В совхозном поселке все уже были на ногах. В кабинете директора Халил застал множество народа. Федор Трофимович окруженный громко спорящими людьми, едва взглянул на вошедшего.

— А, заготовитель, — узпал он Халила. — У нас тут небольшое совещание. Зайди к заведующей столовой. О мясе с ней договаривайся.

И спор, утихший на мгновение, вновь закипел вокруг директорского стола. Как понял Халил, собравшиеся шумели о нехватке стройматериалов, о том, что давно пора бросить весь транспорт на вывоз камня из нового карьера

и Тугур-Джап. Присутствия Халила никто из собравшихся не замечал.

Подождав в сторонке и видя, что спору не будет конца, Халил вновь пробился к директору. Федор Трофимович с изображением поднял от бумаг голову.

— Дорогой, я же тебе ясно сказал: иди в столовую!

— Да не нужна мне ваша столовая! — выпалил Халил. Директор удивился:

— А что же тебе нужно? Мясокомбината у нас пока нет.

Но взглянув на лицо Халила, Федор Трофимович мгновенно смягчился.

— Может, тебе что другое нужно? Так говори, пестесняйся.

— Я работы пришел просить.

— Ра-боты?.. — удивился директор.

В кабинете установилась тишина. Моргун переглянулся с немолодой усталой женщиной, сидевшей у края стола.

— Ты ведь, кажется, сын Карасая? — спросила Райхан, внимательно разглядывая юношу. И тут же отметила про себя: «Вылитая Жамиш!» — Да, — продолжала она, — нам нужны люди. А какую бы ты работу хотел?

— Не знаю... — растерянно проговорил Халил. — Шофером бы хорошо.

— Права есть? — деловито спросила Райхан.

— Нет. Но в прошлом году я ходил в кружок водителей!

— Жаль... А шоферы нам необходимы. Получаем двадцать новых машин. Возможно, даже авторота у нас откроется. — Она обратилась к директору: — Федор Трофимович, если мы срочно не подготовим шоферов, придется туговато. Может, поставим парня к кому-нибудь из опытных на стажировку?

Получив согласие Моргуна, женщина придвинула к себе чистый лист бумаги и стала быстро писать.

— Приказ директор издаст потом... Вот, возьми эту записку и найди завгара Морозова. Пока поработаешь стажером. Будешь получать половину зарплаты. Ну, согласен?

— Конечно! — Халил и не ожидал, что вопрос о работе решится так скоро.

С запиской в руках он побежал разыскивать заведующего гаражом.

Морозов оказался человеком пизенького роста, лысым, в очках. Он долго читал записку, затем глянул поверх очков на Халила.

— Вот там, за воротами, стоят машины. Видел? Найди там Дерягина. Кажется, он еще не ушел в рейс...

В гараже, как всегда перед началом долгого рабочего дня, стояла суета. Шоферы доливают радиаторы, запускают моторы. На расспросы Халила, где ему найти шофера по фамилии Дерягин, кто-то, не глядя, ткнул пальцем через плечо:

— Вон, тринадцатая...

Халил уже успел узнать, что в одном гараже номера всех машин начинаются одинаково, и водители называют лишь последние две цифры. Он медленно пошел вдоль ряда машин. Наконец на борту большого ЗИСа разглядел: 10—13.

Самого шо夫ера ему не удалось увидеть,— из-под автомобиля торчали одни лишь ноги. Халил остановился и стал ждать. Судя по тому, как напряженно двигались ноги распластанного на спине шофера, ему приходилось трудно. Из-под машины доносился скрип ключа. Халил присел на корточки и заглянул. Он увидел богатыря в майке, волосатая грудь которого вздымалась как холм, поросший бурьяном. В огромных рукиах шофера, орудовавших ключом, угадывалась чудовищная сила.

Халил собрался было окликнуть своего нового шефа, по что-то знакомое показалось ему во всем богатырском облике водителя, а когда удалось разглядеть его лицо, язык как-будто присох к гортани. Это был тот самый парень, с которым они не поладили на танцах, а затем столкнулись у трактора в ночном поле. В ушах Халила до сих пор стояла мрачная угроза раздосадованного богатыря: «Шу, сопляк, еще попадешься!» Радость, с которой Халил выскочил из директорского кабинета, разом померкла.

Он повернулся, чтобы незаметно, пока не увидел его парень, уйти, и ушел бы, если бы не вспомнились слова Тамары: «Ты его не бойся, он совсем не такой, каким кажется». И Халил решился.

— Ты не Дерягин будешь? — позвал он, трогая богатыря за ногу.

— Допустим,— прогудело из-под машины.

— Тебя Морозов вызывает.

— Что он, соскучился? Пусть сам подойдет. Чего курьеров посыпает?

•Не хочешь, не надо», — подумал Халил и повернулся уходить. — «Попрошу Морозова прикрепить меня к кому-нибудь другому».

— Эй, постой!

Дерягин вылез из-под машины и приближался, вытирая перепачканные руки ветошью. Он подошел, взглянул в лицо Халила — и заморгал, заморгал глазами.

— Слушай-ка, парень, а ведь я тебя где-то видел!.. Вот память-то...

— Может быть, — уклончиво согласился Халил. Они отправились к завгару.

Получив распоряжение заведующего, Дерягин оскорбился.

— Этого мне не хватало! Да я что, один не справлюсь? До сих пор обходился и без помощников и без надзирателей.

— Не дури, Вася. Прикрепляю его к тебе, как к опытному шоферу. Месяц поучишь, а там он и сам поведет.

Изеневский Морозов миролюбиво поглядывал на богатыря поверх приспущеных очков. И все же Дерягин, не решаясь больше возражать, заносчиво вздернул подбородок.

— Пошли! — буркнул он Халилу, мгновенно окипув его неприязненным взглядом.

Вернувшись к машине, Дерягин порылся в ящичке, достал путевку и, уходя к диспетчеру, приказал:

— Под сиденьем шприц. Сходи к заправщику, наберешь масла. Всю машину смажь.

И, не взглянув больше на помощника, ушел, помахивая путевкой.

Набрав в шприц масла, Халил в растерянности топтался возле машины. С мотоциклом было проще: там нужно прошприцевать в двух-трех местах — и делу конец. А с чего здесь начинать? Подыскивая, куда бы можно приткнуть носик шприца, он стал обшаривать машину, заглядывая в мотор и под колеса.

Вернувшись, Дерягин застал своего стажера под машиной. К тому времени Халила стало не узпать. Воротник белоснежной рубашки череп от грязи, пиджак в пыли и солидоле, а лицо вымазано так, словно его специально поливали из масленки. Дерягин про себя одобрительно отметил эти перемены, но вида не подал. Достав грязное измятое ведро, он бросил его Халилу, коротко приказав:

— Радиатор залей.

Халил бегом понесся к колодцу. Судя по тому, что Дерягин не делает ему никаких замечаний, все пока идет хорошо. Он зачерпнул ведро и быстро вернулся назад. Холодная вода с ласковым журчанием полилась в глубокую трубу радиатора. Халил все круче наклонял ведро. Вдруг вода хлынула через край.

Дерягин, заметив, выругался и схватил помощника за руку.

— Ты когда-нибудь водку пил?

— Нет... Хотя да, пил,— не сразу нашелся Халил.

— А если пил, так какого черта! Когда пьешь, ты что делаешь? Глотаешь или льешь без удержу?

Халил с ополовиненным ведром в руках, мокрый и испачканный, не знал что и сказать.

— В трубу все равно что в глотку,— пояснил Дерягин.— Будешь лить — поперхнешься. Помаленечку заливай... Понял?

И в самом деле,— спохватив измятое ведро, Халил увидел, что тоненькая струйка с журчанием устремилась в темную утробу радиатора. Тихо улыбаясь, Халил вспомнил первый урок. Наконец в ведре не осталось капли, и Халил крепко завинтил пробку.

Отправляясь в поездку, Дерягин не счел нужным сказать помощнику, куда и зачем они едут. Он кивнул, чтобы тот занял свое место, залез в кабину сам и громко захлопнул дверцу.

Халил вспомнил, что уходя сегодня из дома, он так и не позавтракал, по сказать об этом суровому шефу не решился. Удивительным и необычным выдался сегодняшний день. Разве мог он подумать, что так все получится? И он поехал в первый свой рейс, не только не предупредив никого из домашних, но и сам еще плохо веря в столь быстрые и неожиданные перемены в судьбе...

Едва занимался день, далеко в степи среди унылых голых холмов Тугур-Джап начали греметь частые взрывы. Фонтаны земли, взметываясь в небо, лениво оседали обратно. Глыбы белого рваного камня усеяли склоны холмов, изъезженные вдоль и поперек беспрерывно снующими машинами.

Натужно воя, тяжело груженная машина Дерягина выбралась из глубокого карьера. В просторной кабине кроме Халила пристроился на обратную дорогу могучий

рослый старик, приезжавший сегодня раскапывать одиночную забытую могилу. Он собрал в грубый крепкий мешок откопанные кости и бережно положил свою необычную ношу в кузов поверх нагруженного камня.

Халил, видевший, что за странный груз везет старик, оторвал от любопытства. К счастью, старик оказался человеком разговорчивым и первый приступил к расспросам.

— Из каких мест, сынок? — приветливо задал он традиционный в степи вопрос.

— Я сын Карасая, ата.

— Карасая? — старик вдруг посупровел и падолго умолк, сощурившись на бегущую под колеса дорогу. — Значит, сын Карабета? — уточнил он, не глядя на Халила. — Младший, что ли, который после Жалила?

Халил кивнул.

— Как матушка твоя Жамиш — здорова?.. А ты что тут делаешь? Работаешь или приехал посмотреть?

— Работаю. Камень вот вывозим.

— Ага, смотри ты...

Халил посмотрел в окошечко на месте ли в кузове мешок и побрался смелости.

— Ата, а что это вы за кости везете? И почему тот человек один тут похоронен?

Старый Кургерей скорбно покачал головой.

— Всякий человек, сынок, остается там, где придется... Хороший был парень, мой родич. Я уж давно собирался перевезти его кости, да все боялся потревожить могилу. Грех все-таки, нельзя. Ну а уж теперь... Мне ведь тоже недолго осталось, вот и будем мы с ним лежать вместе. — Старик помолчал и добавил: — А я, как услышал, что рвут камень, испугался за могилку... Но хорошо все получилось. Удачно приехал...

Зaintересованный Халил не спускал со старика глаз. А Кургерей, покачиваясь на пружинистом сиденье, задумчиво смотрел на бегущие павстречу машины, безучастно глядя, как возникают они далеко впереди, сближаются и проносятся мимо. Смотрел на всю эту непривычную деловую суету в преображенной степи, видел живую заинтересованность своего молодого соседа и в памяти его невольно вставали поросшие быльем картины давно прошумевшей жизни, картины тревожной поры, которой нет и не будет забвения...

### ТРЕТЬЯ ПЕСНЬ СТАРОГО КУРГЕРЕЯ

— ...Так вот, от всего нашего поля остался лишь маленький клочок, и это была беда, несчастье всего аула. На что было теперь надеяться? На коров? Так они, как я уже рассказывал, запрягались и от этого бросили доиться. Ни хлеба, ни молока. Слу-Мурт стал проклятым человеком, и никто в ауле не хотел больше верить ни одному его слову. Все отвернулись от нас.

Мы понимали, что хлеб подожгли чьи-то руки из аула Малжана. Но... не пойманный — не вор, и тут ничего не поделаешь. Нам оставалось одно — молчать, терпеть и ждать.

Наступила зима, и Слу-Мурт отправился к Малжану просить работы. Он пришел к нему как человек, не имеющий ни капли зла, и может быть, поэтому удивленный Малжан не отказал ему, не прогнал его с насмешками, а паянял табунщиком. И Слу-Мурт так впряжен в работу, так убивался за байское добро, что вошел в полное доверие к самому Малжану, вошел настолько, что на него не падало и капли подозрения... Я к чему это говорю? С некоторых пор у бая вдруг стали пропадать из косяков по две-три самых лучших лошади. Воров искали, караулили, но не находили. А получалось все очень просто. Слу-Мурт пригонял лошадей ко мне, я седлал своего гнедого и отгонял их в Шарбак-Куль или в Малтай. Мы тогда немало выменяли и муки, и зерна, и других припасов.

Так я вновь припаялся за старое ремесло.

Но задуманная нами месть Малжану продолжаться долго не могла. После нескольких пропаж бай все же заподозрил Слу-Мурта. А после одного случая эти подозрения перешли в уверенность.

Как-то в затяжной снежный буран вместе со Слу-Муртом потерялся целый косяк. Искали их долго и наконец нашли. По панили одного Слу-Мурта. Лошадей и след простыл. Замерзающий Слу-Мурт рассказал, что напуганные лошади забрались на болото и провалились в трясину. Все до одной. Бай не поверил, но доказать ничего не мог. Тоже: не пойманный — не вор... А тех лошадей мы с джигитами увели буранной ночью, пригнали в аул и потихоньку закололи. Мясо раздали по домам, а шкуры сожгли. И все — никаких следов.

Зиму мы прожили, и неплохо прожили, а летом грянула беда. Июльский приказ о мобилизации разорвался в степи

— о, бомба. Сколько было слез,— стои стоял по аулам. Но отнести несчастье не было сил. В первый же мобилизационный список Малжан впес Слу-Мурта. Так он расчелся со своим врагом.

Межая, Слу-Мурт наказал мне: берегать и не давать в обиду Райхан. Ей тогда исполнилось десять лет, девочка имела грамоту, и моей заботой было устроить ее на учебу в городе.

Так оно потом все и получилось, и я когда-нибудь еще расскажу об этом,— сейчас же я вспоминаю Слу-Мурта и напишу последнюю с ним встречу...

Долгое время от мобилизованных не было ни слуху ни духу, и мы, грешным делом, стали подумывать плохое. Мало ли что могло случиться... А время шло, и вот уже царя скинули, потом не стало Временного правительства, и у власти вроде бы укрепились большевики. Разгорелась гражданская война. Все эти события, хоть и с большим опозданием, по докатывались и до наших мест.

Как сейчас помню, в восемнадцатом году осенью, поздней уже порой, к нам в аул вдруг нагрянул из Омска большой отряд. Кто такие — белые, красные? Ничего не разберем. Солдаты как-то разбрелись кто куда, но большая часть осталась в байском ауле.

И вот приезжают за мной от Малжана, приезжает Карабет с двумя солдатами. Ему тогда лет уже девятнадцать исполнилось, и деркался он важно, разговаривал свысока. На голове у него фуражка, сбоку сабля болтается. Вошел он ко мне в кузницу и орет:

— Эй, кончай-ка все. Там зовут тебя,— и ногой подрыгивает, усмехается.— Живого или мертвого приказано доставить. Хоть голову в мешке привезти.

Солдаты, что с ним приехали, посмеиваются, держатся вольно. Смекнул я, что дело плохо. Зачем я кому-то попадился?

По дороге в аул Маликана я тихонько спросил у солдата — кто они. Оказалось — колчаковцы. Солдат так и заявил мне, что они воюют с большевиками, вот скоро уничтожат всех и восстановят прежнюю Российскую империю.

Совсем мне тревожно стало. На кой им черт эта Российская империя сдалась? Да и как они ее восстановят?

У байского дома стоял часовой: он внимательно осмотрел час и снял с Карабета саблю. Затем разрешающе мотнул головой.

— Заходите.

Меня провели в дальнюю горницу. Там за столом, развались на двух подушках, лежал грузный офицер. Когда меня ввели, он тут же подскочил на месте. Глаза у него чуть не вылезли от удивления. Теперь-то и я узнал его. Это был Кабан, давнишний атаман нашей разбойничьей ватаги.

— Гришка! — закричал он. — Это ты?

А сам красный, потный, в расстегнутом кителе, видно, немало уж высосал самогона с кумысом.

— Садись сюда! — приказывает и хлопает рукой рядом с собой.

Сам Малкан, сидевший тут же, спачала не хотел и смотреть на меня. Когда я вошел и поздоровался, он даже бровью не повел. Но теперь гляжу, и у него глаза на лоб полезли.

— Кургерей, — спрашивает, — ты, значит, знаешь этого начальника?

И залебезил перед Кабаном, заюлил, как собачонка, начал нахваливать меня:

— Хороший, — говорит, — человек, очень хороший. Наш аульный кузнец.

— Вот, вот, — сказал мне Кабан, — как раз ты-то нам и нужен. Мы тут мобилизуем кое-кого из ваших, так ты должен вооружить их. Придется тебе ковать сабли.

— Да я, — говорю, — никогда и не пробовал ковать сабли!

— Ну, хватит, — осадил меня Кабан. — Вот хозяин говорит, что в прошлом году ты ковал для аула серпы. Вот и для нас сможешь. Ничего хитрого нет. Понял? А отказываться не советую. Это по-дружески...

Потом он порылся в кармане и достал золотой браслет. Подмигнул мне и поманил ближе.

— Вот, — шепчет, — видишь? Ваши туземцы не умеют этого ценить. Ты думаешь, где я это взял? Здесь вот, с занавески снял... Ты вот что, Гриша, ты укажи на дома, где имеются такие вещицы. В обиде не останешься. Слово даю.

«Ну, думаю, как был бандит, так и остался бандитом. И это — колчаковский офицер! Что же тогда за солдаты у него?»

Не успел я ничего ответить, как в комнату вбежал солдат и испуганно закричал:

— Едут!

Кабан вскочил на ноги и, застегивая китель, побежал из дома.

В комнате никого не осталось, я подумал и тоже вышел на крыльце. Вижу — подкатывает черная повозка, окруженная копохом, останавливается и из нее вылезает какой-то толстый усач. Кабан, подтянутый, застегнутый на все пуговицы, бросается навстречу, щелкает каблуками, руку под козырек.

Гляжу, до меня никому дела нет, я тихонько отошел в сторонку, отвязал свою подводу и поехал домой.

В этот день я извелся весь, ожидая, что вот-вот за мной приедут опять. Чтобы хоть как-то успокоиться, я пошел в кузницу и принялся за работу. Дело у меня всегда находилось — то самовар починить, то ведро полудить, то к какой-нибудь кастрюле ручку приделать. Много приносили всего... Сижу, значит, я, стучу, называю. Вдруг скрипнула дверь, я обернулся: Райхан. Но не бойко влетела, как обычно, а прокралась, подошла и шепчет:

— Ага, идемте в дом дедушки Жусупа. Вас зовут.

А у самой слезы на глазах и голосишко дрожит от страха.

— Кто,— говорю,— зовет? Что случилось?

— Отец. Отец приехал.

Я даже ушам не поверил.

— Да что ты говоришь! Слу-Мурт?! Когда он приехал? И побежали мы с ней вместе.

В доме Жусупа я действительно увидел своего пропавшего друга. Кроме них еще сидело человека два или три,— уже успели прибежать. Слу-Мурт бросился обнимать меня. Я едва узнал его: в военной форме и на шинели нашиты две алые ленточки. Значит, наш, красный.

— Ну, Кургерей, говорить потом будем. Еще наговоримся. А сейчас просто нет времени. Попал я к вам, как говорится... Вот не думал, не гадал, что белые уже добрались и сюда! Надо мне как-то выбраться.

Он достал из-за пазухи большой сверток газет, обнял и погладил по головке притихшую счастливую Райхан.

— Здесь последние большевистские газеты. Райхан вам потом прочтет. А я вам скажу толь — вот что. У нас, у казахов, еще многие толком не понимают: кто такие белые, кто такие красные. Запомните: от белых хорошего ждать печего. Они пришли, чтобы восстановить прежние порядки. И вот передайте всем: пусть каждый

как только может, мешает им. Надо помочь красным, они уже недалеко. А прогоним мы Йолчака...

Но договорить ему не удалось. С улицы вбежал стоявший на карауле джигит.

— Ой-бай! Идут. И, кажется, сюда идут!

И такой испуганный, такой бледный, что мы вскочили на ноги. Опасность была одна — как бы не нашли Слу-Мурта. И мы кое-как запрятали его, а сами уселись вокруг стола, будто тихо и спокойно пьем чай.

Вернулся со двора старик Йусуп, трясет от испуга головой. Рассказывает:

— Обыскивают все дома подряд, с обоих концов аула. Видно, донес кто-то.

Слу-Мурт услышал и выбрался из своего укрытия.

— Отец,— сказал Йусупу,— позвольте мне взять ваншего коня. Мой сильно устал в дороге. Была не была, попробую пробиться. Ну, а если... так лучше в бою пропасть, чем в чулане.

— Подожди! — остановил я его.— Постой... Снимай скорей щинель. Снимай, снимай! И на, надевай мой чекмень.

Он еще ничего не соображает, а я уже стащил с него щинель, надел на себя, нахлобучил на голову красноармейский шлем.

— Куда ты! — запротестовал Слу-Мурт, догадавшись наконец о моей затее.— Брось, я сам. Будь что будет.

— Да тебе же шагу не дадут ступить, сразу же схватят. А если они бросятся за мной, вот тут ты не зевай и убирайся из аула. Понял?

И, не слушая больше Слу-Мурта, я выскочил во двор и отвязал его усталого коня.

Солдаты были уже близко, в третьем или четвертом доме. Я насчитал их человек десять. Меня они пока не заметили.

Выехав на улицу, я пустил коня рысью и скоро услыхал крики, а затем и выстрелы. Увидели! Конь подо мной, как ни устал, при звуках пальбы встрепенулся и пошел широким галопом. Оглядываясь, я с радостью разглядел погоню: солдаты беспорядочной кучей, все, кто шарил по домам, летели за мной, шахтестывая лошадей. Значит, Слу-Мурту путь был открыт.

Вначале мне удалось оторваться и уйти далеко вперед, но потом разрыв стал сокращаться и я понял, что мне на усталой лошади не уйти. Догоняя меня, преследователи

открыти частую стрельбу, и мой конь вдруг споткнулся, и на всем скаку грохнулся на землю. Одна мысль сидела у меня в голове, когда я летел из седла: жаль, что не удалось увести погоню подальше от аула...

Я сильно ударился о землю, в горячке вскочил на по-  
ни, но тут же вновь слетел с ног, сбитый конской грудью.  
Снова ударился и больше ничего не помнил...

Очиулся я, когда четверо дюжих солдат волокли меня по ступенькам крыльца. Я узнал комнату, в которой был недавно, разглядел стол, бутылки, тарелки с мясом. За столом сидели усач, приехавший в повозке, Кабан и Ка-  
рабет. Низко висевшая лампа горела плохо, в комнате бы-  
ло тускло, а может, это мне казалось — не знаю. Подняв-  
шись на колени, со связанными руками, я быстро  
осмотрелся и с радостью убедился, что Слу-Мурта в ком-  
нате нет. Значит, ушел, не поймали! Ну, теперь бояться  
ничего...

Усач стал задавать мне вопросы.

— Кто этот человек, который приезжал к тебе?

Тело мое болело, ломило челюсти, и говорить мне  
пришлось через великую силу.

— Какой... человек?

— Я говорю о хозяине шипели, которая на тебе!

— Моя... Купил у приезжего.

Усач рассердился и подал знак Кабану:

— А шу-ка!

С клинком в руке Кабан подошел совсем близко и  
склонился надо мной.

— Утром я тебя отпустил подобру-поздорову, — зло-  
радно процедил он. — Но теперь... Говори, зачем приезжал  
красноармеец? Где остальные?

Чтобы не видеть пьяной рожки Кабана, я отвернулся.

— Не знаю.

— Хорошо, — вмешался усач, — приведите самого крас-  
ноармейца. Пусть они посмотрят друг на друга.

«Неужели попался? — мелькнуло у меня в голове. —  
Бедный Слу-Мурт. Молчать, молчать надо!»

Я с испугом уставился на дверь.

— Господин полковник, — возразил Кабан, — надо бы  
сперва этого как следует допросить.

Усач не стал возражать и разрешающе махнул рукой.  
У меня отлегло от сердца. «Врут. Никакого Слу-Мурта у  
них нет. Нашли дурака!..»

Что было дальше, я помню плохо. Запомнилось лишь, что Кабан, придвигнувшись к самому лицу, высматривал что-то, я молчал и отворачивался. Главное, чего я боялся, миновало. Вдруг Кабан размахнулся и железной своей лапой изо всех сил ударил меня по шее. Видно, совсем потерял терпение. Не успел я подняться, как пинком по челюсти он снова свалил меня на пол.

Видимо, допрос этот выглядел настолько страшно, что Жамиш, жена Карабета, убравшая со стола, закричала во весь голос:

— Убили! Ой, убили!

— Цыц! — заорал на нее Карабет, затопав ногами. — Пошла отсюда! Подохнет — туда ему и дорога...

И вот что странно — обычно жалость расслабляет человека, лишает его последних сил. А у меня после слов Жамиш, наоборот, будто прибавилось. Я лежал на полу и чувствовал, что силы копятся во мне. Надо было лишь дождаться удобного момента... Кабан с топотом ходил вокруг и в голове моей сильно отдавались его грузные пьяные шаги. Он схватил меня за шиворот и приподнял.

— Ладно, — сказал усач, сам устав от допроса, — пока довольно с него. Пусть до утра подумает. Но если не скажет утром... делать нечего, придется расстрелять.

Не успел он договорить, как я, собравшись с силами, вскочил на ноги и с разбегу ударил Кабана головой в живот. Я надеялся свалить его, выскочить на крыльце и прыгнуть в темноту, — пускай бы тогда они меня поискали, — но страшный удар в живот лишил меня памяти. Я не разглядел даже, кто это меня ударил.

Поздно ночью я пришел в сознание и увидел, что лежу на земляном полу, на подстилке. Вокруг хранили одетые солдаты, лежавшие вповалку. Часовой с ружьем сидел рядом со мной и, склонив голову, дремал. Боль в онемевших скрученных руках заставила меня заворочаться, часовой открыл глаза и тупо уставился, моргая спросонья глазами. Вдруг он что-то увидел и заорал благим матом. Это было так неожиданно, что даже я вздрогнул. Все остальное произошло в одно мгновение: какой-то человек как кошка прыгнул из-за моей спины на перепуганного часового и ударом в голову свалил его.

— Вставай! — услышал я. — Беги!.. Быстро!

Подгонять меня было лишне.

Пока разбуженные солдаты успели сообразить что к чему, мы уже были во дворе. Мой освободитель вскочил на

коша и бросил меня впереди себя поперек седла. Конь с места взял карьером, и я, мотаясь на седле, успел разглядеть, что мы не одни.

Слади скоро захлопали выстрелы. Тот, кто бросил меня в себе на седло, не сбавляя хода, теребил узлы на моих руках и паконец развязал. Погоня, видимо, отстала, потому что конь пошел тише, и всадник каким-то слабым обморочным голосом проговорил, протягивая мне повод:

— На... держи крепче...

Разогнувшись, сев как следует, я увидел, что это Слу-Мурт. Как же я его сразу-то не узнал! Оказывается, он благополучно выбрался из аула, но убегать не стал, боясь, что меня поймают. Ночью он собрал несколько отчаянных ребят, и они напали на стражу.

Вот так все и произошло. Я счастливо избежал смерти и оказался на свободе. Слу-Мурт, его мне надо благодарить всю жизнь... Ну, а дальше осталось самое печальное. Ехали мы весь остаток ночи, и когда добрались до холмов Тугур-Джап, а это километров двадцать, не меньше, Слу-Мурт уже не мог сидеть в седле. Да и коню досталось,— легко ли тащить на себе двух таких парней. Пришлось остановиться. Я снял Слу-Мурта с коня и положил на траву. Он был бледен и не открывал глаза. Шальная пуля попала ему в спину, он долго крепился и терпел, а теперь вот не выдержал: пуля, видать, серьезно задела его.

Усталый конь стоял рядом и не уходил.

Мы отхаживали раненого весь день, пытаясь вернуть ему силы. Напрасно,— к вечеру ему стало еще хуже, а в сумерках он впал в забытье.

— Жалко,— бормотал он, облизывая запекшиеся губы.— жалко умирать. Еще бы годик-два...

Потом он стал поминать Райхан и просил меня заменить ей отца. Так, без конца повторяя имя осиротевшей дочки, он и скончался.

А поздно ночью, уже похоронив Слу-Мурта, мы вдруг увидели далекое зарево. Полыхало в той стороне, откуда мы ускакали. Как потом узнали, горел наш аул Балта, подожженный отступившим отрядом колчаковцев. Говорят, что спасти что-либо было невозможно.

С тех пор на том месте, где когда-то стоял аул, никто не селился. Видел заброшенное поселение возле рощи Малжана? Развалины, бугры одни остались... Так вот, так все и произошло. Люди извели людей, оставив на земле одно лишь остывшее пепелище...

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Прошедшие дожди вконец испортили дороги, и для шоферов наступили тяжелые дни. Машины с трудом одолевали степное бездорожье, и если случалось забуксовывать, спасения не было: неповоротливые грузовики по самые борта увязали в раскисшей земле.

Застряв в поездке, Дерягин и Халил до глубокой ночи не оставляли надежды выбраться из трясины. Опытный шофер Дерягин умело бросал ЗИС вперед и назад, пытаясь пробить дорогу и выехать на твердое место. Но тщетно.— неистово воющая машина с каждой минутой зарывалась все глубже, липкая вязкая грязь крепко сковывала все четыре колеса.

Помогая водителю, Халил рвал колючую траву и охапками бросал под колеса. Трава моментально исчезала в хлюпающих, залитых жидкостью ямах. Халил, не измеляя рук, снова бросался дергать из земли колючие будылья, вырывая их с корнем.

Был момент, когда обоим показалось, что спасение близко. Одно из задних колес вдруг остановило свой бешенный бег, зацепившись за что-то, и машина заметно подалась вперед. Не спуская ноги с акселератора, Дерягин совсем высунулся из кабинки, наблюдая за колесом. Мотор выл, как диковинный зверь, попавшийся в крепкий капкан. Степь заволакивала едким вонючим дымом. Халил увидел, как Дерягин, не выключая мотора, выпрыгнул из кабинки и скинулся с себя старую промасленную телогрейку. Наступив ногой па рукав, он быстро разорвал ее на несколько частей и лопатой сильно вколотил под дрожащее от напряжения колесо. Снова бросился за руль. Халил, присев на корточки, не спускал с колеса глаз и суеверно бормотал стариинное заклинание: «Сат, сат...»\* Сейчас он готов был молиться любому богу, чтобы только не застрять здесь па всю ночь. Дерягин, так и держа дверь кабинки открытой, осторожно, умело прибавлял газ. Казалось, колеса нашли надежную опору, и машина все сильней подавалась из разболтанной колеи, как вдруг лоскутья телогрейки моментально слизнуло в грязь и колеса вполовь неистово закрутились, зарываясь еще глубже.

Выругавшись, Дерягин выключил мотор и спрыгнул на

\* Сат, сат — удачи, удачи.

землю. Пронала последняя надежда. Теперь оставалось одно — ждать.

Ближе к ночи дождь разошелся еще пуще, и одиночная машина с потушеными огнями напоминала брошенный на мели корабль. Выбраться в одиночку нечего было и думать, а на дороге как на зло ни одного огонька. Кто поедет в такую погоду?.. Скоро в кабине стало не прдохнуть от табачного дыма, но Дерягин, злой как черт, не выпускает изо рта папиросы. Халил, боясь шелохнуться, сжался в комочек и забился в угол. Машина вспыхнула по его вине, и он издал от шефа упреков, бранни, может быть, даже чего похуже, однако замкинувшийся Дерягин словно не замечает его и лишь мрачно вытягивает папиросу за папиросой. Лучше бы он ругал его,— все было бы легче!

Сегодня пятый день, как Халила назначили стажером к мотчаливому Дерягину, и все это время они в беспрерывных рейсах: возят из карьера строительный камень. Работа выматывает все силы, и время от времени усталый Дерягин пускает помощника за руль, а сам, отвалившись к стенке, закрывает лицо кепкой и засыпает. В эти минуты Халил чувствует себя настоящим хозяином в кабине, уверенно держит руль и не спускает глаз с бескучной дороги.

Так было и сегодня, когда возвращались из рейса. Едва забрызгал дождь, Дерягин разревался и, уступив свое место Халилу, привычно завалился в угол. «Приедем, разбудишь»,— только сказал он помощнику.

Перед самым совхозным поселком Халил увидел впереди подводу, на которой обычно доставляли в поле обед трактористам. Какой-то человек в комбинезоне спрыгнул с телеги и подняв руку, прося подвезти. Осторожно объехав подводу, Халил остановил машину.

Дождь лил как из ведра.

— Тамара?!— удивился Халил, разглядев подбежавшего человека в комбинезоне.

Девушка тоже была обрадована неожиданной встречей и, запрыгнув на подножку, всунула в кабину мокрую голову. Влажное лицо ее блестело.

— Я вижу, тебя можно поздравить!— сказала она.

Польщенный Халил навалился на баранку, нажал клаксон и небрежно предложил:

— Садись, подвезу.

Завозился спавший Дерягин, спаял с лица кепку. Сиропомья он долго смотрел на затянутую водой дорогу, на под-

воду, уехавшую далеко вперед, потом взгляд его остановился на Тамаре. Он затряс головой, прогоняя сон.

— О, голубушка! — хриплым со сна голосом проговорил он, оживляясь. — Подвезти, что ли? Садись, садись... Халил, мотай-ка в кузов. Уступи место девушки.

Окончательно проснувшись, Дерягин отодвинул помощника плечом и сам сел за руль.

Халил растерянно подчинился.

— Садись, Тамара, — пробормотал он и полез в кузов. Повеселевший Дерягин широко распахнул дверцу:

— Прошу!

Однако все, что произошло дальше, сильно изумило Дерягина. Ничего не отвечая на приглашение в кабину, Тамара резко захлопнула дверцу и молча ползла за Халилом наверх. Они уселись рядышком на мокрые камни и прижались друг к другу.

Все еще отказываясь верить своим глазам, Дерягин встал на подножку и заглянул в кузов. Нет, Халил и Тамара сидели, тесно обнявшись, и дождь поливал их голые шеи. Дерягин выплюнул изжеванную папиросу и в бешенстве нажал на акселератор. Машина рванулась и полетела, запрыгала, не разбирая дороги, по кочкам и ямам.

Возвращаясь из рейса, Халил надеялся как следует отдохнуть и выспаться. Все эти напряженные дни было совсем не до отдыха. Однако едва машину разгрузили. Дерягин сквозь зубы, не глядя на помощника, проговорил, что они едут снова, в ночь. Возражать Халил не посмел. Он успел лишь сбегать домой, предупредить своих и поужинать. А отдохнуть, рассчитывал он, возможно, удастся в дороге, потому что очередь вести машину теперь была Дерягина.

Дождь не переставал, смеркаться должно было рано. Халил привалился в уголок и, повозившись, закрыл глаза. Однообразная дорога, дождь, зарядивший неизвестно на сколько, навевали дремоту. О сегодняшней встрече с Тамарой, случившейся так неожиданно, он старался не думать. Внезапно машина остановилась, и Халил, открыв глаза, увидел, что Дерягин достал непочатую поллитровку и стакан; сердито посыпывая, содрал пробку, палил доверху в стакан и, крупно, жадно глотая, выпил.. Заметив, что помощник наблюдает за ним, Дерягин с отвращением сплюнул и сказал:

— Хватит дрыхнуть. Садись за руль. Как приедем — разбудишь.

Спорить с ним не имело смысла. Халил хорошо видел, что он еще не забыл сегодняшней встречи с Тамарой и теперь искал лишь повод, чтобы сорвать зло. Видимо, и в рейсе, на ночь глядя, он отправился только затем, чтобы хоть как-то досадить сопернику! Ни слова не говоря, Халил пересел на место водителя.

Устраиваясь, Дерягин насмешливо проговорил:

— Не сможешь если или напугаешься,— сверни с дороги... Ну, газуй давай, воробушек.

И закрылся кепкой, затих,— похоже, сразу же заснул.

День рано померк, и Халил включил свет. Рассекая пелену дождя, огни плясали на воде, залившей дорогу. Ехать приходилось наугад. Порожнюю машину то и дело бросало на кочках, и у Халила немели руки, сжимавшие непослушную баранку. Ему давно не приходилось высыпаться, и от постоянного напряжения начинало резать глаза. Дождь хлестал в смотровое стекло, ровно барабанил по крыше кабины, и весь этот монотонный шум, безлюдная мертвая дорога незаметно клонили в сон...

Халил отчетливо помнил, когда это все произошло. Устав бороться с дремотой, он сам не заметил, как закрыл глаза, забылся на одно единственное мгновение. Оставшись без управления, машина влетела в старую разъезженную колею, залитую дождем. Затряслось неожиданно на кочках, из-под колес полетели брызги,— очнувшийся Халил схватился за руль, пытаясь вывести грузовик на твердое, но было поздно. Колеса с воем завертелись в податливой маслянистой грязи, кузов осел набок, и машина, зарываясь все глубже, загудела рассерженно и строптиво.

Все еще надеясь справиться своими силами, Халил не будил Дерягина и что было силы нажимал на акселератор. Сонливость сняло как рукой. Он хорошо отдавал себе отчет, что значило влепнуть ночью посреди степи.... Но вот проснулся Дерягин, увидел что случилось и словно котенка смахнул Халила с места. Теперь уж не до сна. Чувствуя свою непоправимую вину, Халил нисколько не обиделся и бросился рвать колючки. Не сидеть же было сложа руки! «Это все я, я!» — билось в его голове. Он лихорадочно рвал и подтаскивал охапки травы, но колеса мгновенно перемалывали все, что он ни бросал. В отчаянии Халил был готов сам лечь под колеса, чтобы только вытащить машину из этой проклятой трясины...

Поздно вечером, выкурив несметное количество папирос, Дерягин вдруг заворочался и небрежно турнул Халила с насиженного места:

— Веташь-ка!

«Хоть бы заругался он, что ли!» — совсем извился Халил.

Приподняв сиденье, Дерягин долго рылся в каком-то хламе и наконец достал топор. Опуская сиденье обратно, он задержался, задумался, потом, будто решившись, коротко и остро взглянул на замершего помощника, — впервые глянул прямо в глаза.

— Вот что, друг, — проговорил он трезво и жестко, — последний раз предупреждаю. Слышишь? Не встревай между нами, как человека прошу. Тамарка жена мне, и если что, не сносить тебе башки. Понял?

И, не дожидаясь, что скажет затаившийся Халил, спрыгнул на землю, резко захлопнул за собой дверцу.

Дерягин ушел, затихли в шуме дождя чавкающие по грязи шаги. Халил прижался лицом к запотевшему стеклу, осматриваясь в черноту ночи. Куда это он направился, что задумал? Но разглядеть что-либо в кромешной тьме было невозможно. Лишь лил, не переставая, дождь, надоедливо барабаня по крыше кабинки.

Отсутствие шофера стало беспокоить Халила. Через некоторое время он вылез наружу, опять прислушался, осматриваясь, затем, согнувшись под дождем, обошел вокруг машины. Никого. Вода затопила разбитую колею, и колес машины почти не видно.

— Василий!.. — крикнул Халил в шумящую темпоту и прислушался, отворачивая от дождя лицо. Он позвал еще раз и еще, чувствуя, что слабый его крик тонет в потоках дождя. Темно кругом, жутко, неуютно. Халил снова полез в кабину.

Дерягин не появлялся, словно пропал в ночи, и Халил, устав ждать и согревшись в теплой кабине, стал незаметно засыпать. Из головы не выходило зловещее предупреждение Дерягина, но больше всего мучило, что Тамара не была с ним откровенна. «Почему же она сразу не сказала, что жена ему? — раздумывал Халил. — Обманывала?..»

Заснул ли он, задремал, — Халил не помнил. Время текло мучительно медленно. Ненастной этой ночи, казалось, не будет конца. Мало-помалу пошел на убыль дождь, в степи устанавливаясь чуткая, никем не тревожимая тишина глухой полночной поры. Дерягин так и не появ-

лся. Но вот до слуха Халила донесся отдаленный неясный стук. Сначала он не обратил на него никакого внимания, но стук не умолкал, будто добираясь до сознания, и сбросивший оцепение Халил заинтересованно высунулся из кабинки. Дождь прекратился, в степи было пакинно и темно, и теперь, даже не напрягая слуха, можно было отчетливо разобрать, что кто-то сильно и часто бьет топором по дереву. «Так, значит, вот он где», — в первое мгновение подумал о Дерягине Халил, но потом, заинтересовавшись, что же может рубить человек в совершенно безлесной степи, неожиданно подскочил от обжигающей догадки: «Березу!», и он окончательно проснулся.

Да, топор Дерягина крушил какое-то дерево, но Халил теперь прекрасно знал, что за дерево нашел в степи шофер, — вскочив из кабинки, он побежал на стук, крича во все горло:

— Ва-ся!.. Василий! Не надо!

И бежал, бежал, что было сил, стараясь успеть и помешать, не дать произойти непоправимому несчастью.

Древнюю одиночную березу, сохранившуюся в этих местах с незапамятных времен, знали и почитали в округе как святыню. Еще ребенком Халил слышал суровые рассказы стариков, предупреждавших, что если тронуть священное дерево ножом, то брызнет кровь, и кровь эта падет на совесть и душу отступника, накажет его самого и всех его родственников, что местные жители пуще собственного глаза берегли одинокое, гордо вознесшееся в степи дерево.

Всякий раз, проезжая мимо, Халил издали подолгу любовался кроной березы, шумящей на вольном ветру, и в памяти его, в душе почему-то постоянно вставал печальный образ старшего брата, вот так же одиноко, как и это дерево, заблудившегося в степи и нашедшего здесь свою могилу. Может быть, оттого, что образ несчастного брата постоянно рождал в его сердце печальную и острую боль невозвратимой утраты, одиночное дерево в бескрайней степи становилось ему существом близким, как бы связанным с ним незримыми нитями родства. И, может быть, как раз сиротливое одиночество березы навевало грустные воспоминания о человеке, которого он так любил и неожиданно лишился...

Вот почему, скользя и спотыкаясь, он спешил изо всех сил, будто слышал из темноты почти не просто стук топора, а крик близкого, родного существа о помощи. Дерево звало

его, оно просило заступничества, и Халил бежал на этот крик боли и отчаяния.

Стук топора становился все громче, и скоро задыхающийся Халил различил в темноте величественную кропу священного дерева и неясную фигуру человека, возвышавшегося у его подножья.

Дерягин, сильно взмахивая топором, остервенело крушил у корней ствол. Новенький топор хищно впивался в сочную древесину, отбрасывая мелкие влажные щепки. Входя в азарт, Дерягин все глубже вгонял лезвие топора в открывающуюся рану. Он работал со злостью, с яростью, словно вымешая все обиды, накопленные за долгий и несчастливый для него сегодняшний день. С той встречи, когда Тамара, издевательски захлопнув дверцу, полезла к этому мальчишке в кузов, Дерягин искал лишь повода, чтобы дать выплыться гневу. Но Халил молчал и лишь посматривал на него виноватыми глазами, а Дерягину, чтобы взорваться, необходимо было возражение, неуступчивость, чья-то тоже бунтующая непокорная воля. И вот он схватился с деревом, чувствуя, как ликуют его неизрасходованные силы, как утешается скорой победой надменное запекшееся в злобе сердце.

— Стой! Перестань!.. — еле выговорил Халил, подбегая и хватаясь за топорище.

Не ждавший никакой помехи Дерягин сначала опешил, и только потом неутоленный гнев радостно захлестнул его сознание. Сколько раз за сегодняшний день расправлялся он в душе с этим хилым, жидким соперником, которого почему-то предпочла Тамара! Но раньше он молчал и не подавал повода, а вот теперь сам, сам поднял на него руку!

Испытывая мстительное наслаждение, Дерягин притянул к себе запыхавшегося помощника и, глядя ему в самые глаза, проговорил, прощедил сквозь зубы:

— И-ну, сопляк! Уж теперь-то...

И кулачище его обрушился на голову неправистного соперника. Удар был страшен, потому что Дерягин вложил в него всю силу, всю ярость истосковавшейся по расправе души.

Боль, обморочная слабость пронзила все тело Халила. Таким ударом можно было свалить быка. И все же он нашел силы вскочить на ноги. Первое, что увидел Халил, что бросилось ему в глаза, был брошенный на землю топор. Он словно звал к себе, так и просился в руку, но Дерягин

определил, успел первым и наступил на топорище сапогом.

— А-а, да ты, оказывается, шустрый!..

Он схватил парнишку и, подняв на воздух, затряс с такой силой, словно старался вытряхнуть из него душу.

— Вася... — бормотал мотающийся в дюжих руках Халил, — прошу тебя... не руби.

Слабость, физическая немощь соперника только раздражали Дерягина. Ему хотелось битвы, чтобы пустить в дело всю силу своих литых мышц, но Халил не вынес и первого удара. Однако в просьбе теряющего сознание соперника, его жалком лепетанием о пощаде дереву Дерягин увидел прекрасную возможность продолжить наслаждение расправы. И он, изо всей силы швырнув Халила на землю, вновь схватился за топор.

— Да я башку твою срублю, не то чтобы...

Слова застревали в его сухом от бешенства горле, гнев требовал выхода. Снова застучал в ночи топор, безжалостно и часто впиваясь в шатающееся дерево. Этот соперник был по силам Дерягину. Однако Халил, теряя сознание, уже ничего не видел, ничего не слышал. На глаза ему опустилась обморочная темнота, и скоро стук топора, шелест ветвей слабеющей березы слились в один неясный шум...

Утром Халил почувствовал, что кто-то сильно брызгает ему в лицо холодной водой. Он с трудом раскрыл глаза и узнал Акбопе, сидящую у его изголовья. С длинными распущенными волосами Акбопе наклонилась над спящим, и Халил, просыпаясь, увидел в ее больших, как у верблюжонка, глазах глубоко затаенную жалость. В руках она держала мокре полотенце.

— Вставать пора,—тихо проговорила она, заботливо прикладывая к подбитому глазу Халила холодное полотенце.

Едва подняв голову, Халил тотчас опустил ее на подушку. Разбитое лицо болело, глаза закрывались сами собой. Но время, как он успел определить, было уже позднее,— в комнате сияло солнце, показавшееся ему особенно ярким после нудной дождливой ночи. Надо было вставать и собираться на работу.

Послышались грузные шаги отца, и Халил снова раскрыл глаза. Старый Карасай остановился на пороге ком-

наты и долго смотрел на притихших сына и Акбопе. Лицо его было сумрачно. Наконец старик сплюнул в сторону остывшей печки и проговорил, процеживая слова сквозь зубы:

— Перепало, говоришь... — Поделом! — Он не ушел, все еще хмуро взглядывая на встревоженного сына, затем достал рожок и заправил за губу свежую порцию табака. — То ли еще будет. Говорил я тебе — не послушал. На кой черт сдалась эта желтоволосая чертовка? Ведь из-за нее попало...

Намек свекра заставил Акбопе насторожиться. Она медленно поднялась и отошла от постели. Халил, не зная, что ответить, лихорадочно раздумывал: откуда отец узнал о Дерягине? Ему было стыдно и неловко перед Акбопе, понявший, что у Халила кто-то есть на стороне.

Карасай продолжал отчитывать сына:

— Прилепился к этой машине, будто пес к телеге! Да там за месяц не заработаешь столько, сколько за один день на базаре... И в кого только такой уродился, сам не пойму! — Он взглянул на Акбопе, будто раздумывая: говорить, нет? Махнул рукой. — Не хотел уж я, да... В тот раз скотину волкам стравил, — думаешь, я не знал из-за кого? Да и в совхоз его тебя тянет... Все это она, растрепанная стерва. Нашел тоже! Чем тебе Акбопе хуже?.. Так что вот, слушай и запомни: я тебе не дам надней издаватьсь. Если она тебе не нужна, так нам со старухой дорога. И выбирай, пока не поздно: если хочешь жить сней — чтоб в совхозе больше ноги твоей не было. А пойдешь — можешь больше не возвращаться. И про Акбопе забудь!

Отец ушел, прогремели на крыльце его тяжелые шаги. Халил осторожно перевел взгляд на молчаливую Акбопе. Что ей сказать, как оправдаться? Да и стоит ли оправдываться? Ах, зря он тогда послушал отца и не уехал учиться! Как теперь было бы хорошо!

— Вставай, — ровным голосом, будто ничего не произошло, сказала Акбопе. — Умывайся, а я сейчас на стол приготовлю.

Она ничем не показывала, что слова Карасая хоть сколько-нибудь задели ее самолюбие.

Усаживаясь за стол и испытывая еще большую неловкость, Халил не выдержал и покаянно буркнул:

— Ладно, все. Больше я на эту работу не пойду.

Акбопе засмеялась:

— Что, стыдно с сыпяком показаться? Ничего, до гиадыбы заживет. Собирайся скорей да иди. Поздно уже.

Отправляя его на работу, она, как обычно, положила в старенький портфельчик хлеб, масло и бутылку молока. Поставила портфель у порога.

— Что, сегодня опять будете камень возить?

Иряча глаза, Халил ответил:

— Да, теперь до самой осени придется.

Отчитав сына, Карасай отправился в контору совхоза. Он надеялся, что после сегодняшнего разговора Халил позьмется за ум. Да и вчерашние побои не должны пройти даром. Старик прошел прямо к директору.

— Слушайте, что у вас здесь творится? Я отдал вам сына на работу, а вы с пим что сделали... Ведь места живого на парне нет. Сегодня же давайте расчет! Ищите кого другого...

— Постойте, постойте! — взмолился Федор Трофимович не в состоянии чю-либо понять из гневной речи старика. — Скажите толком — что случилось?

— А чего говорить? Вы что, не видите ничего? Парень еле домой добрался, еле ноги притащил... Хватит! Ни на какую работу он больше не пойдет. И не трогайте его!

Направляясь к двери, Карасай неожиданно столкнулся с входившей в директорский кабинет Райхан. Чтобы не задеть ее плечом, он посторонился, и Райхан, удивленно посматривая то на одного, то на другого, спросила:

— Что за крик?

Взгляд ее остановился на Карасае.

Уходить теперь не имело смысла, и старик высказал ей то же, что и директору.

— Парень все в совхоз рвался, покоя никому не давал. А что с ним сделали? Сегодня он еле живой приполз, а завтра, глядишь, где-нибудь в яме как падаль будет валиться! Хороши тут порядки!

Постепенно до Райхан дошел смысл всего, что произошло.

— Что ж,— сдержанно сказала она,— хотите забрать сына — забирайте. Держать его никто не собирается. А что касается избиения — это мы узнаем. И накажем. В этом можете не сомневаться. У вас все?

Халил отмывал от вчерашней грязи машину, когда в гараж ввалился Дерягин. Он постоял, наблюдая за работой помощника, потом заметил, что голова парня замотана бинтом. Криво усмехнулся:

— Ты вот что... Не думай, что у пас все кончено. Ездить со мной опасно. Попросись-ка лучше к кому-нибудь другому.

Лицо Халила всыхнуло. Но он даже не взглянул на обидчика и только яростнее принялся тереть промасленной тряпкой радиатор.

— Так слышишь? — повысив голос, спросил Дерягин. От ворот гаража послышался чей-то громкий голос:

— Дерягин, Талжанов! В контору...

— Еще чего... — проворчал Дерягин, роясь в кабине.

Рабочий, вернувшийся из конторы, подошел ближе и, понизив голос, поинтересовался:

— Подрались, что ли?

Халил не ответил.

— Так значит вот зачем вызывают! — догадался Дерягин. — Начальству жаловаться вздумал!.. На, забирай все! — он выбросил из кабинки портфель с едой и фуфайку. — И пойди скажи, что мне некогда по конторам шляться. А что бил... Так еще буду бить, если попадешься.

Грохнув дверцей, он погнал машину, скрылся за воротами.

Халил поплелся в контору один.

— А Дерягин где? — спросил директор, с интересом рассматривая синяки на лице шофера.

— Не знаю... Вы вызывали меня?

Вмешалась Райхан:

— Что это с лицом у тебя, Талжанов? Подрался с кем-нибудь?

— Ни с кем я не дрался. Об машину стукнулся.

Моргун весело рассмеялся.

— Ну, ну... Так не об машину, а вот обо что стукаются, — и он показал свой сухой и крепкий кулак. — Чего не поделили? Места в кабине мало? Или Дерягин под мухой был? Он, кажется, любит заложить...

— Не знаю.... — угрюмо отворачивался Халил от смеющихся глаз директора. — Мне можно идти?

— Постой, — сказала Райхан. — Сейчас уйдешь и, может быть, совсем... Ты знаешь, что родители у тебя против твоей работы в совхозе?

Халил нерешительно взглянул в ее испытующие глаза. Неужели отец уже успел побывать?

— Мне кажется, я имею право сам решать — работать мне или не работать.

Райхан вздохнула:

— Хорошо,— помолчав, сказала она.— Но с Дерягиным вас придется развести. За что он побил тебя?

— Какое это имеет отношение к работе?— возмутился Халил. Я вам жаловался?.. Нет. Мое это дело, и нечего...

— Но-но!— прикрикнула на него Райхан.— «Твое дело»... Ладно, пойди к Морозову и скажи, чтобы тебя перевели в мастерскую.

— Апай!— взмолился Халил.— Зачем в мастерскую? Оставьте меня с Дерягиным. За что вы меня спимаете с машины?.. Райхан-апай... Федор Трофимович... Хоть еще немного!

— Не дури!— строго сказала Райхан — Для твоей же пользы. Тебе просто необходимо поработать в мастерской. Пока ты не научишься ремонтировать машину, хорошего шофера из тебя не получится. Понял? Вот и пди. А с Дерягиным мы еще поговорим.

— Райхан-апай, если из-за меня, то, честное слово, не стоит!

— Ладно, иди, заступник,— засмеявшись, отмахнулась Райхан.

«Еще подумает, что я его испугался и нажаловался!»— упирал раздумывал Халил, шагая обратно в гараж.

Встреча в директорском кабинете вышла случайной, но Карасай понимал, что рано или поздно, а с Райхан придется столкнуться по какому-либо делу, и уж тогда не миновать долгого и обстоятельного разговора. С той поры, как колхоз «Жана-Талап» стал отделением нового совхоза, Карасай ждал встречи со дня на день. И наконец главный инженер совхоза Райхан вызвала к себе своего давнишнего заклятого врага.

В кабинете Райхан сидело несколько человек, все русские, как отметил про себя Карасай, по он не стал дожидаться, пока они разойдутся, а ввалился сразу же, сдва пришел, ввалился без стука, широко распахнув дверь.

— Ассалаум алейку-ум!..— протяжно и громко, по старинному обычанию, приветствовал он всех, картино остановившись на пороге.

— Здравствуйте,— сдержанно ответила по-русски Райхан и кивком головы указала на стулья, поставленные в ряд у стены.— Присаживайтесь.

Против ожидания, она была совершенно спокойна, и Карасай отметил это. Мысленно он уже давно подготовился к предстоящему разговору, по он не ожидал, что разговаривать придется по-русски, и в том, что Райхан не отклик-

пулась, как велит традиция, он понял, что ему предстоит тяжелые минуты.

Райхан быстро распределила задания среди сидевших, отдала последние распоряжения и отпустила всех. Затем, оставшись с глазу на глаз, обратилась к Карасаю по-казахски:

— Я вызвала вас и вот по какому делу...

Поднявшись из-за стола, она медленно подошла к окну. Настороженно выжидающему старику показалось, что Райхан собирается с духом заявить ему: «Ну вот что: или ты здесь, или я!» — и был готов к этому, потому что у нее было право поставить такое условие. Однако он снова ошибся: Райхан ни одним словом не обмолвилась о старом, хотя все в ней — ее речь, ее поведение — красноречиво показывали, что она ничего не забыла, все помнит, но не имеет пока желания ворошить обиды далеких лет.

— Вы видите, в наш край наехали множество народу и они не кому-нибудь, а нам, нам с вами, помогают в большом и общем деле. Вы, видимо, знаете, что «Жапа-Талап» стал отделением совхоза. Почему же вас не видно и не слышно, будто вы совсем не здешний человек? Вы что, так и намерены просидеть всю жизнь сложа руки?

— Сложа руки!.. — осторожно усмехнулся Карасай.

— Ну, не сложа руки... Я знаю, вы много работаете по хозяйству. Однако же нельзя все время возиться со своей скотиной!

Готовясь к встрече с Райхан, старик много раз продумывал, о чем может пойти речь. Он не сомневался, что она обязательно помянет о его разросшемся хозяйстве, и теперь, едва только зашла речь о скотине, он понял, что хотела сказать Райхан, и выложил ей давно заготовленный ответ.

— Да, это так. Скотина растет. Но что делать? Я давно не получал в колхозе ничего, что причиталось на трудодни. А ведь начислялось-то каждый год! Скот ходил в общем стаде, рос, плодился. Когда колхоз стали присоединять, я просил, чтобы мне выплатили деньгами. Правление не согласилось. И вот свалилось сразу столько, что рук не хватает. Что теперь делать? Или пусть уж звери растиаскают, чтобы не было тревоги? Я бы, кажется, только спасибо сказал судьбе. — Карасай, разговорившись, настолько взял себя в руки, что при последних словах рассмеялся, как человек, уставший под непосильной и надоевшей ношей.

От Райхан, не спускавшей с него глаз, не укрылась,

флишивая наигранность его смеха. Скупой улыбкой она показала, что понимает его положение, но возразила:

— Ну зачем же все зверям? Но ведь надо хоть какое-то участие и в общем деле принять!

— Конечно,— согласился старик и затеребил в руках шапку.— оно конечно, но ведь... понимаете...

— Говорите, говорите. Что еще?

— Да ведь как сказать... Говорят же, что язык до беды доведет...

— Ничего, я вас пойму правильно. Говорите смелее.

— Я вот что хотел сказать... Понимаете, дело тут кругом новое. Что я во всем смыслю? Какая от меня польза? Вот я и хотел... Уехать бы мне куда-нибудь в район, детей забрать. Много ли мне жить-то осталось?

Райхан удивилась.

— Вы хотите убежать? Вот интересно! Значит, раньше, когда тут никого не было, вы жили и отлично со всем справлялись, а теперь, когда появился народ, когда образовали совхоз, вы решили бросить все и бежать с шубой и кошем? Куда вы убегаете? И зачем? Разве здесь вам не найдется никакого занятия по силам?

Старик закряхтел,— Райхан прекрасно поняла, чего он боялся и чего просил у нее. Она с первых же слов раскусила его. И Карасай не стал больше таиться, отделяться недомолвками.

— А ты, оказывается, ничего не забыла,— вдруг сказал он, посмотрев ей прямо в глаза.— Я, конечно, понимаю... Но зачем ты переворачиваешь мои слова? Я не сбежать хочу, я ищу посильной работы. Сейчас ведь не война, когда не осталось мужчин. Это тогда приходилось собираться с силами, потому что было тяжело. Теперь-то зачем? Теперь и без меня хватает рук.

— Не беспокойтесь, мы найдем вам работу по силам. Вы же понимаете,— сказала она, как бы отвечая на его откровенность.— главное, быта бы душа честна... В общем, сейчас мне некогда, еду в бригаду. Но вы подумайте и заходите. А насчет прошлого,— так давайте договоримся, что больше об этом не будет и речи...

Как ни готовился к встрече Карасай, как ни ловчил,— победа осталась на ее стороне. Это он признавал, не мог не признать и, возвращаясь из конторы домой, еле тащил ноги, глубоко задумавшись над тем, что недавно пережил.

Согнув плечи, опустив голову, он перебирал в памяти весь разговор и ругал себя последними словами. «Чего я на-

плел сй, чего испугался? Черт меня дернул за язык брякнуть, что собираюсь переезжать!.. Но она-то!.. — «Не будем поминать о прошлом». Что это, хитрость, ловушка? Может, хочет изнутри меня вывернуть? Ну уж, голубушка, зубы сломаешь. Я-то пораньше тебя ухвачу!»

Однако опасаться в ближайшее время было нечего,— это он понял отчетливо. И настроение его стало подниматься.

Когда показался впереди дом, Карасай поднял голову и страхнул задумчивость. Надо было жить и действовать. «Вот жизнь пошла!— сокрушился он.— А ведь что мне стоило раньше наложить на нее лапу. С грязью мог смеяться. Посмотрел бы я на нее...»

И он вздыхал и продолжал ругать себя, испытывая запоздалое сожаление.

#### ЧЕТВЕРТАЯ ЛЕСНЬ СТАРОГО КУРГЕРЕЯ

— ...В тот же год, когда мы скоронили Слу-Мурта, я отвез Райхан в Шарбак-Куль. Мне думалось оставить ее у Ивана Максимовича, но у девочки неожиданно нашлись какие-то дальние родственники. Вместе с совсем ослепшей матерью она осталась жить у них.

Как того и хотел Слу-Мурт, учиться Райхан стала в русской школе.

Время учения пролетело незаметно, и когда я увидел Райхан после школы, то поразился,— совсем невеста!.. Оказывается, родственники никак не хотели отпускать ее, сказав, что хватит им с матерью скитаться по чужим людям. В аул зачастали сваты, и девочке стоило большого труда вырваться из аула и снова вернуться к нам.

Зима в том году выдалась жестокая и небывалые морозы наделали немало горя. В бедных домах совсем не осталось мяса, а там, где что-то и имелось, люди растягивали по кусочку, надеясь дожить до весны. Весны ждали с нетерпением, во всех дворах ни на минуту не прекращалась работа,— хозяева заранее готовили инвентарь.

Зажиточным дворам той зимой пришлось особенно тутго. Вышло распоряжение о конфискации излишнего имущества, и богатей, вроде Малижана, ни дня не сидели спокойно,— все время в разъездах, несмотря на лютые морозы: рыщут по степи, по аулам, распихивая родственникам излишки. Чувствовалось по всему, что в степи надвигаются

великие перемены, а какие — сказать пока никто не мог. Но богатеи до поры до времени не вешали голов и вели себя так, словно все идет по-старому. Разве только злее стали, будто учущие близкий конец волки. На бедняков они смотреть спокойно не могли, понимая, что здесь их ждет окончательная расплата. А раз понимали, то и выменивали любу как только могли. Видимо, пуще всего их злило то, что в бедняцком ауле совершенно спокойно ждали приближающихся перемен. Терять нам было нечего, и без того уже дошли до последнего, а вот лучшая пора могла наступить, на это все мы крепко надеялись.

Как-то почью, поздно уж, когда весь аул давно спал, к нам в ставни негромко постучали. Я сначала не поверили — кто бы это мог в такую стужу и так поздно? Но домашние забеспокоились.

— Григорий, кто это там?

И собака, слышим, мечется по двору, лает, — заливается. Нет, значит, кто-то есть.

Вдруг послышался с улицы стон. Тут уж я не раздумывал больше и вскочил. Мороз, видно, совсем осатанел, — на окне в палец снегу, запесою все, затянуло льдом.

Я продышал дырку, выглядываю. Вижу — лежит кто-то свернувшись на снегу и не шевелится. Луна светит, снег блестит, и человек весь в белом.

Я как был в белье, так и выскочил из дома. Собака кинулась спачала ко мне, потом на улицу, — еле калитку успел отворить.

— Пошел! — кричу. Боюсь, как бы не набросилась да не искасала человека. Но собака, как подбежала к лежавшему, так и остановилась. Повизгивает, хвостом крутит и на меня оглядывается, будто торопит: дескать, скорей ты, чего топчешься!

Это была Раихан, босая, в одной изодранной рубашонке. Как только не замерзла в такой холод!

— Родная моя, да что с тобой?

Подхватил ее па руки, а она слова сказать не может: зуб на зуб не попадает. Я бегом в комнату. Но только успел подбежать к воротам, как из-за угла на улицу вылетели верховые. Скачут, кричат, лошадей нахлестывают. «Э, — смеялся я, — дело плохо!» Прыгъ во двор — и калитку на засов. Плохо, что собака за воротами осталась.

Верховые, слышу, остановились. Пес мой наскакивает, лает, потом вдруг завизжал, завизжал и умолк. Удалили, видно, чем-то...

Я отнес Райхан, отдал на руки домашним, а сам накинул полушубок, шапку и снова к воротам. А те уж стучат, ломятся, доски трещат. Прихватил я по дороге тяжеленький такой ломик, как раз по руке.

— А ну,— сказал,— перестаньте. Что нужно?

За воротами умолкли. Потом говорят:

— Открой ворота. Все равно не спрячешь.

— Кто вы такие?

— Не твое собачье дело. Лучше открывай!

«Ах так!»— думаю. И распахнул калитку.

Шарахнулись мои герои, гляжу — к саням поблизже держатся. Собака моя лежит на снегу, кровь из морды чернеет. Совсем меня зло взяло. Перешагнул я через собаку, ломик покрепче обхватил.

— Ну, кто смелый? Подходи. Сейчас всех за собакой отправлю.

Боятся, совсем в кучу сбились. А я, как на грех, разглядеть никого не могу,— от ворот далеко отходить мне нельзя, со спины могут ударить.

Постояли мы, молчим. Потом те начинают уговаривать. Брось, дескать, заступаться, у казахов традиция — девушки воровать.

— Или ты,— крикнули,— вторую жену хочешь взять?

— Ах вы, собаки!— говорю.— Если девка без отца, так позорить можно? Не выйдет это у вас. Пока я жив, вы ее пальцем не тронете. Не дам я опозорить Сту-Мурта.

И жалко мне, что их такая орда нагрянула. Будь несколько человек, показал бы я им, как такими делами заниматься! А то от ворот отойти не могу...

Ладно смелеть начинают.

— Смотри ты, какой заботливый, учить нас будешь? Забыл, каким приплелся сюда? Ни рожи ни кожи...

— Болтайте, болтайте,— говорю.— Но Райхан вам не видать. Я лучше рядом с собакой лягу, чем дочку вам отдам.

— О, дочку!— зашумели.— Слыхали?

— Позор! У мусульман отец кафир. Ну, времена пастали!

— Ладно, ладно,— говорю.— Нечего о временах прописывать. Проваливайте-ка отсюда, пока...

— Окружай!— крикнул кто-то, и, как сейчас помню, голос этот показался мне знакомым. Но раздумывать было некогда. Я только успел прижаться спиной к воротам, как подскочил справа верховой и замахнулся сомлом. Пригиув

голову, я поднял лом и сошл с треском переломился. Обломок упал к самым моим ногам. В это время еще один верховой падетел и ухитрился все-таки вытянуть меня плетью. Ударил и тут же отскочил в сторону.

Видимо, туда бы мне пришлось, если бы не проснулся аул. На улице показались люди, бегут к нам, кричат. Приехавшие пошли на понятный. Какой-то парень на полном скаку хотел, свесившись с седла, поднять лежавший у моих ног обломок союла, но я занес над головой тяжелый лом и жаль, что попал не по нему, а по лошади. Конь шарахнулся и понес, запрыгал, припадая на заднюю ногу.

Скрылись все, унеслись, будто и не было никого.

Тут наши подбежали.

— Что у вас тут?

— Что случилось?

А меня самого трясет так, что сказать ничего не могу. Потом подобрали мы обломок союла и направились в дом.

Райхан лежит, разметалась на постели. Бормочет что-то, стонет, плачет. Лиза моя гусиным жиром ноги ей трет. Пальцы на правой ноге совсем побелели.

— Мама! — кричит Райхан. — Где мама? Приведите маму!

«Действительно, как бы чего с матерью...» От этих подлецов всего можно ожидать.

Отошла понемногу Райхан, говорить стала. И нам удалось узнать, что произошло.

В самую полночь кто-то постучал к ним в окно. Ну кто мог ожидать, что заявится плохой человек? А ведь мороз-то: снаску нет. Свободно мог замерзнуть человек, если не открыть... Открыли. Вот тут и началось! Как только Райхан увидела всю эту ораву, бросилась со всех ног в сарай. Наверх, — там дверь была на крыше. Ободралась вся, пока пролезла, обувь где-то потеряла. И пока те крутились, орали что-то внизу, Райхан прыгнула в сугроб и, босиком, в рубашонке, побежала, прячась за домами, к нам...

— Все-таки что за люди? Это не издалека. Это наши кто-то, близкие.

Старик Жусуп долго вертел в руках обломок союла.

— А ведь я знаю чей это союл. Это Карабета. Он у них уж не одно поколение в семье. Видите, медное колечко и две черные шишки? Такого больше ни у кого нет.

Вскочил какой-то джигит, весь бледный, кулаки сжал.

— Это позор! Они не только над памятью Султана надругались, они весь наш аул опозорили. Сколько мы будем терпеть? Говорим: свобода, равенство, а что на деле получается? Не будет нам никакой свободы, пока мы всех этих баев...

Но тут вернулся человек, бегавший узнать, что с матерью Райхан, и в доме стало тихо.

— Ну, где она? Что с пей? Почему ты ее не привел?

— Не нашел,— мрачно ответил тот.

— Что значит «не нашел?..» Да говори, не тяни душу!

— Там открыто все. Двери и окна настежь. Все разбросано...

— Господи, пеужели еще одна беда!

— Тише!.. Ну, что дальше?

— Я обыскал все... Нигде ее нет.

— Да как же ты искал? В сарае посмотрел бы!

— Смотрел. Нету... А одежда, и палка, и обувь,— все дома.

— Вот беда еще! Вот беда!..

Хорошо, что Райхан ничего этого не слыхала,— согрелась и уснула бедняжка.

Мать мы отыскали уже под утро. Старушка, видимо, бросилась следом за дочерью, вышла за аул и там заблудилась, закоченела на снегу.

Аул гудел, как улей. Никто не сомневался, что падет был из аула Малжана. Старики грозили и стали проклятья: «Бог вас пакажет, собак!». Молодёжь горячилась и звала всех ехать чинить расправу. Найти виновного было не tanto уж трудно. А тем временем молва, что люди Малжана приезжали красть Райхан, разнеслась по всей округе. Заволновался народ...

Справив по покойнице семидневные поминки, я собрал нескольких джигитов, и мы поехали в аул Малжана. Парни теперь не боялись ни бога, ни черта. Кончилось проклятое время, когда перед баем падло было сгибаться в три погибели. Сейчас мы ехали, как равные и, видимо, у Малжана тоже поняли, что па пас не удастся прикрикнуть, как в старину. Мы все до одного ввалились в дом, и никто на нас не поднял голоса.

Карабет был дома. Увидев пас, забился в угол и только глазенками оттуда поблескивает, как нашкодивший щенок. Весь разговор с нами взял на себя сам Малжан.

— Спокойно, спокойно, светики мои,— заговорил он,

едва мы приступили к делу.— Давайте сначала разберемся. Проходите, прошу, будьте гостями.

Вот ведь как запел! А раньше, бывало, рявкнет, вскочит на ноги, глаза кровью нальются.

Но из нас не сел никто, джигиты как вошли, так и остались стоять, у каждого в руках толстая, сложенная вдвое камча.

У Малжана душа совсем ушла в пятки, но он не теряет надежды, суетится, уговаривает.

— Родные мои, или вы уже не казахи? Да присядьте, как положено. Кургереi, свет мой, ты же постарше всех, умный человек. Это у них молодость играет, а мы с тобой... Проходи на тор, поговорим как следует.

От двери, сквозь строй моих джигитов пробралась байши, жена Малжана. И тоже с уговорами.

— Дети мои, так не годится. Плохая примета, когда в доме стоят. Разве корова телится стоя? — и засмеялась через силу, надеясь все свести к шутке.

— Мы не в гости пришли. Нам нужен Карабет... А ну-ка, выйди с нами. Пойдем, пойдем!

А возле дома уж местные собрались, еще сбегаются. Ясно, что стычки не избежать. Но нам море по колено, едва мы увидели забившегося в угол Карабета. Нам бы только до него добраться!

Заметив во дворе помощников, Карабет понемногу осмелел. Будто пес, дождавшись свору.

— Вы чего это, — говорит, — обнаглели? Еще вчера в дверь заглядывали, а сегодня... Ах вы, голь перекатная! А ну пошли отсюда! Сначала разберитесь, кто виноват, а уж потом морочьте голову. Пошли, пошли отсюда!..

Тут на него прикинулся Малжан.

— Замолчи, я говорю! Вот язык ядовитый!.. У людей горе, это же понимать надо. Неужели ты думаешь, что они, не разобравшись как следует, будут совать нож туда, где нет сустава?.. А вот тебе, как товарищу, как соседу, не мешало бы помочь им найти виноватого. Так нет... Сиди лучше и не прыгай!.. Ну, светики, надеюсь, вы не пришли как баба за угольком. Садитесь. Сейчас угощение будет, поговорим. Если вы считаете, что мой сын виноват, так он вот, никуда не убежит. Да и закон есть, — куда от него денешься...

И ведь улестил, уговорил, — стали мы рассаживаться. Малжан все меня обхаживает.

— Кургерей, милый человек мы все понимаем что несчастье в доме Султана — это твое несчастье. Я сам, как услыхал, до сих пор успокоиться не могу. А уж что о тебе говорить!.. Конечно, между нами много чего бывало, но ведь мы же не чужие люди, мы же сородичи. Я хотел сразу прибежать, как только мне сказали, так ведь дела проклятые — то одно, то другое — часа не выкроишь... Теперь давай рассудим спокойно. Ты же наш человек, хоть и русский, вырос здесь, стал нам всем родным. Ну посуди сам: Карабет уже десять лет, как женат, у него дом, дети, хозяйство. Да разве такое сейчас время, чтобы брать вторую жену! Ведь скажут же! И кто это только придумал все свалить на Карабета? Ах, люди, люди!.. Признайся, дорогой, ведь ваши много чего зря болтают о нас. Вот и пустили молву. Будто в округе нет больше молодых парней! Зачем же все на Карабета валиТЬ?

— Да сплетни все это! — выкрикнул со своего места Карабет.

— Я кому сказал, чтоб ты помалкивал! — рявкнул на него Малжан.

Джигиты, что пришли со мной, переглядываются и па меня посматривают: что-то мне надо отвечать старику. Вот ведь как он завернулся. Действительно, никто из нас Карабета за рукав не поймал...

Начал я издалека.

— Вот ты сородичем меня сейчас назвал... Смешно! С каких это пор байский аул породнился с нами? Всю жизнь, сколько помню, мы не видели от вас вот ни на столько добра. Одна беда шла на нас от вашего аула: буря ли, пожар ли какой... И я не помню случая, чтобы кто из нас хоть слово ласковое услыхал. А теперь, вдишь ли, в родню нас записал...

— Эй, — не выдержал Карабет, — придержи-ка языки! Ты с кем так разговариваешь?

— Да замолчи ты цаконец! — взмолился Малжан, махая на него рукой. — Вот уж поистине: если в доме нет хозяина, так баба голова... Когда говорят старшие, младшие должны молчать. Что из того, что Кургерей говорит со мной на ты? Убудет меня от этого? Он русский, у них, паверное, так принято... Не обращай на него внимания, дорогой, продолжай, я слушаю. —

— Аксакал, вы бросьте это: русский, нерусский, — угрюмо заметил кто-то из моих джигитов. — Кургерей зна-

— все не лучше всех нас. А если он так говорит, значит, цепля вам такая...

А вот этого говорить совсем не следовало, потому что все тотчас вскочили, загадали, затрясли плетями. Как еще в драку не кинулись? И только один Малжан как сидел, так и остался, будто ничего не видел, ничего не слыхал. Покачивая головой, он чуть слышно бормотал: «Вот время пришло, вот время!..»

Я еле успокоил своих.

— Аксакал,— говорю, если нужно, закон найдет виноватого. Вы, наверное, не знаете, что у нас в руках обломок союза Карабета. Этого достаточно... Мы пришли сегодня и надеялись, что Карабет признает свою вину. А выходит... Так знайте, мы не отступим, пока не отомстим за смерть. Вот так.

Я махнул своим, чтобы выходили. Больше нам в этом доме делать нечего. Смерть матери Райхан и вообще весь этот случай с похищением долго не сходили с уст. Но болтать начали разное. Одни уверяли, что воровать Райхан приезжали откуда-то издалека и что союл вовсе не Карабета, что у него сейчас и без того хлопот полон рот, ему не до девушек, другие же... Словом, чем дальше, тем больше всяких слухов, а тут еще конфискация началась — совсем о похищении забывать стали. Так болтовней одной все и пронесло. Дела большие заворачивались, все подмели под себя.

Райхан провалилась в постели долго, чуть ли не полгода. Но потом поднялась, — жизнь-то берет свое. Сколько я ни наблюдал за ней, никак не мог забыть Слу-Мурта: все-таки она выпитый отец! И красивая такая же и бойкая. На нее уже многие у нас засматриваться начинали, по подойти не смели, — боялись. Она и в самом деле, учившаяся в городе и хорошо говорившая по-русски Райхан была на голову выше всех наших аульных. Как к такой подступишься?

Дождавшись, пока она совсем не оправилась после болезни, я как-то затеял с ней серьезный разговор.

— Райхан-жан, мы с твоим отцом были, как братья. Ты это знаешь, и говорить тебе нечего. Так вот, когда он... тогда все его последние мысли были только о тебе. И он просил меня и взял с меня слово: выучить тебя и вообще помочь в жизни. Этот завет друга я буду помнить всегда. И вот теперь моя к тебе просьба. Ты осталась совсем одна и поэтому считай меня своим отцом. У тебя не стало отца,

у меня никогда не было детей. Теперь ты моя дочь, а я твой отец...

Райхан не дала мне договорить, бросилась на шею. Слезы у неё так и брызнули.

С того дня я стал ей отцом...

Все эти события совпали с конфискацией скота у богатых. Ну, тут уж наш аул полностью посчитался с Малжапом. Бедняцкие куруки в ту пору славно погуляли в байских стадах.

Маликан, падло сказать, расставался с добром без вздоха, без жалобы. Крепкий был человек,— будто и не его совсем обирали... Но вот узнаем, что ночью, дождавшись глухой волчьей поры, Малжан бежал. Собрал, что еще оставалось из богатства, Карабета взял, жену самую младшую и — поминай как звали. Тайком все подготовил — даже старшие жены ничего не знали. Где-то по дороге узнали его, бросились в погоню, но старик не дался в руки, отбивался, говорят, двоих или троих подстрелил на прощанье.

Поговорили мы еще о нем малось и забыли,— не до него было. Жизнь пошла круто в гору, и народ поднял голову, повеселел. От раздела байского добра каждому что-то перепало, и в бедняцких дворах теперь забивали скотину и наедались до отвала. О будущем мало кто задумывался, каждый был рад свалившемуся достатку. Иной отродясь не едал досыта, а тут вдруг — целое богатство. Как же было удержаться и не отпраздновать!

Старику Боташу, помню, досталось целых шесть голов. Старику прямо помолодел от счастья. Всю жизнь он кормился тем, что рубил зимой проруби, а ходил в одном-единственном драном малахаем. «Э,— загулял он,— вражий скот, так и руби его по-вражью». И всю скотину, что привел во двор, пустил под нож. «Хоть паемся как следует»,— говорит. Скоро у него из всего хозяйства опять осталась одна тощая клячонка.

Да и мало разве было таких, как Боташ?

Короче, несколько месяцев всего прошло, как разделили байское добро, и вот уже нужда снова стала подпирать. В соседних аулах, правда, люди оказались умнее и стали создавать товарищества по обработке земли. У них хлеб появился, а значит — и скотина уцелела. У нас же еще прекрасно помнили, чем кончилась попытка заняться хлебопашеством, поэтому, обжегшись раз, никто и слышать не хотел о новой затее.

Но делать-то что-то надо! На кого надеяться? Только

на себя. И снова собрали мы аульных аксакалов, посудили, порядили и не нашли ничего лучше, как тоже образовать товарищество.

Во всем этом нам много помогала Райхан. Можно сказать, вся работа с молодежью целиком легла на ее плечи. Она уже в комсомоле была, и авторитет ее рос день ото дня.

Не скажу точно, когда это случилось, но хорошо помню, что работал я в кузнице,— слышу, вдруг поднялся в ауле большой крик. Давно уж, признаюсь, так не шумели. Выскочил я. «Малжана поймали, Малжана!..»— кричат.— «И Карабета... к аульному привезли!»— «Ну, думаю, добегались, голубчики!» Бросил все, побежал со всеми.

Аульный у нас жил в одной из комнат в доме старика Байбусыпа. Там жил, там и контора была. Сбежались мы. Каждому же хочется своими глазами взглянуть на беглецов. Словно волков с облавы привезли.

В дом никого из парода не пускали, и все толпились на улице. Плетенка, в которой привели, еще не распряженена, стоит возле амбара. Кони в пене,— видать, гнали во всю мочь. Ни Малжана, ни Карабета не видно, в плетенке сидела одна Жамиш с девчонкой на руках.

Пока я пробирался, так наслушался, что болтают в народе.

— Как же их поймали? Ведь они, говорят, в Китай подались.

— По дороге, видать, схватили.

— Теперь милиция. Хоть за горы сбеги, все равно найдут.

— Достанут из-под земли!

— Интересно бы глянуть — каким он стал. Похудел небось. Легко ли бежать-то?

— А чего ему? Ведь и сурок чем больше лежит, тем жирнее...

Пробрался я и вошел в дом. Мне тоже не терпелось увидать своими глазами. На Карабета особенно интересно взглянуть,— как он теперь будет держаться? Но едва я ступил на порог, еще дверь не закрыл за собой и... глазам своим не поверил. Вижу: Карабет сидит вместе с аульным нашим за столом, сидит важно, будто это не его поймали и привезли.

— А, вот и Кургереи,— говорит.— Здравствуй, Кургерей. Как дети, семья?

Я понять ничего не могу. Что тут происходит? Потом Малжана разглядел,—сидит в углу на полу, руки заломлены за спину и связаны. Совсем не узнать старика. Раньше Малжан был красномордый, как пламя, а теперь ни кровинки в лице. Рыжие усы обвисли, будто сломанные крылья, и совсем пропал живот,—пустой весь, словно выпустили. И головы не поднимает.

Аульный о чем-то пошептался со стариками, поднялся из-за стола.

— Надо его в райцентр доставить, в милицию сдать. Приготовь-ка коней.

Карабет закивал, поднялся тоже.

— Вы только коней дайте,— говорит.— А доставить я его сам доставлю. Уж сколько ночей не спал,— еще-то одну не посплю.

Малжан, гляжу, заворочался в углу, поднял голову и уставился исподлобья на Карабета. Глаза красные, злые. Сипюнул, опять отвернулся.

Я спрашиваю аульного:

— Что же это такое? Бая связали, а Карабет на коне... Что происходит?

Карабет как ни в чем не бывало улыбается и говорит:

— Сразу и не поймешь, Кургерей. Но вот что есть, то есть. Сам я его поймал, сам и привез. Теперь понятно? Или ты забыл, как я сам всю жизнь пробыл у него в батраках, мерз, как собака, когда пас его скотину? Не-ет, теперь я с чим за все рассчитался! И за себя, и за отца...

— Но ты же убежал вместе с ним!

— Э, Кургерей, тут вопрос другой. Вы же никогда не понимали, что мой отец был такой же бедняк, как и все. А меня почему-то считали сыном бая. Я же помню, как вы все травили меня! Вот я и напугался. А что? И пристукнули бы под горячую руку—и делу конец. Поэтому-то я и решил переждать. Должно же было когда-нибудь все стать на свои места!.. И вот.. Когда он стал собираться за кордон, я раскинул умом и решил, вернусь, думаю, в родные места, расскажу все, как было,— новинную-то голову меч не сечет. А заодно и его прихватил. Еще бы немножко, и ушел он, только бы его и видели... А теперь смотрите сами, судите меня, решайте, как поступить. Все знают, что отец мой Талжан был бедный из бедных. Времена сейчас пастали справедливые, и я думаю, что власть найдет истину...

Ловко он так это все вынапил, будто наизусть давно

выучил. Малжан все слышал, по как сидел, так и остался, даже головы не повернул.

Старик Байбусын, хозяин дома, отмахнулся от Карабета.

— Не нам,— сказал он,— судить тебя. В этом высшие органы разберутся. Но ты вот что мне скажи: ведь за вами гнались и, когда Малжан отстреливался, почему ты ему не помешал? Где ты был в это время?

— Боке,— взмолился Карабет и даже руки к груди прижал,— ведь не я же стрелял! Да и пожалел бы этот человек меня, если он родного брата не пожалел?

— Зпачит, испугался?

— Боке...

Но тут не выдержал арестованный,— вскинул голову и крикнул, словно выстрелил в Карабета:

— Проклятый! Так ведь берданка-то у тебя в руках была!

— Клевета! — закричал Карабет.— Он врет! Он хочет и меня измазать кровью. Но нет, кому надо, те разберутся...

В общем отправили мы их в тот же день и на всякий случай еще двух джигитов послали. Пускай там разбираются...

Позднее известие пришло: Малжана судили и приговорили выслать, Карабет же, пока сидел под стражей, написал в высшие органы письмо, в котором доказал, что он сын бедняка. Однако в наших краях он не показывался долго. Появился лишь зимой, когда выпал снег, будто нарочно ждал этой поры, чтобы все, что было, все старые следы замело, занесло и все забылось, поросло быльем...

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Жуткий истощенный вой, раздавшийся под самыми окнами, заставил старую Жамиш подскочить в постели. Спросонья она не сразу поняла, что это за пронзительные голоса надрываются в глухой кромешной тьме. Впечатление было такое, будто из кого-то живьем вытягивают кишечки. И только придя в себя, Жамиш сообразила, что это кошки. Их вопли, похожие то на стоны, то на предсмертный рев, разбудили ее среди ночи.

Подойдя к темному окну, Жамиш высохшей жилистой рукой застучала в стекло.

— Брысь!.. Брысь, проклятые! Смотри ведь, сколько их. Как бы ребятишек не напугали...

Но кошачий концерт загремел с новой силой. От утробных, каких-то задыхающихся воплей мороз продирал по коже.

Жамиш вышла из дома и, ругаясь, разогнала прыскавших из-под ног тварей.

— Даст же господь голоса такие,— приговаривала старушка, неслышными шагами возвращаясь обратно.

Подняв голову, Жамиш увидела, что звезды сильно поредели,— был тихий предрассветный час. Ночь шла на убыль, и Жамиш сильно удивилась, что муж до сих пор не вернулся с работы. С того дня, как Карасай устроился в совхоз кладовщиком на склад, он частенько стал задерживаться в поселке.

Войдя в дом, Жамиш накинула крючок и, шлепая ка-лошами, подошла к постели. В доме было тихо, дети спали, скоро в окне забрезжил раний рассвет. Жамиш в задумчивости лежала под стареньkim одеялом и не смыкала глаз. Опа по привычке знала, что тяжелые шаги мужа узнает издалека.

Однако напрасно она беспокоилась, ожидая мужа. Ка-расай той ночью никуда не уходил со двора. Возвратившись вечером из поселка, он по дороге заглянул к квартирантке. С каждым днем он убеждался, насколько Агашка Яшикина оказывалась полезным человеком. Старик еще ни разу не пожалел, что пустил ее на квартиру. По мере того, как он спускал через заведующую столовой все домашние палишки мяса, уважение его возрастало, и скоро между ними установились отношения, как между сообщниками. Старик частенько стал заглядывать в пристройку, где поселилась квартирантка, и Агашка только радовалась этому, становясь с каждым днем все приветливей.

— Дядя Карасай,— сказала она сегодня, случайно столкнувшись с ним в поселке,— когда же обмоем ключи от склада? Пора бы уж... Нос у меня что-то давно чешется, а сегодня как раз день рождения.

— Вот как!— удивился хозяин, сильно заинтересованный бойким игривым взглядом квартирантки.— Сколько же вам исполнилось?

Агашка звонко рассмеялась, показывая полную белую шею.

— У женщин, дядя Карасай, о возрасте не спраши-

иают. Если еще не состарилась, значит вполне за молодчьюку сойдет. Разве не так?

И снова рассмеялась, запрокидывая голову.

Карасай растерянно топтался, не зная, что сказать. Поздравить с днем рождения ему и в голову не приходило,— он просто не умел этого,— не знал и никогда никого не поздравлял.

— У казахов такая пословица есть,— проговорил он, хитро взглядывая на женщину.— Как это... «Бык стареет, но щок остается...» Понимаешь?

— Великолепная пословица! Просто замечательная... Значит, заходите сегодня, посидим вечерок. Никого из посторонних не будет. Так, разве кто из подруг забежит... Зайдете? Или старухи своей испугаетесь?.. Приходите, приходите, да с собой побольше захватите. Женщины, знаете ли, любят подарки.

Приглашение квартирантки поставило Карасая в тупик. Ну, хорошо, прийти он придет, но о каких подарках она говорила? «Женщины любят...» Что принести с собой, какие они бывают, эти самые подарки?

Вечером, появившись на пороге пристройки, Карасай увидел в глубине комнаты уже подготовленный стол. Квартирантка была не одна,— за столом сидели две грузных приварядившихся женщины. Старик узнал в них новарих из совхозной столовой.

Придя в комнату, Карасай достал из кармана и бросил на стол две длинных новеньких сторублевки.

— Мой подарок,— не совсем уверенно проговорил он, наблюдая за Яппикиной.— У нас на всяких там тоях-гүляпках только женщины обязаны все это... Ну, а раз уж теперь по-русски у нас, так пусть... Я хоть не женщина, но подарок... вот...

Старик окончательно смешался и сконфуженно умолк. Квартирантка, однако, радостно захлопала в ладоши и закричала:

— Ну что вы! Рахмет, рахмет!— и подставила Карасаю зардевшуюся румяную щеку. Старик даже отпринул,— так все это было непривычно. Соглашаясь на приглашение игривой квартирантки и приготовив свой подарок, он хотел лишь отплатить ей за те услуги, которые она постоянно оказывала ему в сбыте мяса. Заведующая столовой была нужным для дела человеком, и Карасай намеревался закрепить отношения. А получалось...

— У нас, у казахов,— вновь заговорил Карасай, изо всех сил стараясь не показать растерянности,— у вас есть еще такая поговорка: «Платок да щуба не водица, в дороге пригодится...»

Наблюдая, как неумело обращается с раскрасневшейся квартиранткой вконец потерявшийся старик, поварихи за столом не выдержали и прыснули. Япишкина тотчас ожгла их быстрым гневным взглядом.

— А что,— поддержала она Карасая,— он правильно сказал. Очень к месту. Значит, в знак уважения, в знак внимания, дружбы... Хорошо сказано!

И чтобы не томить больше хозяина, она усадила его за стол и принялась разливать водку.

Карасай давно заметил, что водка у Япишкиной не переводится и очень часто проезжающие шоферы заворачивают к дому, как в лавку. Цена, конечно, не магазинная, но поздний посетитель за цену не стоит...

Вышли за виновницу торжества, повторили, и раскрасневшийся Карасай выбросил на стол еще одну сторублевку.

— Для тебя! — бормотал старик, упираясь в квартирантку тяжелым настойчивым взглядом.

Женщины за столом переглянулись. Япишкина нахмурилась:

— Бросьте, дядя Карасай.

— Нет, возьми! Иначе рассержу...

Вздохнув, квартирантка убрала деньги.

В полночь, проводив товарок, подвыпившая Япишкина вернулась в дом и увидела за разграбленным столом пабрякшего от водки хозяина. Карасай обычно пил мало, но сегодня потерял контроль и сейчас еле ворочал языком.

Женщина опустилась на стул, Карасай поднял мутные глаза и узнал ее. Потом бросил на стол большую связку ключей от всего своего хозяйства.

— Наливай, Агайша! Жизнь проходит... Но если счастье нас не находит, так мы его найдем!.. А?

Закрывая глаза, Япишкина рассмеялась мелким пьяничьим смехом.

— Правильно... А кто тебе посоветовал поступить на склад?.. А? То-то. И вообще — будешь слушаться, с деньгами будешь... Все у нас будет!

Она подняла свой стакан и звонко ударила о стакан хозяина. Потом встала и мягко пересела ему на колени. Карасай, чувствуя под руками горячее податливое тело,

крылся бородой в теплую шею. Корявые лапы его не умели ласкать, но старик был еще крепок, а близкий шепот женщины, ее полная рука, обхватившая его за шею, окончательно помутнили разум. Пальцы Карасая стали будто каменными.

— Господи, какие у тебя жесткие волосы,— бормотала задыхаясь Агашка, и руки ее тоже не знали покоя.— И сам весь твердый... Ка-кой ты...

Никакая сила не заставила бы теперь Карасая выпустить из своих рук обмирающую на его коленях женщину. Но вот Агашка ловким каким-то пеувовимо быстрым движением выскоцила из его писков.

— Постой, я переоденусь. Ты не смотри,— и сорвала со спинки кровати просторный цветастый халат.— А, впрочем, как хочешь. Чего уж теперь скрывать...

И теряющий рассудок Карасай представил вдруг, что перед ним сверкнула прелестница райского сада, о каких поется в тягучих томных песнях старины...

На самом рассвете задремавшая было Жамиш снова вскочила от истошного воя кошек, затевающих свои любовные игры. Она боялась как бы не проснулись от испуга дети. Кошачьи вопли слышали и в пристройке, где жила квартирантка, но там не было никакого испуга, потому что никому из двоих не удалось в эту ночь сомкнуть глаз.

Частые задержки Карасая не остались незамеченными, и скоро Жамиш своими глазами увидела, где это старик пропадает по ночам. Случайное открытие было последней каплей, нереполнившей ее терпение. Гордость Жамиш страдала, однако она не бросила мужу ни слова упрека и всю боль, все унижение пережила наедище с собой.

Карасай был в поселке, когда она собрала свои пожитки в маленький чемоданчик, положила в курдюн немногого вяленого мяса и лепешек. Покидая дом, Жамиш достала свою лучшую, много лет сберегаемую одежду: белую шелковую шаль, черный бархатный камзол и зеленый чапан, украшенный, по обычаю, серебряными застежками.

Размнущаться с мужем ей не удалось,— Карасай прибежал зачем-то домой и в воротах столкнулся с печальной, но разодетой по-праздничному женой.

— Куда это тебя?— грубо спросил он, подозрительно оглядывая пышную одежду Жамиш и особенно чемодан и мешок в ее руках.

— Куда же мне еще? На той тороплюсь,— невесело усмехнулась Жамиш, чувствуя, как горечь многих обид поднимается в ее душе. Сколько страданий вынесла она за всю свою жизнь от этого человека! Опустив поклажу на землю, Жамиш выпрямилась и, может быть, впервые за время совместной жизни прямо и остро взглянула в забегавшие глаза мужа. Она была как молодая сегодня,— высокая, прямая, со светлым прояснившимся лицом.

— Мало ты попил из меня крови за тридцать лет, я все терпела! Никто никогда не знал, что только ты вытворял: ни из соседей никто, ни из домашних... И дети как росли,— ты хоть видел их, хоть о чем-нибудь позаботился? Все тут у меня копилось. Но теперь довольно! Люди хоть к старости набираются ума, пусть ума, так совести, а у тебя, я гляжу... Уж седина в бороде, а каким был, таким и остался! Правду, видно, говорят, что не одно лицо у тебя черное, а и душа. Все нутро!.. Что ты только думаешь о своей голове.

На языке у нее так и вертелось имя бестыжей квартирнанки, но поминать ее Жамиш не стала,— не позволяла гордость.

— Ты что это несешь?— напустился на жену Карасай.— Смотри, разболталась... Кормишь вас, кормишь...

Он осмелел, надеясь, что Жамиш не знает самого главного.

— Опять ты о своем кормлении!— воскликнула она.— Одна у тебя забота... А подумал бы, чем это ты меня ублажал? Всю жизнь экономили, недоедали, все берегли и складывали. А ты теперь... Да падаль я у тебя ела, падаль, что собаки даже не станут...

— Ну так ступай туда, где лучше!— вышел из себя Карасай.— Посмотрю я, где ты найдешь...

— А вот уж это не твоя забота. Но предупреждаю: Халила и Акбоне не троинь. Ты и их в грязь втопчешь. Я их заберу потом, места пам па земле хватит.

— Бери, бери,— забрай всех! Все уходите!— разбушевался старик, толкая жену из ворот.— Чтоб духу вашего не было!

Жамиш скинула его руку и подняла курджун с чаем-дапом. Карасай крикнул вдогонку:

— А постель-то чего оставила?

— Оставь себе, может, подавившись. От тебя мне ни одной ниточки не падо. Слава богу, что от самого избавилась!

Не оглядываясь, не прибавляя шага, она медленно пошла по дорожке к роще. Внучки, игравшие неподалеку, увидели ее и с плачем бросились к ней, подбежали, вцепились в подол. Жамиш присела, утерла и расцеловала их перепачканные рожицы.

— Играйте, играйте, жеребята мои. Я скоро вернусь.

Слезы навернулись ей на глаза, и старушка подплясилась, чтоб ребятишки ничего не заметили.

Провожая жену глазами, Карасай долго стоял и о чем-то мучительно соображал. Внимание его привлек курджун в руках Жамиш. Вдруг что-то толкнуло его в сердце, он сорвался с места и побежал во двор. Дома он бросился к сундуку, раскрыл его и вынырнул на самое дно, разрывая уложенные хорьковые, енотовые и лисьи шубы. Глаза засипали от едкого крепкого запаха нафталина, но старик не успокоился до тех пор, пока не добрался до заветного сундучка, окованного желтой медью. Сундук оказался не тронутым, и Карасай перевел дух, унимая колотящееся сердце.

Он посидел, успокоился, но сознание опасности уж не отпускало его. Мысли старика метались, глаза, прикрытые темными набрякшими веками, перебегали из угла в угол. Он прижал к груди кубышку и осторожным шагом направился из дома. В сарае, темном и пустом, он прошел в дальний угол и взял лопату. Там, куда падал крохотный луч света через дыру в крыше, Карасай стал копать. Земля был мягкой, влажной и хорошо поддавалась, но старик торопился и скоро вспотел. Он сбросил рубаху. Сильно пахло сырой, тронутой прелью землей, давно не знавшей солнца. Вырыв яму, он, прежде чем похоронить сундучок не удержался и открыл его. Вид тугих, плотно сложенных одеял к другой пачке смягчил его взгляд. Сердце забилось ровнее, и Карасай тихо крепко закрыл сундучок. Новый плотный мешок был припасен заранее, старик бережно завернул кубышку и осторожно, словно больного малого ребенка с неокрепшей шейкой поднял на руки...

Квартирантка, давно уже наблюдавшая из коровника за хозяином, увидела, что старик, тряся дряблым отвисшим животом, принялся утаптывать заваленную яму, усмехнулась и неслышно проскользнула к себе домой. Когда Карасай, заправляя рубаху, показался из сарая, она выплынула, встретилась с ним глазами и стыдливо, словно молоденькая невестка, потупилась. Старик крякнул и песемло поправился к пристройке. Женщина пропустила

его в дверь и, едва он вошел, порывисто обвила полной, едва тронутой загаром рукой его морщнистую, будто выдубленную, шею...

Жамиш дождалась попутной машины и забравшись в кузов, не выдержала — оглянулась. За густой завесой пыли сиротливо удалялся одинокий, казавшийся всеми покинутым дом. Старушка вздохнула и закрыла глаза. Там, за спиной, за зеленеющей в степи рощей, оставалась вся ее жизнь: заботы, радости и многие печали. Тридцать лет она делила с мужем добровольное одиночество в этом заброшенном доме. «Теперь не нужна стала,— горько думала Жамиш.— Ах, поздно, поздно что-либо уже менять...»

Запоздалое раскаяние, боль о напрасно пролетевших годах и утраченных навсегда силах помогли ей не заметить долгой и неуютной дороги до районного центра. Она ехала, почти не глядя по сторонам, и в голове ее вились нескончаемые мысли о том, что было и чего уж никогда не вернуть...

### ПЯТЛЯ ПЕСНЬ СТАРОГО КУРГЕРЕЯ

— ...Году в тридцать первом наш аул, прежде разбросанный, съехался наконец в одно место. Тогда мы решили организовать у нас колхоз и дали ему хорошее название: «Жана-Талап». Это как раз тот самый колхоз, который дожил до наших дней.

Но легко сказать — решили организовать. Народ-то испокон веку привык жить в одиночку. Свое, мое — все это уж в кровь въелось. И вот тогда большую работу провели Райхан и шофер Осман. Они съездили в район, поговорили там, разузнали все толком, а когда вернулись, собрали всех, кого только можно. Даже старухи пришли на то собрание, даже молодые женщины. Времена-то совсем другие настали...

Специально на собрание приехал человек из района. Он долго объяснял, что колхозы теперь организуются повсюду и что, в этом-то как раз и заключается большая победа партии на нынешнем этапе. Много говорил человек из района, и многое из его речи чем дальше, тем больше становилось непонятным. Сначала люди толкали друг друга и шепотом спрашивали — о чём это он? — потом умолкли и стали ждать конца. Не может же быть, чтобы в таком важном деле все так непонятным и осталось!

Едва он кончил, парод загомонил, запулем, задвигаясь.

— Колхоз... Это что за слово-то?

— Имя чье-то, наверное...

— Какого-нибудь большевика, видать.

Шум поднялся такой,— голоса не услышишь.

Человек из района начал по столу стучать.

— Уважаемые!— Здесь собрание, а не сватовство. Порядок нужен. Кому что непонятно? Аксакал, что у вас?

Старый Жусуп, ему уж девяносто лет стукнуло, поднялся, опираясь на палку.

— Дитя мое, тут в общем-то вроде бы все понятно. В самом деле, надо нам объединиться и работать вместе. Недаром говорят: «Если шестеро врозь живут, так даже удила потеряют, а хоть четверо, да вместе, так и с неба достанут». Давно пора. Но ведь опять же... «Чем знать тысячу в лицо, лучше узнать по имени одного». Кто этот колхоз такой? Скажи ты нам, растолкуй.

— А-а, понятно. Садитесь, аксакал. Сейчас расскажу. Колхоз — это русское слово. И совсем не имя чье-то. Это значит «коллективное хозяйство». А еще дальше оно будет называться «артельное хозяйство»... Я правильно говорю? — спросил он у Райхан, сидевшей рядом.

— Жусуп-ата,— пояснила Райхан,— колхоз — это два слова: коллектив и хозяйство. Вот сейчас вы здесь слышали, что весь ваш скот будет собран в одно место. Да, это так. И тогда скот уже не будет ни вашим, ни моим. Он станет общим. Мы все им будем пользоваться. Вот что значит колхоз.

— Постойте, постойте,— поднялся кто-то в самой сердцевине.— А если мне захочется прирезать две головы? А другому вдруг десять? Скадал же поднимется!

— Да, да,— поддержали его.— Как тогда?

И зашумели опять, загадали:

— Путаное все-таки дело!

— Да и не с руки казаху. Ну кто, скажи, будет ходить за этим скотом?

— Трудно, трудно...

В общем проспорили мы почти всю ночь, пока не добрались до сути. И тут опять хорошо показала себя наша Райхан.

— Вот вы спрашиваете, кто будет ходить за общеселенским скотом... Так в этом же основа коллективного хозяйства! Человек, которому придется пасти скот, будет но-

лучать плату от колхоза, то есть за каждый день работы ему будут выдавать зерно, масло, молоко. Кто больше станет работать, тот больше и получит. Конечно, тому, кто будет валяться на боку, получать нечего. Дармоедов колхоз кормить не будет. Великий Ленин так и сказал: «Кто не работает, тот не ест». Значит, хочешь хорошо жить,— работай. А чем больше мы все станем работать, тем лучше заживем...

Той ночью мы и решили организовать одно хозяйство. Райхан просто молодцом была,— никогда я не думал, что ее слова так захватят народ. Диву давались наши люди, слушая ее!

— Вот женщина,— говорили,— не за всякого и мужика отдашь!

— В отца вся.

— Ах, жаль, не дождался Султан!

— Если б мужиком была, большим бы пачальником стала!

— Так ее еще с детства видно было...

Меня эти слова будто гладили по сердцу. Смотрел я и не мог налюбоваться своей Райхан.

Ночь шла к концу, когда снова поднялся, опираясь на палку, наш самый седой и почтенный аксакал — Жусуп. Притихли все.

— Братья... Люди... — он повел головой, оглядываясь вокруг.— Я уже в могиле одной ногой. Много видел я в жизни и хорошего и плохого. Всего пришлось повидать. Но жил-то сами знаете как — что бог даст, тем и доволен. Какая уж там жизнь! И вот теперь я вижу — проклятая эта жизнь уходит вместе с нами, стариками. Заберем мы с собой в могилу и бедность и болезни. Пусть остается вам одно только хорошее. И вот теперь, если вы объединитесь в одно хозяйство, сами увидите, насколько крепче станете на ноги. Говорят же: «Если все по разу плонут — будет озеро»... И вот вам мой совет — объединяйтесь. Успехов вам и счастья. Иллехи аминь!

И Жусуп, погладив обеими руками бороду, благословил собрание.

— А что,— тотчас раздались голоса,— и объединимся!

— Руки две, а работа одна.

— Да что там рассуждать? Правильно все!

А когда шум стал утихать, поднялся молчавший до сих пор старый Боташ.

— Спросить можно?

Человек из района милостиво кивнул:

— Конечно, спрашивайте.

— А отказаться вступить в колхоз можно?

Вот тебе на! Ну и Боташ!

— Что вы, аксакал! — сказал представитель из района.— Все за объединение, а вы... Разве один человек пойдет против всех?

Боташ, однако, уперся, стоит как бычок, и то снимет с головы драный свой малахай, то снова натянет. Бормочет еле слышно:

— Года вышли... Стыдно будет, если не стану поспевать за всеми. А новой власти я благодарен. Вон, несколько голов скота мне выделила. Чего еще-то? Попробую уж как-нибудь прожить один. Сам буду работать, сам за все и расплачиваться...

Представитель покашлял в кулак, замялся. Что тут скажешь упрямому старику? Из парода кто-то крикнул:

— А у него вечно так. Все норовит в сторону...

— Господи, да не хочет и не надо!

— Конечно! Чего его упрашивать?

А Жусуп, так тот прямо заявил:

— Ты как верблюд — все на сторону мочишься. Всю жизнью тебя пинали, так хоть теперь бы к хорошему тянулся...

— Не надо ссориться, товарищи,— сказал представитель.— Вступать в колхоз или не вступать — дело добровольное. Силой никто заставлять не имеет права...

— Так вот и растолковать ему это надо! Теперь беднякам равенство, не то что раньше...

— Растолковать? — спросила Райхан.— А чего тут толковать? Ведь ясно же: завтра, когда организуется колхоз, земля вся станет общая. Никакой единоличной земли не будет. Куда он денется? Разве вообще уберется куда по дальше, чтобы не мутить пошапрасину народ!

Видно, допек ее упрямый старик, раз не выдержала Райхан.

Обиделся Боташ.

— Свет мой, я тебя еще такой вот босоногой девчонкой помню. А теперь ты так заявляешь ровеснику своего отца!.. Девушкам-то повежливей полагается быть.

— Ну-ну-ну! — прикрикнул кто-то на старика.— Придерки язык!

— Ты на кого это?

— Иди! Уходи на все четыре стороны...

Но Райхан, не присаживаясь на место, подняла руки и упала зашумевших сородичей.

— Ага,— сказала она старницу.— Я всегда уважала и уважаю ваши седины. Но запомните,— да это не худо запомнить и другим... Кончилось время, когда девушкам нельзя было раскрыть рта. Теперь у женщин точно такие же права. И эти права дал нам Ленин! Так что о старом надо забывать...

— Что она говорит!— ужаснулся Боташ.— Разве я что-нибудь сказал против Ленина? Люди, вы же все слышали...

— Говорите что хотите, аксакал. Но старых порядков не вспоминайте. А то еще находятся люди, которые оглядываются назад. Не хотите идти в колхоз, не надо. Никто вас не заставляет.

Той же ночью, даже не обсуждая, все единогласно постановили, что председателем нашего колхоза будет Райхан. Исполнилось ей в ту пору двадцать один год. Райхан была первой казахской девушкой, взявшей в руки поводья власти.

На следующий день подсчитали, что за хозяйство удалось нам всем собрать. Небогато вышло. На шестьдесят с лишним дворов пришлось около сорока лошадей, быков голов двадцать, пятнадцать коров, да десятка три коз и овец. Весна была, и скотина вышла из зимовки истощенной — еле на ногах держалась. А время не ждало: надо было приступить к работе.

С инвентарем у нас еще хуже оказалось. На весь колхоз нашлось три деревянных сохи. Ни ярма для быков, ни одного хомута. Кнутов даже не было! Свезли на хозяйственной двор четыре разбитых рыдвана, два тарантаса да две арбы. Самое исправное, что нашлось, — это повозка Малжана, но и у той не осталось ни одного целого колеса.

Вот так нам и пришлось начинать...

Вместе с Райхан мы поехали к соседям, в Вишневку, и там помогли нам — дали ярмо, несколько хомутов и кое-какой материал для починки телег. Из кузницы мне в те дни почти не приходилось вылезать: работа-то вся по ремонту на меня легла.

Райхан, надо сказать, тоже тогда досталось, но она словно не замечала усталости. Аульная наша молодежь в ней души не чаяла. Теперь на работу ли, с работы — песнями. И людей стало не узнать, — как праздник какой, что ли... Сильно у нас все переменилось!

Ну, если все рассказывать по порядку, так времени не хватит. Много было всего — и хорошего и плохого. Но только подошла осень, и мы подвели первые итоги. Сена мы накосили, хлеб убрали вовремя. Правда, урожай в том году получился неважный: летом-то засуха свалилась. Но и при этом, когда мы рассчитывались по трудодням, люди что-то получили и па зиму остались с хлебом. Главное же, что я заметил, это какая-то уверенность в колхозниках появилась, и они, может, впервые за всю жизнь стали чувствовать себя на этой земле хозяевами.

А только недолго нам радоваться пришлось. Той же осенью, в сырое, самое промозглое время, когда над степью засвистел режущий ветер, перед тем как завыть буранам, на аул нагрянула неожиданная беда. Из района вдруг пришло распоряжение о налоге, а потом и пошло и пошло: что ни день, то новое постановление, новый налог. Опять потянулись к нам уполномоченные и представители. Зайдет такой человек в дом, раскроет толстенную книгу и пойдет наигрывать на счетах.

— Сколько мяса-то получили? Ага, столько-то. Значит, с вас и причитается... — И щелк, щелк на счетах. Хозяин даже за голову схватится. А уполномоченный ничего слушать не хочет, берет и увозит со двора одну-две головы скотины.

Это налог по мясу. А только уйдет один уполномоченный, в дверь лезет другой — по шерсти. А за ним третий — по маслу. И пойдут и пойдут без конца. Все равно что тучи на осеннем небе — одна другой страшнее и гуще. Тут и налог на кожу, какой-то налог на место, просто налог, продовольственный налог.

У нас уж привыкать стали — как только запылит на дороге со стороны районного центра, знают все и готовятся: за каким-то новым налогом едут. И идут со страхом уполномоченного: кого-то бог пошлет. Больше всех тогда боялись Косиманова, начальника районной милиции. Лет двадцать ему было, не больше, но паршивец, каких свят не видывал. Напялит на голову фуражку, а из-под нее волосенки торчат, как козья шерстка, и важный такой, надутый, ходит, попискивает на всех. Ну как же, больший начальник! Народ в ту пору вообще милиции боялся как пугала, так вот Косиманов и пользовался.

Короче, несколько месяцев всего прошло, а колхоз стал, как оципированная курица. Боясь новых налогов, народ прирезал последнюю скотину. Чтобы мясо не пропало, по-

солили и зарыли в землю. Хоть это уберечь от уполномоченных! И, выходило, правильно сделали, потому что налоги не прекращались, и скоро взять с нас стало совсем нечего.

Помню, услышали мы как-то громкий женский плач. Сильно кто-то убивался, настолько сплошно, что сбежался весь аул. Выскочили на улицу и мы с Райхан. Смотрим — народ бежит к дому вдовы Жаныл. А плач стонет такой, прямо по сердцу режет. Побежали и мы.

Жаныл, гляжу, совсем разум потеряла. Сидит на полу и дерет ногтями лицо, в кровь разодрала. И причитает. А против нее за столом сидят приехавшие из района Косиманов и Карабет. Да, да, Карабет. Он тогда в финансовый отдел устроился, налоговым агентом... У Косиманова привычка была — куда бы он ни приехал, куда бы ни зашел, везде проходит в передний угол и, расположившись как дома, кладет на стол винтовку, начинает ее разбирать. Разбирает и платочком протирает каждую часть. Так и теперь — Жаныл причитает — волосы встают дыбом, а он как ни в чем не бывало сидит себе и чистит, чистит, начищает. Когда мы вбежали, он даже головы не поднял.

— Люди добрые,— плачет вдова,— посудите сами. Раз приехали — корову увезли. Другой раз — трех овец с ягнятами. Одна-единственная коза осталась, чтоб ребенка кормить. Так теперь они и козу хотят увести...

Народ мнется у дверей, вздыхает.

— Ужас, ужас...

— Что делается!

Тут Косиманов завозился, голову поднял и удивился, будто только что заметил всех пас.

— О, побежали. Для вас здесь что — голову приготовили? А ну проваливай! Кого не видели? Меня? Так я к вам еще зайду. Готовьте угощенье. А теперь пошли, пошли отсюда!

Люди боязливо стали отступать, никто слова не скажет. Страшно все-таки: начальство!

Не вытерпела, как всегда, Райхан.

— Товарищ Косиманов, неужели вы не знаете положения дел в нашем колхозе? Все, что можно было взять, уже забрали. Ни в одном дворе не осталось ни копыта! Чего вы добиваетесь? Почему вы не поставите обо всем в известность районное начальство?

Косиманов загляделся на девушку, глаза его замаскались.

— Бикеш, о чём вы говорите? Даже странно слышать... Ну добро бы кто другой! Вы же повторяете слова контры. Уж что-то, а этот-то аул я знаю, как свои пять пальцев. Здесь еще много скота припрятано,— точно, точно. Но Косиманова не проведешь. Я даже из-под земли достану!

Страшные слова он сказал, страшный человек. Бедная вдова, как сидела с разодраным в кровь лицом, так и рванулась к нему.

— На!— разорвала на груди платье.— На, бери! Режь с меня мясо, больше у меня пичего нету!

И в лицо ему, в самые глаза лезет желтой высохшей грязью. Совсем лишился разума человек. Старики, что у двери стояли, прикрылись руками, отвернулись. Но Косиманов и бровью не повел.

— Говори спасибо, что козой отделалась. Но учти — за тобой еще три пуда мяса. Хоть землю рой, а мясо это достань. Да она пам, кажется, еще двадцать фунтов шерсти должна? — спросил он у Карабета.

На Жаныл стало жутко смотреть. Едва только сказал это Косиманов, она вдруг расхохоталась, так и залилась каким-то сумасшедшим смехом.

— Что, что ты затыкать будешь моей шерстью? На голову свою плешившую приладишь?

Вскочила, никто и двинуться не успел, как она сорвала с Косиманова фуражку. И все хохочет, ломается в поясе, пальцами на него показывает. В крови вся, разодраная — жутко!

Косиманов за винтовку схватился.

— Ну подожди! Не я буду, если только не насидишься у меня за решеткой!

Сцепились они. Но тут уж народ опомнился, бросились разнимать:

— Да ты в уме! Отпусти его...

— Ташите, ташите...

— Бедная, бедная. До чего довели!

— Товарищ Косиманов! — неожиданно раздался звонкий голос Райхан.— Как вам не стыдно? Поднимать на женщину руку... Вы что, забыли — теперь не старое время.

Это было словно отрезвление. Остановились все, застыли. Райхан стояла у стены с горящими глазами. Косиманов опустил руки. И мы развели их, утихомирили, разошлись по домам от греха подальше.

Но история эта не прошла бесследно. После того, как из дома Жаныл уполномоченные убрались несолено хлебавши, их больше не пустили ни в один двор. никто с ними не спорил, не толкал в грудь,— просто заперли от них ворота, и все. Лопнуло терпение у народа...

Вечером того же дня перепуганный Косманов созвал колхозное собрание. О чем там кричалось, пересказывать долго, но всех поразил Карабет. Он вылез вперед и развернул широкую, словно подстилку для памаза, ведомость.

— Вот,— сказал он, потрясая бумагой,— здесь все записано. Колхоз «Жана-Талап» рассчитался с налогами лишь на одну треть. На одну треть! А вы навалились на этого человека из милиции. Он что — себе в карман кладет ваше мясо? Или наживается на этом? У него приказ. И приказ самого Голощекина: «Ни одного копыта задолженности,— и без всяких разговоров!»

Зачесались у наших затылки. Недужели и в самом деле такие налоги спускаются с самого верха? Как же жить-то дальше?

Смотрим — наш аульный Шалтык тянет руку. «Ну,— насторожились,— что-то скажет...»

Человек он был сухонький, рыжий и совсем без бороды. Звали его как любителя поговорить, болтуна из болтунов. Заведется, бывало, и жужжит, жужжит, будто надоедливая муха,— нудно так, чуть в сон не кидает. Но должностью своей аульного гордился и надувался от спеси. Както застал его буран в дороге и он, чтоб переждать, завернулся в аул Кандыбай. А тот аул, падо знать, был самый скупой в округе. Другого такого не найдешь. И вот стучит Шалтык во все по порядку дома.— никто не открывает. Кому охага принимать неизданого гостя, готовить угощение? Так ему никто и не открыл. Тогда Шалтык озлился, достал свою печать и давай тискать на каждом окне. «Дескать, вот вам, вот, вот!..» Будто клеймоставил своей печатью. С тех пор о нем только и разговоров, как о придурковатом. Опо, видимо, и на самом деле так...

Поднял, значит, аульный руку и разрешенье получил. Встал и залился, затряс от усердия своей высохшей в кулак головенкой.

— Товарищи, что мы делаем? Государство выделило нам скот, подарило землю, сделало нас равными и свободными. Оно отобрало у баев все и отдало нам. А мы как его отблагодарили? Или забыли старое?.. Раз государство просит мясо — надо дать, раз масло просит — тоже дать. А иначе

че как же? Я, например, для своего правительства душа не пожалею, если надо будет — от себя кусок отрежу!.. И я сейчас заявляю: тот, кто уклоняется от уплаты налогов,— контра. Им не должно быть пощады, никакой пощады! Почему вы им сочувствуете? Как это назвать?

— А вот так! — крикнула с места Райхан. — Вы здесь только болтаете да народ запугиваете. Ищете того, чего у нас давно нет. Кому это нужно? Думаете, власти это нужно?.. Если вы считаете нас за народ, за своих, то почему все, что вы видите и знаете, не докладываете наверху? Ну, хорошо, в районе вас не слушают, — так напишите повыше. А вы только запугивать мастера. Болтаете и сами не знаете что. Помните, неглубокий овраг быстро из берегов выходит. Вот и у вас, как у тех оврагов, — вся сила в злости. А далеко ли вы на одной злобе думаете уехать? Народ не запугаешь. А много стапете пугать, можете глубоко провалиться...

В общем так это собрание и кончилось ничем. Посидели, покричали и разошлись.

Утром, едва Косиманов и Карабет убрались из аула, Райхан сама поехала в район. У кого она там была, с кем говорила — этого я не знаю, но только вернулась наша Райхан с опущенными крыльями. И Косиманов и Карабет, оказывается; обвинили ее во всех смертных грехах. В ауле, по их словам, много припрятанного скота, и жители ни за что не хотят отдавать ни одной головы. Подстрекателем всего этого является якобы Райхан. Вот ведь что наплели, проклятые. Начальство в районе посудило, порядило и постановило снять Райхан с поста председателя колхоза. Рассказывают, что враги наши, все эти Карабеты, люди с черной совестью и душой, больше всего радовались поражению Райхан. «Безрогая коза, — смеялись они, — все рога искала, да без ушей осталась». Обидно, конечно, всем нам было. Что это такое, на самом деле: только было народ начал поднимать голову, как ему снова палкой по шеям?.. Перегиб, как потом оказалось, неправильная политика. Разгул всяких дураков, которые, обрадовавшись воле, вместе того, чтобы острить, стали направо и налево рубить головы...

Кажется, никогда еще нам не приходилось так трудно, как в ту пору. Зиму мы протянули на мясе, которое припрятали заранее. А вот весной, едва лишь сошел снег, голод взял нас за глотку. Мы так и думали, что гибель дошла, не иначе. Кормились тем, что с рассветом весь аул

от мала де велика выходил на старое прошлогоднее жнивье и там, под дождем, под холодным ветром, копался в раскисшей земле, собирая зернышки. Но много ли соберешь, чтоб накормить оголодавший аул?.. Народ по соседям поехал, в другие аулы, чтоб у них хоть чем-нибудь поживиться. Ноказалось, что у нас еще ничего, еще терпимо, а вот там настоящая беда. Это представить только надо, каково приходилось народу!

Поехал как-то и я, и — точно: у соседей совсем плохо. Даже не сравнить с нами! Нам что помогало? Во-первых, у нас Омская область рядом, русские деревни, а в них плохо ли хорошо, но всегда можно картошки перехватить, каких-нибудь овощей. С голоду, словом, не умрешь. И, во-вторых, озер у нас много, штук, однако, около тридцати вокруг только пашего «Жана-Талап». Ну, а если озеро, значит, рыба и птица. А это уж такое подспорье, что можно жить и не жаловаться. И мы, как только дождались тепла, с этих озер и кормились. Все ударились за промысел, — даже ребятишки ставили силики, сети, капканы. Все хоть какая-то добыча!

Посмотрела на такое наше житье-бытье Райхан и, гляжу, в Омск засобиралась. Я не удерживал, не отговаривал — ее дело. Вышли мы с ней в дорогу и шагали целых три дня. В торбу я захватил с собой лишь две горсти крошек курта да немного еремшика. И все, ничего больше в доме не нашлось.

Идти было трудно, — грязь, слякоть, дороги нет, а у нас к тому же и силенок от голода совсем не оставалось. Пошагаем мы с ней, пошагаем, а как завидим озеро — останавливаемся отдохнуть. Воды вскипятим в котелке и пьем, пьем, — хоть живот согреваем. Но вот вышли в Россию и там стало легче. В деревнях картошки полно, и мы стали набираться силенок — откормились.

Проводил я Райхан до самого Шарбак-куля. Как сейчас помню, что она сказала мне на прощанье.

— Отец, я вижу, ты не очень-то одобряешь, что я решила уехать. Поди думаешь, что я испугалась, бросаю вас в беде. Но я не легкой жизни иду искать. И не от трудностей убегаю. Совсем нет! Я хорошо помню, как вы с отцом стояли за народ. Если надо, вы даже байским аулам не давали спуску. Бывало, в драку кидались. Но теперь силой не возьмешь, — не то сейчас время. Теперь голова нужна, знания, — и вот поэтому я ухожу. Мой отец всю жизнь хотел выучить меня, и вы все сделали, чтобы выполнить его

желание. Но этого мало, слишком мало. Я, наверное, до конца жизни буду помнить, как мне недавно пришлось в районе. Ведь кто такой Карабет? Байский выкормыш, вывернувший сейчас свою щубу наизнанку. Мы-то это прекрасно знаем! А вот не могла же я с ним справиться! Не я его, а он меня поставил на колени. И все потому, что я не могла, не умела, не знала, как его разоблачить... Не огорчайся, отец. Если бы у меня был братишко, я никуда бы не уехала, а постаралась бы выучить его. А так... Мы же только с тобой двое остались, больше никого...

Она прижалась ко мне, и я, ничего не говоря, стал гладить ее по густым волосам. Думалось ли тогда, что мы расстаемся так надолго!

Дни стояли погожие, и к вечеру небо очистилось совсем, уступавшая ясная тихая весна. Закатное солнце повисло низко над землей, и наши тени протянулись с обочины дороги далеко в степь. Уходила вдаль одишкая дорога, высоко вверху, купаясь в последних лучах, тоненько заливается жаворонок. Волосы Райхан пахли горячим полуденным зноем, наклоняясь к ней, я чувствовал, что это запах Султана, ее отца, моего давно погибшего друга. Думается все мы, прокаленные за нашу жизнь степным солнцем, навсегда сохранили этот непрестребимый кочевой запах выгоревших волос.

Райхан пошевелилась и подняла лицо. Глаза ее были мокры, слезы блестели, задержавшись на ресницах. Она подняла темную, начинавшую грубеть от работы руку, и вытерла глаза.

— Отец, я, пожалуй, пойду. Не думайте обо мне, не беспокойтесь. Если я сумею поступить на учебу, буду приезжать на каникулы...

Но в уголках глаз, как ни упиралась она, все же поблескивали слезы.

— Хорошо, душа моя. Счастливого тебе пути! Не беспокойся и ты о нас. Не думаю, что у нас будет так же, как пышче... Устроишься, дай знать о себе. В Лизе и без того уж душа еле держится, а если от тебя долго не будет весточки...

— До свиданья, отец. Я напишу.

Я крикнул вслед:

— Пешком старайся поменьше. Чаще отдыхай. А то устанешь...

Что я еще мог ей сказать? Мне боязно было, что она уходит одна, но в то же время где-то в глубине души я гор-

дился такой дочерью. Ведь молоденькие девушки из аулов тогда не то, чтобы в город, а даже от аула к аулу боялись ходить в одиночку. А вот Райхан... И я стоял на дороге до тех пор, пока она не ушла, не скрылась за кромкой далекого леса. Больно было у меня на сердце, когда я провожал ее, но была надежда, что там, в далеком незведомом kraю, ей улыбнется удача, Райхан встретит, найдет свое счастье. Как сейчас помню ее, идущую по дороге: под мышкой белые, сильно попошенные сапожки, за плечами маленькая холщовая торба. Старое голубенькое платье видно было далеко-далеко, и я смотрел как оно, покачиваясь при каждом шаге, становилось все меньше и меньше, пока совсем не исчезло с глаз.

Две ласточки стригли воздух над дорогой, и я видел, как они носились над ее головой, будто заботливые спутники, принявшие вечный обет оберегать ее счастье...

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Осень пятьдесят четвертого года стала в казахской степи первой страдной порой. На всем необозримом пространстве, где по весне застреляли тракторные дымки и зачерпели первые полосы перевернутой земли, теперь переливалось под выгоревшим осенним небом золотистое покрывало созревших хлебов. И снова степь увидела такое много людье, которого никогда не знала. Комбайны, с гусиной важностью плавая в бескрайнем, колыхающемся под ветром море, день и ночь не знали отдыха. Точно так же, без устали, тянулись по дорогам бесконечные вереницы машин, груженных зерном пебывалого урожая.

Накануне уборки Халил наконец сдал экзамены и получил права шофера. На повенской машине он возил хлеб от комбайна на ток, и напряжение уборки было таково, что он совсем забыл об отдыхе. Старательность ли молодого шоффера, замеченная вскоре всеми, а может быть, опыт, полученный в стажерах, но только после первых же недель страды на Доске почета, висевшей у совхозной конторы, появилась и его фотография. Уважение товарищей по работе оказывалось в том, что скопой на слова завгар Морозов неизменно дружески похлопывал его по спище. А давлио ли он заявился в гараж совсем несмышленым парнишкой?..

С головой уйдя в работу, Халил надеялся забыться и

заглушить постоянную боль в сердце. Однако едва выдавалась свободная минута и спадало напряжение, все, что хотелось забыть, вновь приходило на ум, и тогда он не мог найти себе места.

Мать, оставив дом, все лето прожила у родных в Кзыл-Жалау. Старая Жамиш стала часто прихварывать, а недавно разболелась не на шутку, и теперь лежала в районной больнице. Без матери родной дом опустынял Халилу. Если раньше, вырываясь иногда с работы, он находил радость в том, что виделся с Дикой, то теперь не стало и этого — Дика тоже не выдержал и ушел куда-то из дома. Оставалась одна Акбоне, но она в последние дни ходила тихая, замкнутая; встретит Халила, быстро собирает ему на стол, и все это молча, торопливо, будто через великую силу.

Многое изменилось этим летом в доме Карасая, и прав был шофер Оспан, говоривший, что одинокий дом в стени стал похож на сурчипную нору. Янишкина, изредка мелькавшая во дворе, напоминала сурчику, вечно занятую каким-то непонятным делом и почти неуловимую. После того, как ее выгнали из столовой, Янишкина целыми днями пропадала дома, у себя в пристройке, и почти не показывалась на людях. До Халила дошли слухи, что, оставшись без работы, квартирантка не прекратила своего тайного промысла и по ночам варила хмельную бражку. По-прежнему к дому Карасая частенько заворачивали проезжие шоферы, любители выпить. Если бы не Акбоне, Халил давно оставил бы отцовский дом, но он жалел сноху и не мог бросить ее в полном одиночестве.

Сегодня выплатной день, и Халил, получив деньги подъехал к знакомым воротам. Дом казался пустым, хотя было еще светло, — не закатилось солнце. Удивившись, что его не встречают, как обычно, крикливы племянники, Халил пошел к дому. Ленивые собаки, узнав его, даже не поднялись, не подбежали, виляя хвостами.

В большом отцовском доме было тихо, он заглянул во все комнаты. Бросилось в глаза, что гиря от ходиков оторвалась и валялась на полу. Раньше отец обязательно заметил бы такую бесхозяйственность... В доме покойного брата, где жила с детьми Акбоне, его с первого взгляда поразила какая-то нелюдимая пустота комнат. Здесь больше не жили люди. В углу у стены одиноко стояла пустая кровать без постеля. На стене, где раньше висел портрет Жалила, осталось лишь пятно да невыдранные гвозди. Комната походила на покинутую кочевку. Где же Акбоне?

Недоумевая, Халил вышел на крыльце. Он продолжал озираться в пустынном дворе, когда из отдаленного сарая послышался вдруг чей-то приглушенный смех. Кто там мог смеяться? Через конюшню, коровник и курятник Халил стал подбираться к стенае сарая. Он знал, что в сарай вели широкие, специально для телеги ворота, через которые свозили на зиму сено. Но была в задней стенке еще одна дверца, потайная, отцовская. К ней-то и подобрался Халил.

В сарае на узорчатой разостланной кошме лежала квартирантка. Раздетая, в одних лишь трусах и широком атласном лифчике, Япишкина напоминала короткий обрезок старой бересклета. Грязь на солнце, падавшем в широко распахнутые ворота, женщина вольно раскинулась на кошме. Халил узнал подстилку, на которой валялась бесстыжая квартирантка,— эта кошма лежала на кровати матери, на ней когда-то вынесли из дома тело замерзшего в стени брата.

Халил смотрел в щель, видел квартирантку и не мог понять, откуда это доносится глухой голос отца. Из-под земли, что ли? Но если отец где-то здесь, то почему эта женщина раскинулась на материнской кошме без всякого стеснения?

Потом он разглядел в углу сарая открытую яму, в которой обычно сбрасывали с осени зерно. Куча желтой глины была свалена рядом и стояла большая деревянная колода с жидким цементом.

— Агайша... Эй, Айша! — послышался из ямы голос отца и показался он сам: голова, а затем голые плечи. Упервшись в край ямы, он никак не мог выбраться.

— Подай же руку, Айша!

Но квартирантка лишь засияла смехом.

— Тяниесь, тяниесь. Брюхо не пускает? Давай, старайся, может, убавится...

Карасай, пыхтя, оперся на лопату и вылез из ямы. Голый, в черных трусах, он походил на бурдюк из целой шкуры козла. Огромное брюхо его колыхалось при каждом движении. Халил разглядел красные полоски на белых боках, натертые тугой резинкой трусов. Карасай, посмеиваясь, поддергивал трусы то одной, то другой рукой. Стыд, великое унижение испытал Халил увидев своего почтенного отца в таком виде.

Карасай, колыхая брюхом, подошел к квартирантке и неловко опустился рядом. Его морщинистая темная шея и

жирные трясущиеся груди были мокры от пота. Япишина, смеясь, отодвинулась, уступая ему место. Халил отвернулся, потом бросился бежать и, не разглядев в темноте, сильно ударился головой о покосившуюся подпорку.

Подъезжая к складу запчастей, новому недобеленному дому под черной толевой крышей. Халил издали разглядел множество машин и по одному их виду определил, что колопша сделала тысячеверстный пробег. Это прибыло на целину подкрепление, водители с Украины, которых ждали давно. Белесая дорожная пыль лежала на всем толстым жирным слоем, и даже шоферы были насквозь пропитаны ею. Обожженные лица людей заросли щетиной, глаза красивы от бесконечности. Пробираясь к складу, Халил видел, что некоторые так и уснули в кабинах, завалившись в самых нелепых позах. Усталость сморила их, и они не замечали ни палящего прямо в лица солнца, ни пота, стекающего по небритым разомлевшим щекам.

У дверей склада приезжие водители обступили какого-то человека, возвышавшегося над всеми на целую голову, и паперебой выкрикивали, словно дети, теребившие материнской подол:

— Терентий Трофимович, ремень для вентилятора не забудь. У меня уж латаный он, перелатанный...

— Говорят, баллоны новые есть. От моих ничего уж не осталось.

— А тормоза? Тормоза совсем не держат...

В самом складе было темновато и от нагретой крыши невыносимо душно. Резко пахло олифой, солидолом, красками. Возле дверей громоздились пустые рассохшиеся бочки и какие-то ящики, сваленные как попало в кучу.

Плохо видя со света, Халил громко позвал кладовщицу и спросил лампочку для стопсигнала.

— Побыстрее, пожалуйста. Мне некогда.

— Ну, некогда — потом зайдете, — отрезала кладовщица. — Тут тоже не лодыри сидят.

Едва она заговорила, Халил чуть не закричал от радости и удивления, — он узнал Акбопе. Потом он разглядел племянников, игравших в сторонке. Ребятишки, увидев его, бросились навстречу.

— Атей, атей...

И тут, не успев еще как следует поздороваться с Акбопе и расцеловать малышей, Халил увидел Дерягина. Будто

не замечая своего бывшего стажера, великан пробрался сквозь шумную толпу приехавших и, ослабясь, окликнул Акбопе:

— Дорогуша, ласточка... Дай-ка мне быстренько вон тот аккумулятор!

Как всегда, он был павеселе, от него сильно разило водкой и луком. Малыши, прижалвшись к ногам Халила, засмотрелись на пьяного верзилу и притихли.

— Без всяких дорогуш,— обрезала его Акбопе.— И не разваливайтесь здесь, станьте как следует.

— Слушаюсь!— шутливо козырнув, Дерягин даже приселкинул каблуками.

— Бумага есть?— сердито спросила Акбопе.

— Какая еще бумага?

— Для получения крупных частей необходимо разрешение главного инженера или заведующего гаражом.

— Этого еще не хватало!.. Девушка, красавица, ну к чему такую канитель разводить? Выдай — и делу конец.

— У меня нет времени болтать. Идите за разрешением...

— Да какой дурак такие порядки завел?— вскипел Дерягин.— Или я этот аккумулятор себе в задницу вставлю? Придумают тоже!..

— Это уж не мое дело. Кстати, вон главный инженер идет, попробуйте ей сказать...

При упоминании о главном инженере совхоза приехавшие обернулись и увидели немолодую женщину в легкой безрукавке, с седыми аккуратно уложенными на затылке косами. Быстрым стремительным шагом Райхан приближалась к складу, глядываясь в усталые лица гостей смеющимися глазами. Она только узнала о прибывшем подкреплении и была рада приятному известию.

— Товарищ главный,— развязно оставил ее Дерягин,— надеюсь только на ваше великодушие. Помоги же бедному, но не знающему усталости шоферу. Всего лишь один-единственный аккумулятор...

Трезвый, Дерягин обычно избегал встреч с начальством, но подвыпив да еще чувствуя внимание любопытных, он не мог удержаться от кривляния.

Райхан подозрительно приюхалась, и легкая гримаса тронула ее губы.

— Вам не аккумулятор, вам ключи от машины не следовало доверять! Поставьте машину в гараж и отправляйтесь отдыхать. Завтра утром зайдете.

Она все же цепила в нем хорошего шоффера и удерживала себя от резких слов. Но Дерягин, которому теперь море было по колено, продолжал наступать.

— Зачем эти свидания, товарищ главный инженер? Любовные песни с вами нет?

Вокруг сдержанно рассмеялись, и это придало подвыпившему шофферу смелости.

— Разве дочка только есть у вас... Ну, тогда другое дело.

Райхан, сомкнув губы, глядела прямо в хмельные глаза кривлявшегося на потеху публике шоффера. Дерягин не унимался:

— Ах, извините. Я совсем забыл,— ведь вы же у нас старая дева...

Райхан плохо отдавала себе отчет в том, что она делает. Сильная пощечина резко прозвучала в наступившей тишине. Больше всех был поражен случившимся сам Дерягин. Выпучив пьяные глаза, он столбом застыл перед невысокой седой женщиной и держался рукой за пылавшую от удара щеку.

Овладев собой, Райхан обошла пьяного и, прямо держа спину, приблизилась к приехавшим. Лицо ее казалось невозмутимым. Старший из прибывшего пополнения, тот самый человек, который возвышался над всеми, уважительно подстутил к женщине.

— Райхан Султановна, тут вот у нас списочек... Без запасных частей все-таки туговато...

Райхан забрала у него бумагу.

— Все будет, все устроим... Вы молодцы, что вовремя успели. У нас сейчас такое положение,— вся надежда только на вас. Да вы и сами понимаете...

Расстроенная дикой выходкой Дерягина, она не могла говорить и старалась поскорее убраться с глаз.

— В столовой вам приготовлен обед. Вон там, в двух километрах, озеро. Мне кажется, вы сначала хотите помыться с дороги, привести себя в порядок, а уж потом, во всей как говорится форме... По бригадам мы вас распределим завтра,— сегодня можете отдыхать. Какие будут претензии,— заявляйте своему руководителю. Товарищ Петухов, завтра в девять ждем вас со списками в конторе. Ну, а сейчас — приятного аппетита и приятного отдыха.

Шумной гурьбой приехавшие направились к запыленным машинам и скоро колонна вытянулась по дороге на озеро.

С началом жатвы стало совсем не до сна. Чтобы объехать все бригады и отделения, Райхан приходилось отправляться в путь на заре, и часто получалось, что побывать везде, где она намечала, за день так и не удавалось.

Жила она по-прежнему в колхозе «Жана-Талап», хотя он давно уже стал отделением нового совхоза, и Райхан предлагали дом в центральном поселке. Против переселения на новое место запротестовал отец, старик Кургерей. Ему не хотелось отрываться от родных и знакомых и вообще покидать обжитое место.

— Сейчас же машины,— сказал он дочери,— долго ли тебе доехать, куда надо? Ну, если уж придется туда, тогда... А сейчас не будем и говорить.

И все осталось, как было.

Проезжая как-то мимо дома шофера Оспана, Райхан вспомнила его мать Камиш, дочь старого Жусупа, ровесницу Слу-Мурта. Девчонкой Райхан часто бывала в этой семье, и Камиш любила ее, как родную.

Райхан попросила шофера остановиться и пошла в дом. Жена Оспана умерла два года назад, оставив троих сирот; старшей из детей Куляй недавно исполнилось тринадцать лет.

Дом без хозяйки заметно приходил в запустение. Во дворе было прибрано, но в комнатах чувствовался беспорядок, отсутствие заботливой женской руки. Сильно пахло самодельным мылом, и Райхан, присмотревшись с порога, увидела посреди комнаты кипящий на треноге котел. Дочка хозяина Куляй стирала в тазике белье.

Заметив гостью, девочка бросила кусок темного мыла на груду мокрого белья и поднялась. Комната была наполнена паром, и Райхан не сразу разглядела остальных двух малышей, которые сидели на полу за низеньким круглым столом и с увлечением резали ножницами бумагу. При виде незнакомой женщины они бросили свое занятие и притихли.

Когда Райхан поздоровалась, из-за большой пебеленои печи показалась согнутая фигура. Это была старая Камиш,— Райхан сразу узнала ее. Старушка приставила к глазам высохшую руку, пытаясь разглядеть гостью.

— Здоровы ли вы, апа?— спросила Райхан, подходя ближе.

— Спасибо...— прошамкала старушка, никак не узнавая, кто это пришел.— Что-то не узнаю я... Проходи, проходи.

Райхан горестно покачивала головой, глядя, что делает с людьми время. Она еще помнила Камиш красивой, полной женщиной. Сейчас перед ней стояла подслеповатая высохшая старуха с провалившимся ртом.

— Апа, это я, Райхан...

— Жеребеночек мой, — неожиданно сильным голосом заголосила старушка и, перешагнув через груду белья, припала, прижалась к гостью головой. — Пришло и мне время увидеть тебя...

Ожидая, пока Камиш наплачется и отведет душу, Райхан гладила ее худые слабенькие плечи и украдкой смахивала слезы.

Каждая встреча в родных местах неизменно заставляла вспоминать минувшие годы и сладко становилось тогда на исстрадавшемся сердце и больно.

Маленький трехлетний ребенок, спавший на полу, испугался причитаний и громко заревел. Женщины разнялись.

Усевшись, Райхан стала расспрашивать о здоровье, о том, как приходится без хозяйки.

— Чего уж... — махнула рукой Камиш, — какая теперь жизнь, какое здоровье. Молю бога, чтобы дал силы поставить на ноги вот этих галчат. Хорошо Кулай подросла, помогает мне...

Приласкав затихших детей, Райхан раздала конфеты в красивых обертках. Старая Камиш ласковыми глазами разглядывала неожиданную гостью.

— Значит, вернулась, не осталась там... Верно раньше говорили: у кого рот гнилой, от того и пахнет. Чего ведь только не болтали, сколько тебе пришлось вытерпеть!.. Сейчас, я слыхала, тебя хвалят. Все хвалят: и русские и казахи. Удачи тебе, доченька, пусть все будет хорошо!

— Спасибо, апа! — проговорила Райхан, поднимаясь с места и снимая жакет. Она засучила рукава и присела к тазику рядом с Кулай. — Дай-ка я... А ты нагрей побольше воды. И давай все грязное, что у вас накопилось. Давай, давай, неси!

Девочка нерешительно разогнулась и уставилась на бабушку.

Камиш запротестовала:

— Брось, дочка, брось, запачкаешься только. Сами как-нибудь достираем. Кулайжан, тетя наш гость. Беги скорей, подбрась чурок в самовар: Будем угощать...

Но Райхан не пустила девочку и настояла на своем.

— Ничего со мной не случится, апа... А с тобой, Кулай, мы сегодня наведем во всем доме порядок.

Устав от бесконечных разъездов поbrigадам и отделениям, Райхан, едва занялась домашней работой, забыла и про сон. До вечера она перестирала все, что накопилось в доме,— даже черное, испачканное в мазуте белье Оспана. Убирая с разгоряченного лица волосы, она с удовольствием развешивала во дворе трепещущее по ветру детское тряпье, а когда принялась купать ребятишек, почувствовала насколько приятны ей эти чисто женские домашние заботы, которых она была лишена в жизни...

Вечером в доме Оспана ее и разыскала мать, Лизашей. Опа еще днем видела спускавшуюся к поселку знакомую машину дочери, но когда «газик» завернулся к Оспану, она подумала, что обозналась. Напрасно прождав до сумерек, старушка не выдержала и пошла справиться. Недобрая весть, терзавшая ее с утра, не давала ей покоя.

Шоферы, съехавшиеся на обед к полевому стану, качали Оспана. Подлетая на крепких, не знавших устали руках, Оспан смешно дрыгал ногами и кричал, чтоб его отпустили. Наконец он ступил на землю, мотая головой и направляя в брюки вылезшую рубашку. Кружилась голова, Оспан не узнавал знакомых лиц.

Под брезентовым навесом за большим накрытым столом он увидел директора совхоза, сидевшего в окружении каких-то незнакомых людей. Парни, качавшие Оспана, приблизились.

Федор Трофимович встал, не выпуская из рук газеты.

— Товарищи, у меня всего пара слов. На большие речи просто времени нет...

Директор сказал, что их совхоз пока идет на первом месте по уборке и что большая заслуга в этом именно их, шоферов. В сегодняшнем номере областной газеты подхвачен передовой почин лучшего шо夫ера совхоза Оспана Жилкайдарова, первого на целине взявшегося работать с пятью прицепами.

— Вот, сами смотрите. И портрет!

Газета пошла по рукам, Оспана толкали, хлопали по спине, поздравляли. Директор долго тряс его крепкую, с короткими пальцами руку.

Кто-то из шоферов, приехавших из соседней республики, сказал ему по-киргизски, обнимая и уважительно заглядывая в глаза:

— Желаешь, земляк, славы высокой, как Ала-Тоо!

Газета пошла к Оспану, и он с удивлением засмотрелся на собственный портрет на первой странице. Неизвестный фотограф снял его в кепке, улыбающимся; за его спиной виднелся ЗИЛ с пятью прицепами. «Смотри ты, и сам и машина!» — никак не укладывалось в голове Оспана...

Вечером на ток приехал кассир, и Оспан еще раз испытал, что значит заслуженное уважение: когда он появился, очередь расступилась, давая ему дорогу к столу.

— Проходите, проходите.

Большой огрубевшей в работе рукой Оспан осторожно взял тоненькую ручку и склонился над столом. Палец кассира указал, где надо расписаться.

В прошлый раз Оспан не сумел получить денег, и сейчас причитающаяся на руки сумма удивила всю очередь.

— Вот эта да!

— Министр столько не имеет!..

— Работай с пятью прицепами — и у тебя будет столько.

— Пятью.... А ты возьмись-ка, попробуй. Ты хоть с двумя-то пробовал?

— Да-а, легко сказать... Тут пробовали у нас, так с места не тронулись.

— Чего говорить! Не знаешь, лучше не берись.

Оспан и сам удивился, — столько денег он еще никогда не держал в руках. Он неловко рассовал их по карманам и, выбравшись, направился к автобусу с красными полосами — автолавке.

Юркий татарин-продавец ловко сновал в великой тесноте своего битком набитого магазина. Выкладывая необычному покупателю все, что было на полках, он с увлечением щелкал на счетах. Оспан просил подать еще и еще. Для Камиш он взял синий бархатный чапан и безрукавку из вельвета. Детям он вообще накупил всего без разбора. Казалось, в лавке не осталось ничего, на чем не остановились бы его глаза.

Уложив покупки в кабину, он попрощался с бригадой.

— Смотрите, завтра, как всегда, с рассвета. В четыре, чтоб все были на току. Заправьтесь сегодня и прицепы проверьте. Да не гуляйте долго, — опять неделю не будет отгула. Придется возить и днем и ночью. Лучше выспитесь, чтоб не зевать за рулем. А девчонки от вас и потом не убегут...

За неделю, что он не был дома, Оспан соскучился по малышам, по матери, и теперь нетерпеливо гнал машину. Это было привычное состояние тоски по дому, так бывало всегда, когда подолгу приходилось задерживаться в поездках. Раньше, скитаясь по дорогам в одиночку на своей заштатной полуторке, Оспан не знал, чем скрасить свою тоску по родным. Но вот он стал работать в совхозе и увидел, что тоска по оставленным дома людям владеет всеми и каждый пытается хоть чем-то смягчить боль расставания. Молодые ребята оклеивали кабину фотографиями девушек из журналов, и вначале, насмотревшись всех этих недоступных красавиц с распущенными волосами, сильно обнаженных, с длинными, будто куруки, шеями, Оспан осуждал молодежь за легкомыслие, и лишь впоследствии понял, что заставляет шоферов украшать свои кабинки. Он повесил перед собой фотографии своих малышей и сразу же почувствовал, что расставание стало даваться ему легче, будто это они сами, живые, крепкие и неуемные, постоянно перед ним. И у него скоро стало привычкой, находясь в дальнем рейсе, вести машину, взглядывать в улыбающиеся мордашки малышей и вести с ними вслух долгие задушевные разговоры. Так было и теперь. Умиротворенный пустынной вечереющей дорогой и монотонным гудением мотора, Оспан посматривал в глазенки детишек и рассказывал им о сегодняшнем торжестве на полевом току, куда специально приехал директор совхоза, приехал сам и привез газету...

Он подъехал к дому и увидел мать Райхан, входившую в калитку. Они встретились, поздоровались и пошли в комнаты вместе.

Старушка обрадовалась, увидев дочь.

— А я уж все глаза проглядела.— Она подошла и поцеловала Райхан в лоб.— С утра хотела разыскивать... вать...

— Что случилось, апа?— она видела, что мать чем-то встревожена.— Зачем я понадобилась?

— О, говорить даже не хочется. Отец со вчерашнего дня в рот ничего не берет... И за что только на нас напасть такая? Когда это кончится? Думали хоть теперь пожить спокойно,— так нет...

Засунув руку в глубокий карман надетой поверх платья бархатной безрукавки, она достала вместе со связкой ключей какую-то бумажку и протянула дочери. Райхан и Оспан, встревоженные взволнованным лицом старушки,

сомкнули головы и принялись читать. Глаза Райхан бежали по косо сбегающим вниз строчкам, по чём дальше она читала, тем спокойнее становилось ее лицо. Прочитав, она задумалась, держа листок в руке, потом увидела тревожные глаза матери и засмеялась:

— Ерунда, мама. Собака лает, а караван идет... Бесконечность не о чём.

Но мать видела, что печаль так и не отпустила сердца дочери, и на душе у нее неспокойно. Как бы вспомниая, Райхан незаметно взглянула на письмо, пробежав какое-то место.

Это была жалоба в райком, и Райхан теперь припомнила, что, действительно, случай, о котором рассказывалось в письме, произошел в их совхозе,— произошел недавно, в начале жатвы, когда они встречали двадцать семей, приехавших из Белоруссии. Она даже день вспомнила, когда это случилось,— серенький такой прохладный денек, вечерело, только что прошел песчаный рассеянный дождик, чуть прибивший на дороге пыль.

Райхан вместе с директором совхоза обходила палатки, в которых временно поместили приехавших. Похоже было, что люди приехали навечно, с семьями: дети, старики, хозяйство. За старшего у них был высокий представительный старик. Райхан на глаз дала ему не больше шестидесяти лет.

— Мы тут все из одного места,— рассказывал старик.— Лежать не привыкли. Хорошо бы с завтрашнего дня распределить нас по местам.

Разговаривая, он обращался к Моргулу, а па Райхан лишь взглядывал, словно определяя, чем она может заниматься в таком огромном хозяйстве.

Плохо слушая старика, Райхан все тревожней поглядывала в сторону самой крайней палатки: там из последних сил закатывался ребенок...

— Ну, хорошо,— произнес Моргун,— списки ваших людей у нас есть. Мы не завтра, а сегодня же ночью решим, куда вас поставить... Кстати, очень хорошо, что молодежь у вас все механизаторы!

Он кивнул старику головой, приглашая его за собой, и направился к палатке, в которой плакал ребенок.

— Только вот что,— квартир всем сразу не обещаю. Семьям, в которых есть дети, старики, найдем по комнате, а остальным придется пожить в палатках. Ну, а что касается остального,— пожалуйста. Что вам требуется?

— А чего... Ничего не требуется,— солидно ответил старик.— Всем вроде довольны.

— У вас грудные дети есть,— вмешалась Райхан.— Слышите, как надрываетя. У нас врач есть, можно вызвать.

— Да нет, он не больной. Здоровый просто уродился, а у матери молока не хватает. Алешкин это Новика малый, первенец...

Деродная крепкая старуха, показавшаяся из палатки, сдва подошло начальство, стала жаловаться:

— В дороге, пока ехали, все время покупали молоко. Ну уже, думали, на месте-то... А тут, оказывается, и в магазине его нет! Вот и поим из соски чайком. Тут и не ребенок закричит...

Прияя к сердцу жалобу величественной старухи, Моргун вечером того же дня предложил в конторе выдать каждой нуждающейся семье по корове.

— А что? Стоимость будем удерживать из зарплаты. За год рассчитываются... Зато дети у нас будут с молоком!

Желающих приобрести корову оказалось много. Райхан распорядилась, чтобы из бывшего колхоза «Жана-Талап» привезли тридцать дойных коров. Распоряжение главного инженера было выполнено, и Райхан за делами совсем забыла об этом случае. И вот теперь держала в руках жалобу бывших колхозников, людей, с которыми много лет прожила бок о бок.

Забрав у Райхан письмо, Оспан медленно стал читать, с трудом разбирая косые караулки.

«Мы,— писалось в заявлении,— с радостью согласились, чтобы колхоз наш переименовался в совхоз. Но мы никогда не думали, что новая власть нас так обидит. Наш скот мы собирали еще с тридцатых годов, берегли его пуще глаза, ухаживали за молодняком. И колхоз наш гордился многолетием скота. Даже в голодные годы, когда приходилось растаскивать на корм крыши, мы не тронули ни одной головы. А вот теперь, когда мы еще не успели обжиться в совхозе, некоторые руководители, пользуясь своей властью, грабят наш скот, растаскивают наше добро. Мы ухаживали за скотом, как за детьми, и нам больно видеть, как прощадает наш многолетний труд. И мы протестуем против такого грабежа...»

Впизу письма Оспан разобрал: «труженики совхоза» а еще ниже была всего одна подпись — муллы Ташима.

— Это Карабета дело,— сказал Оспан.— Больше никто не мог.

— Кто его знает,— произнесла задумчиво Райхан.— Надо было все же собрать тогда в «Жана-Талап» людей и разъяснить им. Мы же скоро получили из Латвии двести голов породистого молодняка. Стадо у нас будет — вообще такого никогда не бывало!.. А мы не собрали, не поговорили с людьми. Забрали — и все. Пожалуй, ошибку сделали...

— А чего разъяснять?— возмутился Оспан.— Завтра же соберемся и все обговорим. И ответную жалобу пошлем. Сколько этот Карабет будет мутить? Нечего ему воли давать. Я бы на вашем месте...

— Нет, нет,— запротестовала Райхан,— собираясь никто не будет. Совесть надо иметь. На кого жалобу-то писать? На Карабета? Он и без того доживает последние дни. Связываться еще с ним...

— Пока он жив,— настаивал Оспан,— он еще не одногобольет грязью. Таких не жалеть надо, их бульдозером надо корчевать!

Райхан рассмеялась.

— Прибереги бульдозеры для чего-нибудь получше... Плюнь и забудь.

Недовольный Оспан умолк, но Лиза-шешей, внимательно слушавшая весь спор, не вытерпела и заметила дочери:

— Оспан правильно говорит. Сколько можно терпеть от этого злодея? Всю жизнь от него одна грязь...

— Ты посмотри только!— оживился Оспан, снова принимаясь за письмо.— Ведь напишет же!... «Даже в голодные годы, когда приходилось растаскивать на корм крыши...» Бесстыжие люди! Ни капли совести! Неужели они думают, что мы забыли, как Ташим обирал своими молитвами людей, а Карабет не унимался и только знал, что рыть могилы живым?.. Ну, подождите!

И Райхан и тихо слушавшие старушки скорбно покачали головами, задумчиво сощурив глаза,— горячие слова Оспана напомнили им о многом...

## ШЕСТАЯ ПЕСНЬ СТАРОГО КУРГЕРЕЯ

— ...В тридцать седьмом году зима выдалась особенно снежной; и колхозной скотине пришлось шелегко. Обычно

в наших местах все время дуют ветры, снег уносит, и скот выгоняют на подножный корм,— большое подспорье зимой. Однако в том году снег как лег, так и остался лежать толстым плотным слоем.

К весне в колхозе не осталось и соломинки. Мы даже крыши растащили, чтобы только поддержать отошедшую скотину. Дворы у нас так и стояли раскрытыми,— одни стропила торчали.

Едва началась оттепель, мы стали снаряжать по трое-четверо сапей па места прошлогодних сенокосов,— может, осталось еще что под снегом. Луга не очистились, но ждать больше не было мочи. Утром, едва солнце тронет смерзшуюся корку, сани выезжают в поле и люди граблями, вилами выковыривают стылые клоочки соломы и сена. Снег уж стал повсюду браться водой, но по почам мороз сковывал все так плотно, что отодрать клоочек сена не хватало силы. Воткнешь, бывало, вилы и ломаешь, ломаешь через колено, чтобы отодрать. Куда там! Только ручка трещит. Жалко станет ломать,— отбросишь вилы и за грабли береешься. Бьешь да теребишь... Потом не раз умоешься, пока отковырнешь хоть что-то. Так, по травянке, по клоочку, и накидаешь чего-нибудь в сани. Навильников десять удается если побрать — хорошо. А надолго ли эти десять навильников оголовавшей скотине? Только привезешь,— раз, и нету. На следующий день опять собираясь в поле...

Мучила нас и дорога. Еще утром, когда подстыло все, проедешь хорошо. А вот назад возвращаешься—сплошная мука. Снег, как каша, вода стоит,— быки иногда по грудь проваливались. А ведь еще и сани надо тащить. А что может быть тяжелей мокрой соломы? Жалко смотреть на скотину. Ступят быки шага три-четыре, глядишь — у передка уже гора снега нагреблась. Полозья по земле скрипят, быки жилы прямо рвут, пена изо рта. Не смотрел бы. А ехать надо. И вот идет кто-нибудь впереди сапей, тянет быков за рога, другой в это время сани толкает. Выбираться как-то надо, иначе все тут застрянем!.. И часто случалось, что бык тужится, тужится, да и свалится набок. И тут его хоть режь на куски. Иной схватит камчу и нуолосовать его,— по хребту, по бокам: только шерсть летит. Бык дернется, вскочит, но шаг, другой — и спина мордой в снег. И глазами так на человека смотрит, будто сказать хочет: «Дескать, чего же ты меня мучишь? Сам же видишь...»

Стопим мы тогда, ждем, пока отдышился бедняга. А сырость, ветер, гниль — до костей пробирает.

Как-то выпало мне ехать с молоденьким парнишкой. Мы тогда специально так подстroppали, чтобы с малосильным кого-нибудь покрепче посыпать, — меня, Оспана, или еще кого... Ну, надергали, как водится, полные сани, стали к дороге пробиваться. Пока выбрались, у бедного быка язык на аршин вылез. Но выехали па дорогу, стало легче. Саны пошли скоро, я шел рядом с быком и, не помню уж почему, раздумался о всяком, и Райхан свою вспомнил. Огнес недавно письмо было, пишет, что копчила в Омске сельскохозяйственный институт и направляется куда-то в наши края. Мы с Лизой очень обрадовались этому, и не было дня, чтобы не заглядывались на дорогу. А ну, думаем, приедет... И хоть соседи говорили, что ей теперь не до нас, она ученый человек и место ей в самой Алма-Ате, у нас со старухой было какое-то предчувствие, что Райхан не забыла своих. Ни нас, ни родных своих мест. Не могла она забыть!...

Так оно и оказалось.

Едва мы с парнишкой вытянули воз на бугор, слышим — впереди, там, где поселок, какое-то тарактенье. Сейчас-то в этом ничего удивительного нет — вон сколько машин кругом, а тогда это нам показалось диковинным. Что там могло быть?.. Остановились мы, скоро к нам еще подъехали. Собрались, слушаем и понять не можем.

— У нас, в ауле... — говорит кто-то.

— Откуда?.. Кто?..

Оспан даже на землю лег, ухом приложился.

— Большая машина, — сказал он, поднимаясь.

— Брось, какая еще машина! Сейчас ни на чем не предешь. Смотри, что делается по дорогам...

Заторопили мы быков, сами пошли быстрее. Каждому не терпелось поскорее добраться.

Скотный двор находился на самой окраине. Только показались мы с поля, как навстречу нам понеслись ребятишки. Ну, ясно стало, что новость какая-то. С ребятишками, как заметил я, старушонки бегут, тоже торопятся. У меня так и подобралось все: не зря же они летят к нам, как угoreлые!

— Суюнши, Кургерей!.. Суюнши!

— Кургерей-ага, мое суюнши! Я первый!

— Райхан приехала!

— Трактор привезла...

Облепили меня, оглушили,— ничего в разум взять не могу. Потом дошло до меня, я выбрался как мог и понесся к дому. И про быков, про сено забыл.

Рассказывали потом, что скакал я, как жеребенок, даже мальчишек обогнал.

Возле дома уж толпа собралась, но я никого не вижу, не замечаю,— одну лишь Райхан. На ней короткий полу-шубок с белой оторочкой, черные валенки и пуховая шаль. Увидела меня, рванулась, повисла на шее. А я в грязи, в поту,— черта страшней. С бороды что-то течет... И вот тогда, впервые в жизни, я заплакал. И тоже не пойму,— отчего это случилось? Бывало, попадали мы со Слу-Муртом в такие переделки, что слез бы за всю жизнь не хватило. Но никогда ни слезинки. А вот теперь... И ведь как расплакался-то? Слезы прямо градом,— не унять, не вытереть. Вот чем стала для меня Райхан, дочь моего погибшего друга.

Лиза моя тут же крутится, никак нас разнять не может.

— Хватит, хватит,— говорит,— обо мне-то забыли?

Тоже рада-радешенька: дочь приехала, родной человек...

Многое изменилось за это время в Райхан, но первое, что я заметил: запах волос. Целуя ее в прямой пробор посреди головы, я уловил еле слышный аромат машинного масла. Новый, неведомый для наших краев запах, и принесла его Райхан, дочь моя и Слу-Мурта,— наша дочь. Помнится, меня тогда распирало от гордости, и мне казалось, что нет вокруг человека, который не завидовал бы мне. Что же касается мальчишек, то они не отходили от трактора, и непонятно было, откуда у них, отроду не видевших никакой другой техники, кроме телеги и выюка, такое стремление, такая любовь к новизне. Мальчишки нашего аула спали и видели себя на сиденье этой сильной, певиданной у нас машины. Все это было заслугой моей Райхан, она привнесла в наши далекие края свежее дыхание большой страны, и я чувствовал себя на седьмом небе от гордости и счастья...

В честь приезда дорогой гостьи в ауле устроили праздник. Райхан, правда, пробовала возражать, но старики настояли на своем, не дав отступить от обычая, и для угощения зарезали самую упитанную, какую только нашли, кобылу-трехлетку. Когда стали съежевать тушу, Райхан поманила меня и отвела в сторону.

— Я вижу, народ стал жить получше,— сказала она.— Но что со скотиной? Джуут?

Я хотел было сказать, чтобы она не забывала себе голову в первый же день, забот еще хватит и на ее долю, но промолчал и повел ее на баз. Своими глазами она лучше все увидит и поймет.

Трактор все еще стоял возле нашего дома, и вокруг толпился народ. Взрослые, как малые дети, не могли оторвать от него глаз и норовили хоть пальцем, а прикоснуться к диковинной машине.

На скотном дворе мы застали Оспана, он ходил с вилами в руках и распределял привезенное с полей сено по кормушкам. Мало мы привезли сегодня, и трудно приходилось Оспану. Попробуй-ка накормить такое стадо нескользкими охапками!

Провожая Райхан на баз, я никогда не думал, что сй в этот раз доведется увидеть все наши несчастья. А так получилось... Едва мы пришли, Райхан сразу же обратила внимание, почему это сбегаются в угол все, кто были па дворе. Бросились и мы за всеми следом. Тощая черно-белая корова с огромным животом неуклюже лежала на боку и, дергаясь, пыталась подняться. Я, как взглянул, сразу определил, что корова свалилась от голода. Она силилась поднять хоть голову, кто-то второпях сунул ей прямо в морду пучок привезенного сена. У ней не оставалось сил жевать, она закатила глаза и уронила голову прямо в грязь.

— Нож давайте!..

— Конечно, хоть на мясо прирезать!..

Корова захрипела, вытянула шею и мы увидели закусенный язык. Потом она дернула заданным копытом и затихла, замерла...

Мы обошли весь двор и всюду нашли печальную, безрадостную картину. Помещение без крыши протекало, и скотина стояла по колено в грязи. Несколько коров уже не могли стоять и свалились прямо в грязь. Чем они только жили,— кожа да кости!.. Им бросили несколько клочков прелого сена, они, не вставая потянулись, но быки, следившие голодными глазами за раздачей корма, мигом набросились и не дали несчастным даже попробовать. В помещении было много молодняка, и пока Оспан разбрасывал сено, животные дрались рогами, сильные были слабых, чтобы завоевать лишний кусочек еды. Тут же, при нас, несколько отощавших телят упали в грязь и не поднялись.

С овцами было еще хуже. Те, что дожили до весны, стали похожи на драных кошек. Шеи тонкие, шерсть клочьями, и все кашляют не переставая. Многие заразились паршой,— от них так и несло каким-то кислым гнильным запахом. Сейчас их спасение было в том, чтобы скорей попасть на выпас,— но куда их погонишь, если в степи еще снегу и воды по пояс?

С базы Райхан вернулась мрачнее тучи. Куда девались веселость, улыбка, смех? Будто постарела сразу. Мы шли с ней вместе и до самого дома не промолвили слова.

Вечером собрались гости,— во всех трех комнатах не протолкнуться. Там, где была молодежь, пискими голосами загудели домбры, чей-то высокий голос затянул песню. Мы сидели в передней комнате — бригадиры, заведующие фермами. Хоть тяжело у всех на сердце, но о делах не говорят, не положено. Я посмотрев на Райхан. Она первой завела разговор о положении дел в колхозе.

— Я еще по дороге слышала, но то, что увидела сегодня... Тяжело, очень тяжело. Слов нет, люди стали жить лучше, но скотине-то каково? И вы думаете спасти поголовье тем, что ковыряетесь сейчас в поле? Смешно. Если уж осенью не хватило ума запастись кормом на всю зиму, то что же вы сделаете сейчас?

Наступило молчание, потом кто-то покаянно закряхтел и поскоблил затылок.

— Да, вообще-то верно...

— Эх, собери мы осенью все сено! Сейчас бы жили и в ус не дули. Так у нас всегда — спохватимся, да поздно...

— Теперь кайтесь, не кайтесь,— говорила Райхан,— толку все равно мало. И ваши эти четыре жалких воза, которые вы наскребаете, они тоже не спасение.

— Но что-то делать надо!

— Надо,— сказала Райхан.— И мы будем делать. Мне кажется, ничего с пами не случится, если мы не посланы две-три ночи. Ведь так?.. У вас есть умелые люди, я знаю — отец много может сделать. Надо построить одни большие сани. Видели сани, которые притащил трактор? Так вот, пами сани должны быть втрое больше. Пока будут делать сани, человек десять, которые покрепче, падо послать в поле собрать все оставшееся под снегом сено. Нечего теребить по клочкам да мучить по грязи быков. Когда сено будет собрано, трактор с санями все это возьмет разом и подбросит к базе...

— А что, дельно!..

— Так, боже мой, сколько же может утащить один трактор?

— Не беспокойтесь,— сказала Райхан.— Собирайте стог побольше. Сразу возьмем!

— Пай, пай, вот это силища!

— А полозья?— крикнул кто-то.— Разве Кургерей успеет выковать полозья?

Но на него обернулись и зашикали.

— Нашел о чём! Да зачем тебе железные полозья?

— Говоришь и сам не знаешь что!..

Сидел среди нас не слишком еще преклонных годов старикан, плотный, почти квадратный. Года два он возглавлял наш колхоз, но по болезни вынужден был уйти и теперь безвылазно пропадал дома. Старик долго слушал все наши разговоры, потом не выдержал и высказал опасение, что сани-то мы построим и трактор у нас есть, но паберем ли мы в степи достаточное количество сена.

— Да что вы, уважаемый,— подал голос какой-то шофер.— Зайдите-ка с той стороны Камысты-коль. Там прошлогодних копен видимо-невидимо. Лишь бы пробраться туда да вывезти...

Однако Райхан отметила, что в опасении старика есть доля правды. Непогода может продержаться еще неизвестно сколько, и корма попадобится много. Хватит ли того сена, что осталось под снегом?

— В районе я познакомилась с председателем соседнего немецкого колхоза имени Тельмана. У них еще много сена, можно сказать — излишки...

— Ой-бой, о них что говорить! Немцы народ хозяйственный. Они не по-нашему сено запасают...

— Помолчи! — прикрикнули на него.— Ты что, сегодня только узнал об их хозяйственности? Дай послушать человека.

И Райхан продолжала:

— Я говорила с председателем, и он обещал нам в долг немного сена. Можно хоть завтра ехать. А летом вернем...

— Да лишь бы дали! А летом вдвое больше отдадим. И не ждать, пока напомнят.

— Отвезем, отвезем. Сами отвезем и сложим!

— Ты смотри какой бойкий! Где ты только летом был?

После праздничного обеда той же ночью собралось пас человек пять, и отправились мы мастерить сани. До самого утра пришлось повозиться. Но управились. Конечно, сани

получились совсем не такие, что таскают нынче трактора, однако выезжать было можно. И вот утром, по морозцу, застрелял наш тракторишко, загрохотал, и потянулись мы к далекому озеру. Из домов народ повыбегал, глазеют все, кричат что-то, рядом бегут, и только собаки во всем ауле перепугались и попрятались: никогда еще не видели такого страшилища!

Хоть мы вчера и рассчитывали на легкую удачу, а по-мучиться все-таки пришлось. Апрель ведь он какой — будто скотина: с одной стороны шерсть, с другой — рога. Выезжали утром — было солнечно, а как до озера добрались — снег повалил. Человек двадцать у нас были заранее отправлены, чтобы запасать сено. Кинулись теперь и мы на помощь. И прав был старик, опасавшийся вчера, что сена может не хватить. До самого вечера пробродили мы вокруг озера, разыскивали под снегом оставленные копны. Еле-еле набрали. Но все же сметали на сани, утоптали, прижали, все, как полагается, и, надо сказать, стожок получился на славу. На быках нам его возить да возить. А тут все на одни сани поместились.

Снег повалил пуще, ветер навстречу, и я гляжу — у Райхан щеки сначала покраснели, а потом белеть начали. Но она сплит себе и только рычагами орудует. Заправский тракторист — в стеганых брюках, в телогрейке, широкий ремень. Тракторишко, пока не выбрались на дорогу, часто тыкался в заносы и останавливался. Бросались мы тогда расчищать и утаптывать. А ветер разгулялся к вечеру, так и режет... Но все же выбрались мы, привезли и вздохнули свободно. А назавтра, взяв с собой несколько человек, Райхан съездила к соседям, в колхоз имени Тельмана, и привезла еще.

Теперь скотина была спасена.

С весны молодняк у нас стал прибавляться, и попачалу все шло из рук вон плохо. Телята и ягнята, слабенькие еще, па ногах не стоят, валяются прямо в грязь и, бывало, так и замерзали. От простуды погибало много. Колхозники, как я заметил, жалели пропадавшую скотину, но чтобы помочь хоть чем-то — палец о палец не ударили. «Э, не моя, так что мне беспокоиться?..» Колхозное — не свое, и к этому уже стали привыкать.

— Как вам нестыдно! — напустилась на нас Райхан. — Неужели вы способны спокойно спать в такое время? Вы видели свой баз? Одни же дворы... У них молодняк гибнет, а им и горюшка мало!.. Вот что, сейчас я назову дома, ко-

торые будут дежурить сегодня на базу, и весь приплод, который появится ночью, они заберут домой. Пусть кормят и выхаживают. А завтра пойдут на дежурство следующие четыре дома... Мы же без молодняка совсем останемся!

Это было, пожалуй, единственным пока спасением. При домашнем уходе ничего не стоило сохранить приплод до наступления лета. Тут все поддержали Райхан, даже старый, вечно недовольный Боташ. Он столько раз выходил из колхоза, а затем возвращался вновь, что мы и счет потеряли. Все какую-то выгоду искал старик... Ну да не в нем сейчас дело.

Через несколько дней произошел первый скандал. Карабет, когда ему пригнали на сохранение колхозный молодняк, не только прогнал людей, но и накричал, и это многие слышали.

— Идите вы отсюда, своей скотине стоять негде. Вон,гоните к Райхан, пусть сама ухаживает. Девка здоровая, ни детей, ни мужичка. Только с жиরу бесится!

Глядя на Карабета, еще кое-кто отказался. Опять у нас все нарушилось. Вот Карабет, прямо наказание наше!

Вызвали мы его в контору.

— Ты что? — говорю. — Или забыл, каким в колхоз пришел? Даже козы не привел. А сейчас, когда жиром оброс, рожу воротишь. Или ты лучше других?

Тут Оспан вмешалася:

— Кургерей-ага, чего мы его уговариваем? Надо в конце концов решить раз и навсегда. Хочет он с нами жить — пусть берет приплод. не хочет — к чертовой матери из колхоза! Чтоб духу даже не было!

Молчит Карабет, только морда темнеет.

— По-моему, Оспан прав, — сказала Райхан. — Карабет, за твой слово.

Опять ждем. Поднял Карабет голову и по-волчьи поглядел на всех на нас.

— Если вы не в состоянии сохранить скот сами, чего ж тогда было шуметь, в колхоз объединяться? А мне некогда за чужим скотом ухаживать, у меня семья.

Он встал и направился к двери, но Райхан попросила его задержаться.

— Товарищи, по-моему, все ясно. Держать такого человека в колхозе мы не можем. Поэтому предлагаю исключить. Давайте — кто за?

Смотрю я — одни подняли руки решительно, не раздумывая, но несколько человек еле-еле, будто через силу.

— Хорошо,— осторвился Карабет,— я уйду. Я и сам уже давно собирался. Ну вас всех вместе с вашим колхозом к...! Но я еще погляжу, как вы разбогатеете! Мы еще посмотрим... А с тобой, Райхан, у нас еще не все кончено. Пусть подожну я, но руки мои будут на твоей шее! Вот увидишь!— и попер косолапо из комнаты, дверью что было силы хлопнул.

Кончилось у нас все с Карабетом. Одним разом избавились мы и от джуна и от Карабета. Райхан помогла...

Трактор, который привела к нам Райхан, сильно двинул все наши дела. Просто не думали даже, что так у нас все пойдет. Прежде всего, конечно, пахота. Полюбоваться на работу съезжались люди из самых дальних мест. Никто же никогда не видел такой диковинной арбы. Кони, едва замечали грохочущее чудовище, начинали метаться, храпеть, а если седок бывал послабей и неопытный, то часто кубарем летел с седла. И тоже смешно,— брякается человек на землю, коль у него ускакет, а он, едва поднимется, не за конем бежит, а за трактором и смотрит, смотрит, никак не веря собственным глазам. И стоит только трактору остановиться, как его обступят, облесят со всех сторон, к Райхан лезут.

— Светик, и к нам бы в колхоз приехала.

— Помоги и нам...

Райхан смеется.

— Не всем сразу. Подождите, скоро и у вас будет трактор. Лучше подыскивайте пока людей, чтоб на трактористов учились. Всё пусть сюда приходят и учатся.

И желающих объявились много. Даже слишком много. Молодежь из всех аулов потянулась к Райхан. Наши парни спачала смотрели и терпели, а потом стали гнать посторонних.

— Давайте-ка, мотайте домой. Сначала мы научимся.

Все изменил у нас трактор. Мальчишки на улице, такие раньше на прутиках скакали, а теперь и у них трактор в голове,— фырчат, «баранку» крутят. Будущие трактористы растут! Оно и в самом деле: первые механизаторы в районе пошли из нашего колхоза.

Райхан не долго пришлось сидеть за рулем, скоро ее сменил Оспан, а она с головой ушла в колхозные дела,— тогда ее снова избрали председателем. А дел находилось много, как только и успевала. За одно лето колхозники не

только отремонтировали старый баз, но и построили из самана кошару, птичник, школу и даже четыре жилых дома. Обрастать стал колхоз, становиться на ноги.

За всеми этими делами мы и осень не заметили как подступила.

Хороша в том году была осень! Солнечно, тихо, лишь еле-еле побежит и тут же погаснет прохладный ветерок. Хлеба стояли плотные, налитые, точь-в-точь, как в том году, когда все у нас сгорело. Зайдешь, бывало, в поле и слышишь, как шелестит, будто шепчется о чем-то золотая пшеница. А над головой облака белые, не торопятся. И паутинки понеслись, божья пряжа, как раньше называли. Откуда они брались и куда девались,— никто не видел. Появится и плывет, плывет, пока не пронадет где-то в золотом волнующемся море... Приятно было и на скотину посмотреть. Отъелась, затяжелела, у коров так вымя еле помещалось. Целый день на поле, на приволье, молоком, казалось, запить можно. Доярки веселые бегают: подоят и к сепаратору, и гудят, гудят на ферме до самой ночи машина, перегоняя сливки. Вот уже поистине благословенное время пришло, когда даже жаворонок спокойно вьет гнездо на спине барабана...

Но, видно, судьба уж наша такая, что ли, а только недолго мы порадовались счастью. К зиме, как снегу упасть, спова такие завертельсь дела, что вспоминать тошно.

И вот с чего все началось.

Мы еще хлеб убирали, как появился у нас в ауле новый человек. Молодой, обходительный,— ничего не скажешь, всем он намшелся по душе. Из Алма-Аты приехал. Волосы длинные, назад зачесывал, в очках солидных. Очень уважительный к старикам и поговорить умел. Как заговорит, бывало,— заслушаешься... Потом уж я узнал, что когда Райхан училась в Омске, он в Москве институт заканчивал. Знакомы они были, и, оказывается, давпо уже обо всем договорились.

Ну, что же станешь делать: зять так зять. Но на сердце у меня неспокойно: неужели, думаю, уедет моя Райхан, и больше я ее не увижу? Жалко, больно, тоскливо.

— Что ты, отец!— говорит Райхан.— Я вас ни за что не оставлю. Вместе будем жить.

— А что ж ты скрывала до сих пор?— говорю.

— Да ведь как сказать...— и смущается, смется.— Не сердись, отец. Не век же мне монашкой сидеть. И так уж смеются, что состарилась.

— Воля твоя, дочка. Лишь бы ты была счастлива, а нам с матерью большого и не надо.

Опять бросается ко мне, целует в бороду, в лицо...

Уезжая, зять сказал мне, что приедет к зиме и тогда уж сыграем настоящую свадьбу.

Уехал он, стали мы ждать. И все бы должно было получиться, по задуманному, как вдруг... Ох, говорить даже не хочется!

Вечерело, помню, в окошко дождик крапал. Тихая такая осенняя пора. Сидим мы, лампу зажгли. Лиза стала на стол подавать...

Слышу, однако, скакет кто-то. И не один, а несколько человек. Прискакали, у ворот остановились. «Ну,—думаю,— к нам». Что ж, гости так гости. За стол еще не сели, веселее будет. В дверь вдруг принялись так барабанить, что мы с места вскочили. Лунят, бухают,— чуть с петель не снимают. Это что же за гости такие?— думаю. Открыли дверь. Вваливаются трое: Косиманов и с ним два милиционера. В форме, с винтовками.

Косиманов сразу к Райхан.

— Встать!— рявкнул по-русски.— Ты арестована.

Матушки-светы, да за что же это? Лиза моя чуть в обморок не брякнулась, потом кинулась к Райхан, вцепилась, закрыла телом:

— Не дам!

Один из милиционеров схватил ее, оторвал и в сторону тихнул. Много ли бабе надо,— отлетела моя Лиза в угол, лежит на полу. Мы и глазом моргнуть не успели, как они все у нас перевернули: из сундуков все летит, из чемодана. Ищут чего-то.

Косиманов нагнулся, поднял с пола книжку, полистал.

— Читаешь?— спрашивает у Райхан.

Лу нее ни испуга, ни отчаяния,— совсем спокойная стоит.

— Это что, допрос?— говорит ему.

Книжку я узнал: «Дочь казаха» Беймбета Майлина на русском языке. Райхан как-то долго читала нам ее вслух.

Отбросил книжку Косиманов, по комнате прошелся. Я наблюдала за ним,— что им надо?

Косиманов говорит:

— Радуешься, старик, что зятя ученого нашел? В тюрьме он сейчас, в самой Алма-Ате.

Чего он мелет? Я за Райхан испугался. Но она стоит, как стояла, и лишь улыбается с издевкой. Говорит ей:

— Далеко живете, а обо всем знаете... Чего вы издастесь над человеком, который старше вас? Принимайтесь за меня. Или боитесь, что не по зубам?

Фыркнул Косиманов, но ничего не сказал. Лишь на милиционера, который увязывал книги, прикрикнул:

— Еще вон портрет не забудь! Нельзя его оставлять в таком доме.

На стене у нас висел портрет Ленина. Может, знаешь: прищуренный такой взгляд, будто все видит, все знает и, как мне тогда показалось, даже жалеет нас... Милиционер козыриул и полез снимать портрет... Все они унесли с собой.

Райхан вывела и усадила на бричку. Темно, дождь льет, тоскливо. На душе у нас с Лизой так, будто мы с похорон приехали. Лиза как легла у печки, так и пролежала до рассвета. Лампа горит, у печки Лиза давится слезами. Места я себе найти не мог.

Утром я послушал, послушал, как всхлипывает жена, да и не выдержал:

— Хватит! — кричу. — Чего беду кличешь? Ничего с ней страшного не случится. Завтра же и вернется. Что они могут сделать невинному человеку?

Я и на самом деле несколько не сомневался, что тут какое-то недоразумение. И соседи, когда узнали, тоже в один голос стали уверять, — да вернется, говорят, что с ней сделают?

Но вот прошел день еще день и еще, — трое суток мы прождали. Нет нашей Райхан. И ни весточки от нее, ничего. Заскребло тогда у меня на сердце. Дело, вижу, не шуточное. Собрал я, что можно было, и поехал в район узнавать.

Сначала я думал к Карабету сунуться: Косиманов затем ему приходится. Но потом подумал и взял себя в руки. Уж, кому, кому, а Карабету в ноги клачиться не стоило.

Узнал я у людей, где тюрьма и пошел туда с утрецка. Передача для Райхан еще дома была собрана... Пришел я на край села, вижу — вот она, тюрьма. Подхожу. Смотрю, охранник, который в воротах, знакомый парень, сынушка старого моего дружка, сапожника. Я этого охранника еще мальчишкой сопливым знал, в коротенькой рубашонке.

— О, айпалайын, аман ба?\* — бросился я к нему.— Как отец, здоров ли?

Но парень будто не видит меня и не слышит.

— Да ты что,— говорю,— не узнаешь? Это же я, Кургерей. Нехорошо к старикам так относиться. Ведь я тебе в отцы гожусь.

Заговорил он наконец.

— Вам кто нужен? Только скорее,— на посту разговаривать не положено.

И пистолет на боку поправляет.

«Ах ты, дьявол,— думаю.— Вот еще шишка-то...» Говорю ему:

— Ты поэтому и важный такой, что у тебя эта игрушка на боку болтается?

— Осторожней, старик! За такие слова и под суд не-долго...

А ведь и в самом деле — что им стоит и за меня привязаться? Поутих я.

— Дочь у меня,— говорю,— здесь, Райхан. Передачу вот принес. Увидеться бы...

— Без разрешения товарища Косиманова передавать преступникам ничего нельзя!

«Преступникам»... Меня будто жаром окатило. Это моя-то Райхан преступница??

Слышу, охранник тихо говорит:

— Кургерей-ага, здесь нельзя стоять.— И по сторонам оглядывается.— Из области начальник приехал, Бахалов. Попробуйте к нему. Только не говорите, что я сказал. А теперь все, уходите!..

Хоть и не добился я ничего толком, но на душе у меня потеплело. Значит, есть начальники и повыше Косиманова. Может, сам бог послал сюда этого Бахалова. Увижу я его, расскажу ему все о нашей бедняцкой жизни, и распорядится он отпустить Райхан. То-то Лиза обрадуется, когда мы приедем с ней вместе!..

Добраться до Бахалова оказалось не так-то просто. Дня три или четыре прооколачивался я возле ворот милиции, пока наконец добился. Но — добился, пустили меня.

В комнате, где принимал начальник, темно, со света сразу ничего и не разглядишь. Но присмотрелся я и вижу: кресла, обитые кожей, на окнах шторы, и каждая с кисточ-

\* Айналайын, аман ба? — дорогой, как живешь? (как здравствуешь?)

ками, как конский хвост. За столом, большим и будто вырытым, увидел я коротенького толстого человечка, похожего на срубленный пень. Лицо рыхлое, бледное, словно из просяного теста, и точечки кое-где, как песчинки. Но глаза острые, рыжие — кошачьи. Шея у начальника совсем нет, и ворот кителя распахнулся, как расстегнутый хомут. Сидит в кресле плотно, крепко, не свернешь.

Поздоровался я, он молчит, будто и не слышал. Потом бросил, как от себя оторвал:

— По какому делу?

Сиплый такой голос, трудный, откуда-то изнутри.

— Дочка,— объясняю,— у меня здесь. Передачу принес. А не берут.

— Звать?

— Райхап. Райхан Султанова...

И вдруг он рассмеялся: зашипел, запыхтел, будто задыхается — пых, пых...

— Чего ты болтаешь? Твоя-то фамилия как?

— Федоров.

— Так какая же она тебе дочь?

Стал я объяснять что и к чему, о Слу-Мурте говорю, о нашей дружбе... Не дослушал он.

— Ну хватит. С дружбой тебя твоей...

— Товарищ начальник,— говорю,— не виновата она ни в чем. Зачем зря человека...

— А вот уж это не твоего ума дело! Не ты будешь проверять. Ступай, и чтоб я больше тени твоей здесь не видел. Понял? А коли хочешь быть отцом врага народа, так тюрьма у нас большая, места хватит.

У меня в ушах зазвенело: «Враг народа...» А Бахалов позвонил в колокольчик, вошли два милиционера. Вывели меня, и дальше я уж ничего не помню. Будто оглушил меня голос начальника и его тихий звоночек — все отбил.

В приемной, там, куда я вышел, в глаза мне бросился знакомый — Карабет. Обрадовался я ему, так и поднесло меня. Кинулся, за плечи его обхватил.

— Карасай-ау, поговори же с зятем... Что будет теперь с Райхан?

И в глаза ему заглядываю, последнюю надежду ловлю. Засмеялся Карабет, отодвинул меня.

— А что,— говорит,— будет? Известно что. Угонят туда, где на собаках ездят.

И так, с усмешечкой пошел себе, скрылся по своим делам.

Если бы знать мне тогда, что как раз Карабет-то и за-варил все дело, что именно он оклеветал мою Райхан! Убил бы я его, разбил его паршивую башку. Не жить бы ему больше...

И только ушел Карабет, поглядел я туда и сюда, пусто везде, темно и холодно, и что-то помутилось у меня в глазах, голова закружилась, потолок куда-то вбок поехал. Свалился я...

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Удивительная стояла в том году осень! По-летнему занимался над тихой росистой степью ясный безоблачный день, и влажный ветерок, небегая с восхода, качал налипшие тяжкие колосья, волнуя на всем разолье ятарное созревшее море. Показывалось скоро солнце и поднималось на длину аркана, и тогда пропадала роса, скатываясь с жестких усиков пшеницы, колосья распрямлялись и, засиграв на теплом ветру, пересыпали по спелому полю сухой неумирающий звон. И беспокойные волны прокатывались целый день по золотистому с каленым медным отблеском разливу, прокатывались и замирали у далекой еле видимой черты.

С самого начала уборки не выпадало ни капли дождя, и люди радовались этому, как великой удаче.

Халил жил в красном тесном вагончике на полевом стапе четвертой бригады. В вагончик он приходил лишь ночевать, потому что рабочий день шоферов целиком зависел от комбайнов. Умолкли машины в поле, отступая перед выпавшей росой, получали передышку шоферы. Все оставшее время они не вылезают из кабинок, стараясь поспеть от комбайнов на ток.

День проходил в постоянном стремлении успеть, не опоздать, не дать остановиться уборке. Стопроцентно задержаться машинам, бункера наполнялись зерном, и комбайны, словно в море корабли, замирали без движения, ожидая помощи. Как ни старался Халил, а все же часто, торопясь обратно в поле, он издали видел на мостике Тамару, томящуюся от безделья и демонстративно, в укор ему, лузгающую семечки.

После досадной задержки на току Халил ѿзлился ишибко погнал пустую машину прямиком по живью. Выбираясь на большак, он увидел человека, бегущего к машине со стороны заката. Человек кричал и отчаянно махал руками.

ками. Садилось солице, длинная уродливая тень человека пересекала дорогу и уходила далеко в степь. Когда тень упала на машину, Халил остановился.

В подбегающем человеке он узнал Дику. Запаренный, то и дело утирая свое большое плоское лицо платком, Дика вскочил на подножку и, просунувшись в кабину, обнял Халила. Он был счастлив, возбужден, и Халилу, давно не видевшему его, было странно видеть своего прежнего товарища в новеньком с иголочки костюме. Видимо, что-то случилось у Дики, раз он так преобразился. Но на долгий разговор не было времени.

— Садись в машину, поехали. По дороге поговорим.

Оказывается, Дика целый день ищет и не может его пойти.

— Все бригады объехал!

— А что случилось?

— Ой, Халил-жан, не спрашивай. Даже не верится... Квартиру мне дали!

— Что ты говоришь!

— Двухкомнатную! Только дом отстроили... И бригадир и все наши прямо пасели на Моргуне. «Надо дать — и только». Дали...

Халил внимательно посмотрел на него.

— Странно: одинокому и двухкомнатную квартиру... Уж не собираешься ли жениться?

Дика смущился.

— Да говори, говори. Что, девушка есть?

— М-м... не знаю даже... Я для Акбопе больше старался.

— Для Акбопе?! — удивился Халил.

— А что? Ей же трудно с ребятишками. Я бригадиру так и сказал: родственница, работает в совхозе, а живет с детьми в обжежитии. Мы и Моргуну сказали и в рабочем...

— Ну что ж, замечательно получилось... А дальше как решил?

Халил наблюдал за ним и не верил глазам: так изменился Дика. Просто не узнать стало парня! И по-русски начинает бойко говорить, и сам стал какой-то иной... Или это он дома привык его видеть забитым и бессловесным?

— Во, смотри! — счастливый Дика достал из кармана и повертел перед глазами Халила маленький блестящий ключик. — Сегодня как раз обмывать хотели. Приходи, Акбопе велела обязательно тебя пойти. Она ходила к тебе,

белье собрала. «Постираю,— говорит,— пусть придет переоденется...»

Сам Дика был чистенький, наглаженный, ухоженный на загляденье, и Халил только сейчас обратил на себя внимание: не мыт, не чесан, рубашка чуть не трескается от грязи. Некогда все...

Вечером, когда умолкли комбайны, Халил уговорил Тамару поехать вместе с ним.

Сначала она отказывалась, он же настоял, и девушка согласилась.

В путь они отправились веселые, с легкой душой, но чем ближе сверкали впереди совхозные огеньки, тем замкнутей становился Халил, пропадала разговорчивость, он с волнением думал о том, что вот еще немного — и они увидятся с Акбопе. Предстоящее свидание вызывало беспокойство, ему было неловко, словно он в чем-то виноват перед снохой. Впрочем, прежние их дружеские отношения пропали давно,— с тех пор, как их насиливо свел отец, но за то время, что они не виделись, Халил забыл обо всем, успел забыть. В конце концов он успокоил себя тем, что Акбопе приходится ему родней, женой старшего брата, и в том, что он едет проводить ее и племянников, нет ничего странного. Тем более, что у них сегодня радость, его приезд будет как раз кстати... И он вновь взял себя в руки, быстро погнал машину, беспечно, как будто ни о чем не думал, заговорил с Тамарой.

В доме, когда они появились, было полно народа, и приехавших почти не заметили. Выбирая себе место и приглашая Тамару, Халил незаметно осматривался. Здесь присутствовала вся brigada строителей, возвышался богатырь Оспап, скромненько сидел завгар Морозов. Это люди знакомые. Потом Халил увидел незнакомого парня, совсем чужого, и неожиданно ревность уколола его в сердце. С какой стати Акбопе пригласила и этого молодца? Несколько раз он, забыв о Тамаре, украдкой останавливал свой взгляд на лице парня, и чем дальше, тем больше незнакомец не нравился ему.

Вбежала Акбопе, увидела Халила и с такой радостью бросилась к нему на шею, что все его недовольство как рукой сняло. Он смотрел на нее и не уставал. Она похорошела, поправилась, налилась здоровьем. Что-то незнакомое появилось в ней, и он будто запово узнавал ее. Когда она прижалась к нему и поцеловала, он почувствовал ее груди, ощутил на щеке дыхание и вспомнил совсем еще недавнюю

жизнь под одной крышей. Позднее раскаяние коснулось его. Где были его глаза? Куда он смотрел? Что думал раньше?.. То же самое испытывала и Акбопе. Она тоже нашла Халила изменившимся исузаваемо: он повзрослел, возмужал и, признаться, похорошел. Акбопе так и светилась радостью, пока не увидела Тамару. Светленькая, с рассыпанным по плечам волосами девушка не поправилась ей; в черных глазах молодой женщины, будто короткая молния в тучах, блеснул и погас недобрый огонек. Но она не хотела выдавать себя перед гостями, перед Халилом, она обняла и тоже поцеловала Тамару. Девушка, ничего пока не понимая и лишь смутно догадываясь, вспыхнула огнем.

В комнате было шумно, молодежь вскочила на поги и наперебой приглашала Тамару проходить, не стесняться, садиться за стол. Она тут зпала почти всех.

Получилось так, что места Халила с Тамарой оказались рядом с незнакомым парнем, и тот, считая их родственниками Акбопе, принял занять разговором. Халил вспомнил наконец, где он видел его,— на току, куда возил зерно. Ревность вновь дала себя знать, и он, отвернувшись от соседа, принял рассматривать обстановку в комнате. В углу стояло высокое зеркало, не новое, бедноватое, но еще добротное, без него комната казалась бы пустой. Был здесь небольшой шкаф для одежды, и бросилась в глаза новенькая кровать, никелированная, с горой подушек и одеял. Стол, за которым они сидели, был современный, раздвижной, хорошо полированный, необходимая нынче в доме вещь, и Халил вспомнил отцовский дом с пыльными коврами, сундуками и набитыми всяkim баражлом старыми чемоданами. Здесь было чище, светлей, легче дышалось. «Но когда они успели набрать столько добра?— подумал он.— Неужели все Дика?»

Задумавшись, Халил не заметил, что бригадир строителей, поднявшись за столом, требует типипы и внимания. Шум стих, все приготовились слушать.

Голос бригадира, тонкий, отчетливый, его манера говорить, будто отрубая каждое слово, невольно приковывали внимание. Он говорил о Дике.

— Не знаю почему, не знаю кто дал ему такое имя, Дика... Как я понял, опо произошло от слова «дикий». Не спорю, тут что-то есть: Дика наш вообще весь от этой привольной родной степи. В самом деле, посмотрите сами: открытый характер, золотая россыпь щедрой души, простота степного озера, чистого сердца... что я еще не назвал?

Все?.. Так вот, друзья, я и предлагаю: выпьем за нашего Дину, сына своей степи, которая... которая... Хотя чего там! Пьем! Все пьем!

— Ура! — закричали за столом.

— Хай вично живэ!..

Позднее Халил узнал, что строители, закончив этот дом, решили отдать его тому, кто первым женится, и не только отдать, а еще и собрать в бригаде денег для обзаведения хозяйством. Так появилась в доме мебель, купленная на дних, в канун новоселья, в Омске.

Пока шло веселье, Дика несколько раз порывался подсесть к Халилу, и наконец улучил момент, когда он остался один.

— Халил-жан,— стеснительно, будто извиняясь, заговорил он,— мы уже обговорили с Акбопе. Мать у тебя болеет, за тобой даже постирать некому. Может, пока мать не поправится, ты переедешь к нам? Не стесняйся, места хватит. Смотри, чего нам еще надо?

— Мать может обидеться, что я ее бросаю,— сказал Халил.— Но я с ней поговорю.

После того случая, когда он увидел отца с квартиранткой, Халил старался как можно реже бывать дома. Он вообще ушел бы оттуда насовсем, если бы было куда. Предложение Дики пришлось кстати, и он обещал, поговорив с матерью, забрать постель и переехать.

— Конечно! Мешать ты тут никому не будешь... У нас вообще еще несколько домов скоро сдаются. Может, свободнее заживем. Дело-то лишь разворачивается... А тебя,— словно по секрету сказал Дика на ухо,— тебя тоже все хвалят. Говорят, после Оспана лучший шофер.

— Да ну, скажешь тоже. Куда мне до Оспана? Да и другие... Дерягина, например, куда денешь?

— Дерягина? Это тот самый, который был с тобой? Говорят, он пьет много.

— Пьет дай бог. Но шофер не хуже Оспана...

И под галдеж подвыпившей компании, придвигнувшись близко к Дике, пьяченый Халил неожиданно разговорился и весь вечер рассказывал о своем бывшем шефе, хвалил его одержимость в работе, знание машины, даже способность пить и быть все время на ногах...

Той же почью Дерягин сидел в доме Карасая, и квартирантка, встречая позднего гостя, выставила на стол хмельную домашнюю бражку.

Машину, доверху груженную зерном, Дерягин загнал

в широкие ворота сарая, подает к широкому полодцу ямы, зацементированной и высушенней. Оставалось лишь откинуть задний борт, и отборная литая пшеница с сухим шелестом устремится вниз.

— Ну, по последнему, да за дело,— подгоняет шофера Карасай.— И не забывай, почаде теперь заезжай. День ли, ночь,— не стесняйся. Свои люди...

— А чего стесняться?— сказала Япишкина, с улыбкой посматривая на хмурого гостя.— Долго ли такому молодцу пропить машину зерна? Три дня — и нету.. Хочешь, не хочешь, а завернет.

Дерягин поднял на нее недобрые глаза. Смысл намека трудно доходил до пьяного сознания.

— Значит, поэтому ты мне и пиво подаешь? А?..— и вдруг смахнул со стола налитый стакан.— Да провалитесь вы вместе с вашим...

— Да ты что, ты что?— набросился на него Карасай, снова усаживая и поднимая с пола стакан.— Она же не о том... Какой ты! Разве кто тебя заставляет? Можно — завези. А заезжать в любое время заезжай. Только рады...

Внезапно все, кто были в комнате, насторожились: в сенях послышались быстрые шаги. Испуг отразился на лице Япишкиной: ведь закрыто же было!.. Распахнулась дверь, и вошел Халил. Он не ожидал встретить такое сбощице и в недоумении остановился на пороге. Взгляд его медленно переходил с одного на другого. Мужчины потупились, а Япишкина, вскочив, засуетилась:

— О, Халильчик пришел. Проходи, проходи, садись.

— Твоя машина? — спросил Халил, кивая на сарай.

— Допустим...— прощедил Дерягин.

— Сейчас же убирайся!.. То-то я смотрю, и яму уже приготовили. Жулье!

— Но, но, осторожней!— Дерягин угрожающе поднялся из-за стола.— Выбирай выражения...

Не двигаясь с места, Халил холодно осмотрел подходившего верзилу.

— Пугаешь?— Учи, что того теперь не повторится. Если ты сейчас же отсюда не уберешься, будешь объясняться с самим Моргуном. Так что проваливай-ка лучше,— и, пи на кого больше не взглянув, отправился в свою комнату. Слышино было, как он зажег там свет.

Обескураженный Дерягин, напряженно моргая, пробормотал:

— Уйду, уйду. Тебя не спрошу...

— Не бойся,— шепотом подбодрил его Карасай, поглядывая на дверь в комнату сына.— Чего испугался? Ссыпай, я все уложу.

Завернув подушки в матрац, Халил завязывал веревку, когда в комнату вошел отец.

— Что ты за человек?— пакинулся он на сына.— Я-то думал, помощник растет, кормилец на старости лет, а он последнее из дома тащит.

— Это ты о краденом зерне?— умивая коленом постель, спросил Халил.

— Какое краденое? А хоть и краденое? Какое тебе дело? Что, ты его воровал? Для кого я запасаю,— для себя? Кто его жрать будет?

— Только не я. Хватит. Жрите вы его одни со своей Япишкойной.

Имя квартрантки сорвалось с языка совершенно неожиданно, и Халил покраснел. Но отец не смущился, не рассердился.

— Это не твое дело. Понял? И не болтай.

С минуту, не меньше, они стояли друг против друга, не произнося ни слова. О чем было говорить? Халил, исподлобья смотрел в замкнутое отчужденное лицо отца. Громадная тень Карасая закрывала всю стену. Халил поднял тюк с постелью и, задев по дороге отца, вышел.

Машины Дерягина не было, сарай с распахнутыми воротами стоял пустой. Халил сбежал с крылечка. Дика, увидев его с вещами, выскоцил из кабины, помог уложить тюк с постелью.

Пустым, чужим показался на этот раз Халилу отцовский дом. Шурша сапогами по мокрой от росы траве, последний раз прошел он по двору. В темноте в углу двора он разглядел старую рассохшуюся арбу, лежала она тут с незапамятных времен. Возле арбы, жмуря бессонные глаза, лежали грузные сытые коровы с телятами. Нашарив веревку, Халил отвязал от арбы породистую пеструю корову, поднял на ноги.

— Держи,— сказал он Дике, передавая ему веревку

— Куда вы?— зычно крикнул Карасай, выскочив на крыльце.

Он подбежал к Дике и с ходу ударил его в грудь. Но не тот уж был Дика, что прежде. Не шелохнувшись, не посмотрев даже на прежнего грозного хозяина, парень шел и уводил с собой корову.

— Это Жалила корова,— сказал Халил.— Для его детей.

Он звонко хлопнул ладонью по гладкой высокой холке, корова, шумно вздохнув, качнула рогами, пошла быстрой.

— Да вы что?— испугался Карасай, забегая вперед и хватаясь за рога.— Не дам!

По мощная медлительная корова, словно сделав окончательный выбор, нетерпеливо мотнула тяжелой головой, Карасай, не удержавшись, полетел на землю.

— Пошли, пошли,— не оставляясь, сказал Халил.

На следующий день Дерягина не стало на автобазе.

Встретившись с Тамарой, Халил рассказал ей о вчерашнем, и девушка рассердилась:

— Так чего же ты молчишь? Скрыть хочешь? Это же преступление! Ты попимаешь, чем они занимаются? Или ты тоже хочешь с ними под суд пойти?

— Так он же не ссыпал,— неуверенно оправдывался Халил. Он уже не рад был, что проговорился. Теперь, пожалуй, Дерягину не сдобровать,—уговорить, успокоить Тамару не было никакой возможности.

Рассердился и Моргун, узпав от Тамары, куда исчезают машины с зерном. Пожалуй, никто из рабочих не видел еще директора в такой ярости.

— У тебя совесть есть или нет?— накинулся он на Дерягина.— Тут за зернышко боишься, а он...

— А что вы на меня, что я сделал?— прикинулся дурячком шофер.

— Он еще спрашивает! Где ты пляешься с машиной по почам? Где?.. Молчишь!

— Кто это вам наболтал?— возмутился Дерягин.

— Не твое дело! Иди и сдай ключи Морозову. Нету тебе доверия! Я тебя и так оставил только ради Райхан Султановны, а уж теперь... Хватит!

Дерягин топтался и не уходил!

— Иди, иди, никогда мне с тобой! И можешь не плакаться, не быть себя в грудь что больше не будешь. Слышили уже. Подыскивай себе другую работу. Вот, па ток можешь, в диспетчерскую или на беззоколонку. А в шоферы...— директор махнул рукой.

— Что ж, и на этом спасибо,— ядовито произнес Дерягин, швырнув ключи на стол и вышел. «Ну-ну, подожди!—

грозился он, думая о Халиле.— Отомстил... Я тебе не так отомщу!»

Выйдя из конторы, он осмотрелся, подумал и направился к одиноко стоявшему в стороне дому Карасая.

Поздно ночью в поле на виду у поселка вспыхнул пожар. Узкий, рвущийся от земли столб огня взвился высоко в небо и задрожал, заплясал, отбрасывая вокруг колыхающиеся языки света.

Пламя заметили и ударили тревогу. На бригадных станах люди вскакивали и, щурясь спросонья, плохо попадали в рукава. Первыми к месту пожара успели шоферы, кочевавшие по ночным дорогам в долгих бессонных рейсах. Завидев огонь, они развернули машины и понеслись прямо по живью, не разбирая дороги.

Райхан в момент пожара была далеко, километров за двадцать. Огонь был виден и оттуда, но Райхан подумала, что это, ночуя в поле, ребята развели костер. Однако сила далекого огня не унималась, и ей стало не по себе: слишком уж врезался в память давнишний пожар, виденный в детстве. Тогда вот так же поздно, в глухое время, взметнулся огонь, слизнув труды аула за целое лето. В копце концов Райхан бросилась в машину и на последней скорости погнала на свет, заливающий полнеба.

Директор совхоза, как и все, кого тревога подняла с постели, был почти раздет. Люди, окружив жаркое пламя, колотили чем попало, закрывая лица. Огонь неудержанно рвался ввысь и было что-то буйное, ликующее в его неудержанной пляске. Горела машина, новенький грузовик, и никому из сбежавшихся не было понятно, как он очутился в таком месте, где шофер и каким образом загорелось.

Прикрываясь от жара рукой, Федор Трофимович подступил близко, очень близко, и вдруг что-то грохнуло в самой гуще огня, и взвилось вверх и, улав, покатилось по земле, шипя на мокрой траве. Взрыв прибавил огню силы,— полетели искры, густое стекающееся пламя выплыло на дорогу. Люди попятились, а в неунимающемся костре один за другим раздались четыре громких, оглушительных выстрела.

После этого пламя заметно пошло на убыль, а машина осела, будто стала ниже, пригнувшись к земле. В горевшей машине взорвался бак с горючим и накалились от жара баллоны...

— Чья машина? — спросил Федор Трофимович.

Никто не знал, никто не произнес ни слова. В глубокой траурной тишине пламя зализывало металлический каркас машины. Тьма подступила ближе, карауля момент, когда погаснут последние огоньки. От грузовика осталась одна рама, будто калясь на горячей без капли жира сковородке.

Шофера не было, он не прибежал, как все, по тревоге и его не обнаружили в останках машины. В кабине было пусто, лишь торчали голые, как барапы рога, горячие еще на ощупь пружины сгоревшего сиденья. Будь человек здесь, уж что-нибудь да осталось бы...

— Не трогайте здесь ничего, — сказала Райхан, унимая любопытных. — Надо позволить, пусть приедут. А до того времени никого не подпускать. И знаки поставить, чтоб машины объезжали.

От пожара осталось огромное черное пятно. Пламя, разлившееся по дороге, достало и до обочин, где степой стоял густой ковыль, по занявшийся было в траве огонь прибили, затоптали, — теперь остыло все и лишь коптило, рассыпаясь под саногами мелкой, как пыль, золой.

Федор Трофимович засветил карманный фонарик. Канистры от сгоревшей машины валялись у самых ног. Носком ботинка директор повернул пустой обгоревший бачок и, склонившись, чтобы разобрать номер, направил узкий луч света. Прочитал и разогнулся, обескураженно утирая лоб. Райхан, почуяв неладное, придвинулась ближе.

— Хатила машина, Талжанова... — сказал ей Федор Трофимович.

— Не может быть!..

В эту тревожную ночь, поднявшую всех на ноги, покойно было лишь в одиноком, стоящем за рощей доме. Но вот забрехали собаки, забегали, прыгая на ворота. Потом в закрытое ставнем окно раздался крепкий петерпеливый стук.

Карасай, уткнувшись в широкую спину квартиртки, заворочался на постели, поднял тяжелую спросонья голову.

— Агайша... Агайша, стучат.

Япишкина со стоном перевернулась на спину. Ночью промысел спиртным не давал ей покоя, и высыпаться почти не приходилось. Мотая головой, она сползла с кровати, зашлепала босыми ногами к окну — крупная, белая, нагая. Все было привычно: она высовывала руку в фор-

точку, ей молча вкладывали деньги, она протягивала бутылку. На этот раз рука ее осталась пустой. Знакомый голос не очень громко произнес под окном:

— Открой!

Она узнала Дерягина.

— Сиди, я открою,— вскочил с постели Карасай, тоже узнавший постоянного покупателя. С некоторых пор он сам стал встречать поздних посетителей: слишком уж долго не возвращалась со двора сожительница, гораздо дольше, чем следовало отпустить бутылку и получить депыги.

От ввалившегося в комнату Дерягина сильно песло горелым. Пока Япишкина, паспех одевшись, зажигала лампу, шофер плюхнулся за стол, уронил голову и в немой тоске вцепился себе в волосы.

— Неси,— глухим утробным голосом сказал он.— Больше. Целую флягу... Пить буду, подыхать буду!

Квартирантка переглянулась со своим сожителем. Карасай тоже насторожился: таким Дерягин еще не заявлялся.

— Вась,— сказала ласково Агапка,— а ведь ты еще за старое не рассчитался. Сколько же можно в долг?

Дерягин перестал дергать волосы и медленно поднял голову. Только теперь, при свете, можно было разглядеть, насколько он обезображен: щеки опалены до мяса, брови сожжены, и на пиджаке ни одного целого места — дыра па дыре. Горел он где-то, что ли?

— Тебе деньги? — со злостью выдохнул шофер.— Деньги тебе? На! На! — он выхватил из кармана горсть бумажек — весь свой расчет в совхозе — и пустил по столу.

— Бери, все забирай. Я теперь и без денег проживу. Государство прокормит. На казенный счет теперь... Эх-х!.. — он спотянул сожженные пальцы в волосы, припал головой, заскрипел зубами.

Подозрительно было, отчего так убивается человек, и хозяева не успокоились, пока не подподиши Дерягина и не выспросили у него, что же все-таки произошло. Дерягин и не таялся — павсегда пропащим человеком казался теперь он сам себе...

Весь день он провел у Карасая. Одно ему теперь оставалось — пить да горевать. Япишкина то и дело подносила на стол. Хмельна была брага у Карасая — большой мастерицей стала квартирантка.

В сумерках, возвращаясь в поселок, подвыпивший Деря-

гин увидел возле ворот Дики знакомую машину. Ну да, пригляделся он, машина Халила. Как не узнать! Злорадно усмехаясь, Дерягин залез в кабину и куском проволоки включил зажигание. Пускай теперь попытет молодец свою машину, ха-ха-ха! Пускай побегает... Подъехав к току, вогнал машину прямо в гору ссыпанного зерна. Дерягин покидал полный кузов и ночью, в темноте, потянулся к дому Карасая. «Тогда не удалось, сейчас удастся... бормотал он.— Не унывай, на гулянку браги хватит».

С хмельной, затуманенной головой Дерягин плохо соображал, где он находится и что делает. Некоторую уверенность ему придавал привычный штурвал в руках. Когда машина остановилась, он опытом, чутьем угадал, что кончился бензин и, посапывая, полез в запасной бак. Отвинтил крышку, спустил длинный резиновый шланг. Его качало, проваливалось в сон сознание. Чтобы взбодриться, Дерягин нашарил папиросы и чиркнул спичку. Что было дальше, как случилось, он и сам не мог попять. Помнил лишь, как вспыхнул ярким и жадным огнем бензин, побежжало, загудело пламя и, протрезвившийся испуганный Дерягин, склонив пиджак, принялся бить, хлопать, забивать. Напрасно — огонь, набирая силу, скоро охватил всю машину, и опаленный Дерягин трусливо отступил в темноту. Часто оглядываясь на высокий столб огня, он побежал, побежал в ночное поле и лишь затем сообразил, куда ему следует бежать — к однопокомому дому за рощей. Другого пути, других знакомых у него не оставалось...

Выслушав его горький рассказ, Карасай и квартирантка думали об одном и том же: вольно или невольно, а получилось, что и они соучастники этого верзилы. Глаза старика мерцали за закрытыми веками. Он не торопился. Если, раскинуть умом, то даже из такой истории можно извлечь какую-то выгоду. «Я же предупреждал эту Райхан о драке Дерягина и Халила... Не послушала! И вот... А кто, если разобраться, виноват? Недомыслие начальства... Но самому лезть не следует. Еще на зерно наткнутся».

— Не бойся, Вася,— успокоил он пьяного шофера.— Все обойдется.

— Давай, давай...— убито проговорил Дерягин.

— Не веришь?— спросил Карасай, ласково теребя его взъерошенные подпаленные волосы.— А кто знает, что это ты сделал?

— Кто... Да все узнают. Ты посмотри только на меня.

— Э чего испугался. Я тебя так спрячу, что сам черт не найдет.

— Утешаешь? — усмехнулся Дерягин. — Не надо.

— Да не думаю я тебя утешать! — настаивал Карасай.

— И слушай, если хочешь голову сохранить. В таком виде тебе, конечно, показываться не надо. Ты отдохни у меня, заживет все, тогда и ступай. Или к зятю можно, к Косимову. У него тебя и искать никому в голову не придет!

Какая-то смутная надежда на спасение забрезжила в пьяном сознании Дерягина. Старик смотрел на него ясным откровенным взглядом.

— А кто виноват будет во всем? Халил?

— Какое тебе дело? Кто будет, тот и будет... Но если не хочешь, не надо. Смотри сам. Выкарабкивайся как знаешь... Чего боишься? Можно же сказать, что ты уехал. А для верности ты письмо напиши. Дескать, не могу работать из-за главного инженера. Я же знаю, как она тебя огrelа тогда у склада. Все видели. Вот и напиши. Обо всем напиши!

При напоминании о пощечине у Дерягина словно зачесалась обоженная щека.

— Ладно,— согласился он.— Напишу.

— Ну вот! Однако смотри. Вася, тут уж обратно хода нет. Иначе плохо будет. Всем плохо. Не подведи смотри...

У Дерягина блеснули воспаленные глаза:

— В жизни еще никого не подводил!

— Молодец! Эй, Агайша, наливай, чего смотришь. Выпьем давай. За Васю выпьем.

Сокнулись и разнялись три налитых стакана. Однако каждый, кто пил, думал о своем. Дерягин, трезвея от сознания расплаты, давал себе зарок, что если только пронесет беду, стакан этот — последний в его жизни. Яппинкина своим мелким хищным умишком подсчитывала, сколько еще таких вот, как Дерягин, завернет к этому дому, давая ей неубывающий заработок. Карасай же, хоть и казался веселее всех, мрачно думал о Райхан и уже заранее тешил сердце: «Много ты мне насолила — всю семью разогнала. Но придет, придет еще время и для тебя!..»

Гости давно разошлись, и Халил стал укладываться спать. Его беспокоило, что Акбоне, как ушла провожать Османа, так до сих пор не вернулась. Где она задержалась? После сегодняшнего вечера она не выходила у него из го-

ловы. Неужели он потеряет ее или уже потерял? Но она так обрадовалась ему, когда увидела. Не может же быть, чтобы в ней говорили одни лишь родственные чувства!

В окнах стало сереть, подступал рассвет. Сон пропал, и Халил ожесточенно ворочался в постели, прислушиваясь, не раздастся ли стук дверей. Но тихо было, сонно, глухая, поздняя пора. Халил закутался в одеяло с головой, надеясь забыться и заснуть...

— Я сама не понимаю,— говорила тем временем Акбопе, впервые почувствовав к молчаливому шоферу доверие, желание поговорить по душам.— Раньше он мне казался мальчишкой и я относилась к нему, как к мальчишке. Играли, бегали, смеялись... А сейчас он другой какой-то... Вырос, что ли. Настоящий парень, мужчина. Ему уж жениться, видимо, пора...

— К этому идет,— согласился Оспан.— Всем рано или поздно приходит время...

— Я сейчас вспоминаю, как отец хотел нас сосватать. Если бы вы видели, что сделалось с Халилом! Он разговаривать со мной перестал, честное слово! Это уж сегодня он что-то разошелся. А до этого совсем как чужие были.

В голосе ее послышалась обида, и Оспан, помедлив, певеренно спросил:

— А тебе не хочется считать его чужим?

По тому, как вдруг умолкла Акбопе, шофер понял, что вопрос его задел за болевое. Они помолчали, потом молодая женщина робко пыталась объяснить:

— Тут сразу и не скажешь... Да, я считаю его лучшее, чем остальные. Но ведь мы родственники! И вот как старшая сестра, я хочу, чтобы ему досгалась не какая-нибудь там... а хорошая, достойная девушка. Что тут такого?

Пытаясь заглянуть ему в глаза, она взяла его за руку и Оспан осторожно обнял ее за плечи. Акбопе притихла, но руки не сняла.

— Парень он хороший,— сказал Оспан.— Я его люблю и с удовольствием бы братом назвал...

Издалека, со стороны рощи донесся протяжный петушиный крик. Акбопе вздрогнула: нетухи кричали в доме, где она прожила столько лет. Оспан заботливо прижал ее, и она согрелась под его тяжелой рукой, успокоилась, засмотрелась на небо. Звезда, сорвавшись где-то в черной глубине, ярко прочертала над головами и погасла низко над землей...

Не в сплах заснуть, Халил оделся и вышел из дома. Он надеялся увидеть Акбопе у ворот, но там стояла лишь машина Оспана. «Он не уехал еще?» — удивился Халил, почувствовав легкий укол ревности. Но подойти к машине постеснялся, хотя что-то подсказывало ему, что она там, больше ей быть пегде. Воспаленное ожиданием воображение подсказывало, что вот он приближается к машине, а оттуда высекивает Акбопе и набрасывается на него: «Чего ты меня ищешь, — скажет, — что тебе от меня надо?» Стыдно... И все же он не утерпел и, на цыпочках подкравшись, осторожно заглянул в кабину. Сердце его упало. Плечистый, словно из крутой глины сбитый здоровяк-шофер сидел с блаженным лицом и боялся пошевелиться. На широченной груди у него спала Акбопе, и лицо ее, как успел разглядеть Халил, было умиротворенное и счастливое, словно у ребенка, наконец-то нашедшего покой. Кажется, она даже причмокивала во сне.

От машины Халил отошел так же осторожно, на цыпочках. Он не мог забыть радостного выражения глаз шофера, терпеливо ждущего восхода. Оспан даже не заметил, что за ним подглядывали.

В душе Халил испытывал противоречивые чувства: жаль было песьевшихся собственных желаний и в то же время он радовался счастью дорогого человека. «Хоть она нашла», — утешал он себя, отправляясь обратно в дом.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Карасай сдержал свое слово: Дерягин в его доме был укрыт надежно. За время выпужденного безделья ожоги на лице зажили, затянулся и болезненный волдырь па шее, напоминавший теперь складку на ляжке козы. Оставалась лишь рука, сильно попорченная на пожаре. Дерягин все еще не мог согнуть пальцев.

Первые дни таинственный гость подолгу валялся па кровати, паслашдаясь покоем и тишиной. Но постепенно добровольное заточение стало надоедать, и Дерягин заметался, его здоровое полнопрое тело требовало работы. Пропал сон, и долгие осенние рассветы изводили его настолько, что он осунулся и похудел.

День он проводил у окопка. Стояли последние ясные дни, и работы в совхозе сократились. Среди опустевших полей хорошо стала видна степная дорога, и Дерягин тоск-

ливо провожал глазами каждую машину. Теперь шоферы уж не распахивали настежь обе дверцы и не задыхались в расстегнутых на груди рубашках. В шапках, теплых фуфайках, они и машины подготовили к зиме: радиаторы укрыты стегаными чехлами с небольшими «глазками» по бокам. Дорожная пыль по-прежнему вилась за машинами, но пропало знойное марево в глубине полей, и степь, еще недавно рыжая от спелого хлеба, сейчас была седой от полыни, и будто поблекла, увяла в ожидании снега.

Потом наступили холода, и Дерягин потерял последнее терпение. Низкие тучи поползли над степью, посыпались унылые дожди, а как-то утром, едва дождавшись рассвета, Дерягин подошел к окну и не узнал окрестностей: упал первый снег. Крупные хлопья устилали озябшую землю, все задернулось белой шеленой — и обитая дождем и ветром роща, и поселок, сильно разросшийся за то время, что Дерягин укрывался в гостях у Карасая. «Чего сидел, чего боялся? — ругал себя Дерягин, изнывая в заточении.— Трус!.. Уж лучше бы в тюрьму...»

Его появление в комнате, где Япишкина по обыкновению угождала заезжих шоферов, вызвало большое изумление. Пока подвыпившие гости, узнав пропавшего Дерягина, сидели с разинутыми ртами, квартирантка сообразила и бросилась к вошедшему чуть ли не на шею.

— Вася! Вернулся?! Вот радость!

— А что? — забормотал сильно подвыпивший шофер за столом.— Машин хватит. А хочешь, так мою бери. С меня довольно, вот, по горло. Поднял целину!

Гости уже еле сидели за столом, и Дерягин узнал проворенную привычку Япишкиной: споить заезжих так, чтобы они потеряли всякое соображение. А с пьяным расчет проще: бери сколько хочешь.

— Мы тут тебя не забываем. Вася, — сказал другой шофер, утирая мокрые вялые губы.— Султановце, видать, конец скоро сделаем. Я, например, пока она тут, не успокоюсь... Нет!

— Хозяйка! — оживился первый, силясь подняться из-за стола, но не смог и плюхнулся обратно на табуретку. Ты подай-ка, хозяйка... Письмо-то, письмо. Пусть Вася прочитает. Мы там Султановце дали прикурить. И Моргуну.... Моргун тоже потише теперь станет...

Дерягин не стал слушать.

— Где Карабест? — спросил он у Япишкиной.

— О, Карабет? — воскликнул донельзя пьяный шофер за столом, его развозило прямо на глазах. — Карабет — человек! Он для тебя — все. Это я тебе говорю! Человек — Карабет, голова. Думаешь, кто нас надоумил написать?..

Квартирантка, настороженно наблюдая за Дерягиным, медленно приблизилась к нему.

— Сядь, Васенька. Я сейчас пива принесу.

— Денег нет. — усмехнулся Дерягин. — Не по карману.

— Господи, да потом когда-нибудь рассчитаешься! Свои же люди...

— Бросил. Врачи не разрешают.

Шоферы за столом рассмеялись:

— Брешиут доктора... Сколько уж антабусу мы выпили, а посмотри на нас... А? Хозяйка, да принеси ты письмо!

— Какое еще письмо? — спросил, брезгливо оглядывая стол, Дерягин.

— Ну как!... во какое письмище накатали!

— В райком. И больные никуда! Там и про тебя. А что? Выжили же человека с работы! Это как?..

У них тут вообще скоро ни одного человека не останется, если так будут к нашему брату... Вот такое письмо получилось!

Вскипнув голову, шофер с силой ударил по залитому пивом столу:

— Или мы, или Султановна... Пусть выбирайт!

Вернулась откуда-то Япишкина, молча протянула испачканную бумажку. Дерягин, не читая, дернул, — разорвал пополам. Потом еще и еще.

— Вася??

— Да ты что?..

— Где Карабет, тебя спрашивают? — рявкнул Дерягин.

Испуганная квартирантка отступила на шаг, на другой.

— Ушел куда-то... откуда я знаю?.. Да он зачем тебе?

— Убью! Задушу! — потряс обожженными руками Дерягин и выскошил на улицу. Япишкина, насторожившись, прислушалась к его шагам: совсем убежит или вернется? Убежал. Хлопнула калитка.

Тогда Япишкина деловито заторопила размякших гостей, быстро убирая со стола.

— Давай, давай, ребята, по домам. Не время...

Осенью, после уборки, большая группа работников совхоза была премирована путевками на Выставку достижений

ний народного хозяйства. Вместе с другими трактористами стала собираться в Москву и Тамара Рубцова.

Сборы в дорогу вызвали в памяти совсем недавние времена. За последний год Тамара почти отвыкла от нарядов, одеваться приходилось во что придется, лишь бы тепло и удобно, и вот теперь, перебирая сохранившиеся от прежних времен вещи, девушки подолгу просиживала перед зеркалом. Пальто с чернобуркой еще совсем новое и на ней сидит прекрасно. Меховые шапки, кажется, по-прежнему в моде. Губы надо чуть подкрасить, немножко краски на глаза, подогнуть ресницы. На дне чемодана сохранились и перчатки, кожаные, как раз по руке. Можно ехать!

На станцию ее повез Оспан, посадив в кабину. Тамара сидела гостьей, нарядная, как будто чужая.

Не успели они отъехать от поселка, как Тамара увидела бегущего по дороге Володю Котенка, бригадира строителей, и попросила остановиться.

— Ты что это? — подбежал, запыхавшись Володя. — Хотела уехать не попрощавшись? Подарков, слушай, побольше захвати. В Москву же сдешь!

— Ну чего тебе привезти?

— Да в общем-то что хочешь. А если говорить по совести...

Загудела сзади сирена, и Тамара, прикрыв дверцу, выглянула. Володя посторонился с дороги. Тяжело груженая машина, едва не сползая на обочину, осторожно объехала стороной. За рулем Тамара узнала Халила.

— Счастливого пути! — крикнул Халил, останавливаясь. В район. Мы теперь картошниками стали, картошку возим... Ну, будь здорова, до встречи!

— Спасибо. Куда сам-то?

Сильно осевшая машина тяжело тронулась по разъезженной черной дороге. На застывших кочки из кузова падали картофелли и откатывались в грязь, на обочину. Машина еще виднелась на дороге, когда какой-то человек, посигналив рукой, заставил ее остановиться и залез в кабину.

— Слушай-ка, не Дерягин ли? — присмотрелся Оспан. — Ведь он же уезжал отсюда!

Потом еще увидели откуда-то появился пьяный и тоже попробовал задержать машину. Но Халил, не останавливаясь, проехал мимо. Дернувшись следом, пьяный не удержался на ногах и свалился на дорогу.

Оспан не мог успокоиться: своими зоркими степными глазами он уздал пропавшего где-то столько времени Дерягина.

— Откуда он взялся?

— Да появился, видно... — протирая от сыпавшегося снега очки, сказал Володя. Машины впереди уже не видно, скрылась. Лишь пьяный, растянув ноги, качался посреди дороги. Снег валил все пуще, завиваясь у самой земли.

— Износился, обтрепался, — говорил Оспан. — Вот дошел человек!

— Так ведь пить!

— Да, выпивон его и загубил... — согласился Володя. Оспан сказал:

— Давай, Тамара, закругляйся. Мне же еще домой надо заскочить!

— Казір, казір\*. Бэр мілпут, — сказала по-казахски Тамара. Потом — терпеливо ждущему Володе: — Жалеешь ты его, а жалеть, по-моему, нечего. Что же он сам-то о своей голове не подумал? Ведь лучший шофер после дяди Оспана был! Чего ему еще? По три, по четыре тысячи зарабатывал... Все на водку уходило, даже одеться не сумел. А под конец еще и в тюрьму чуть не угодил.

Как всегда, находясь в замешательстве, Володя без особых нужды протирал очки.

— Видишь ли, Тамара. Его-то я получше всех вас знаю. Приехали сюда вместе, друзьями одно время были... Где-то в чем-то мы и сами виноваты. Что-то мы недоглядили...

— Еще чего! Такого лба за руку водить? Няньку к нему приставить?

Надев очки, Володя проникновенно взглянул девушки в глаза:

— А ты хочешь знать отчего он запил?... Из-за тебя. Любовь же у парня, неужели ты не видишь?

— Ну, ты уж скажешь! — покраснев, рассмеялась Тамара. — Где это видано, чтобы человек от любви становился пьяницей?

— Ох, девчата, девчата! — укоризненно покачал головой Володя. — Не умеете вы в людях разбираться... Ведь люди, к твоему сведению, бывают разные. Да, да, не смот-

\* Казір — сейчас.

ри па меня так. Одип, если беда, ведет себя так, другой — ипаче. Рецептов тут нет. Вот и Дерягин...

— Ну что, ву что — Дерягин? Вот странные люди... Что я могу сделать? За ручку его взять, на ум наставить?

— Хоть пса за ручку, а что-то сделать можешь. И я даже просил бы тебя... Парень переживааст, мучается. Нельзя же так! Неужели тебе трудно хоть слово ему сказать? Вот он сейчас уезжать собирается. Поговори с ним. Пусть он за ум-то возьмется. Ведь пропадет иначе!

Пока шел разговор. Оспан наблюдал, как пьяный, пытавшийся остановить машину Халила, неуверенно приближался к нему. Человек был грязен и еле держался на ногах. Оспан только головой качал видя, как тот валялся прямо в слякоть. Пьяный подошел с той стороны, где сидел Оспан.

— Товарищ аксакал! — заорал он, вытягиваясь по-военному, прикладывая руку к падетой задом наперед шапке. — Все! Завязал... Больше в рот не возьму! Дай руку...

Не подавая руки, Оспан спросил:

— Ты машину хотел остановить... Кто это сел в нее?

— Кто сел? — оживился пьяный, неожиданно подмигивая. — Кто же еще... Дерягин. Он Карабета ищет. Точно, точно! Сам слыхал... Он ему — вот! — хочет, — и, схватив себя за горло, выпучил глаза. — Не вру, ей-богу не вру!

Вмешалась Тамара:

— Карабет... Халил, кажется его сын?

— А какая ему разница: сын, не сын?.. — разливался пьяный.

— Ты постой, — сказала Тамара. — Зачем он ему попадобился?

— Убить! — уверенно и с удовольствием ответил тот. — «Задушу, говорит, всех». Сам слыхал.

Ничего пока не понимая, Тамара переглянулась с Володей. От Дерягина, когда он пьяный, можно ожидать чего угодно. К тому же с Халилом, как все знали, у них давняя неприязнь.

— Поехали-ка скорей, дядя Оспан, — попросила она. — Он же хуже сумасшедшего, если выпьет... Надо догнать!

— Давай залазь! — сказал Оспан Володе, кивая на кузов, и включил газ. — Вот еще заботы не хватало!..

Снег, тихо падавший сегодня с самого утра, валил все гуще, и на дороге не осталось никаких следов от машины

Халила. Доехав до развилки, Оспан без колебаний свернул к районному центру. Кажется, туда собирался Халил везти картошку.

Неожиданно Тамара схватила шофера за руку. Вправо от дороги, далеко в поле, виднелась черная точка. Уж не машина ли?

— Они,— сказала Тамара, напрягая зрение.

— Брось,— неуверенно возразил Оспан.— С какой стати он свернет с дороги?

Покинутая одинокая машина в белом ненастном поле одним видом своим напоминала о несчастье. «Неужели в самом деле?» — подумал Оспан, отыскивая след, где машина свернула с дороги.

В одном месте через обочину, угадывался сильно засыпанный снегом след. Но еще можно было разглядеть, что кто-то проехал здесь недавно и повернул в поле. А по нетронутой целине след под снегом просматривался совершенно отчетливо. Громыхая кузовом, машина Оспана сползла в канаву и выбралась на живые. Обычно осторожный, заботливый к своему ЗИСу Оспан на этот раз погнал что было мочи. Тревожные подозрения не выходили у него из головы.

— Чего они не поделили? — отрывисто спросил он у Тамары, не спуская глаз с застрявшей в поле машины.

Тамара замялась, но в конце концов решилась и рассказала о давнем соперничестве Дерягина и его бывшего стажера.

— Вот детьвора,— небрежно заметил Оспан.— Хотя, черт их знает, как раз по молодости-то и могут натворить дел.

Чем ближе они подъезжали, тем тревожней становилось на душе. Приткнувшись к небольшому стогу, машина казалась брошенной. Оспан вытянул шею, всматриваясь, где же люди?

Оставалось совсем недалеко, когда покинутая всеми машина вдруг тронулась с места. Значит, там есть кто-то, только не хочет встречи! Машина удирала, не разбирая дороги, словно перепуганный заяц от смертельной погони.

На том месте, где стоял глузовик, Оспан остановился и, не вылезая из кабины, осмотрелся кругом. Стог был разворочен, солома разбросана на снегу,— похоже, будто волк здесь порезвился, не боясь никакой помехи. Больше никаких следов не видно. Машина тем временем ушла далеко вперед, и Оспан, начиная погоню, подумал: «Что-то тут

печисто... Но если бы Халил был жив, зачем ему удирать от нас с такой прытью?»

Окончательный ответ на все можно было получить лишь догнав улепетывающих беглецов. Оспану почему-то казалось, что тот, кто сидел там за рулем, не одинок,— с ним кто-то еще...

Крикнув Володе в кузов, чтобы покрепче держался, Оспан до предела выжал газ. Маячившую впереди машину нещадно кидало на подстывших кочках зяби. Скоро и Оспан ощутил такую тряску, что зарябило в глазах. Тамара, то и дело хватаясь за него, торопила: «Скорее, скорее!». Видно было, что беглецы выбрались на чистые, разглаженные боронами, пары, и машина так поддала ходу, что завихрился следом снег. «Сейчас и мы»,— подумал Оспан. И точно, едва колеса коснулись ровного поля, оборвался надсадный вой мотора, и машина словно вытянулась в погоне.

Видимо, удирающие надеялись на темноту, стараясь продержаться до сумерек. Не спуская глаз с отчетливо видневшегося на снегу следа, Оспан, стиснув зубы, упорно продолжал гонку.

— Быстрее, быстрее! — умоляла Тамара.

Нервы убегающих не выдержали. Видя, что петлять по степи бессмысленно,—Оспан повис как гончая за зайцем,— они вырвались на большак и по ровной как стрела дороге полетели к районному центру. Вихрем несущаяся машина походила на самолет, идущий на хищном бреющем полете.

На ровной твердой дороге Оспан почувствовал себя хозяином положения. Теперь беглецам спасения не было. И Тамара увидела, как быстро стало сокращаться расстояние между машинами. И скоро в несущемся навстречу снеге, пластами лепившемся на смотровое стекло, можно было разглядеть приближающийся кузов загнанной машины.

Неожиданно Оспан дал полный свет, и сквозь мешанину падавшего снега Тамара увидела в кузове беглецов, в беспорядке наваленные мешки.

— Разве у Халила мешки?— крикнула она.

— Картошку-то,— удивился Оспан, тоже всматриваясь,— всегда соломой закрывали.

— Номера, номера не видно!— мучилась Тамара, стараясь разглядеть залепленный снегом задний борт машины.

— Сейчас, сейчас... — бормотал Оспан, начиная медленно обходить беглецов. Гонка подходила к концу, и спасения не было. Оспан резко свернул поперек дороги, подставляя борт, и убегающие, чтобы не разбиться, дали тормоз. Гонка оборвалаась, погасли фары, стихли моторы. В ушах остановилась глубокая тишина.

Разжал онемевшие руки, Оспан опустил барабанку и потянулся вниз, к валявшемуся под ногами гаечному ключу. Слышино было, как из кузова на дорогу спрыгнул Володя...

Человек, остановивший на дороге машину Халила, был действительно Дерягин. Встретились они будто чужие: ни тот, ни другой не сказали ни слова. Сев в кабину, Дерягин поднял воротник старого заношенного пальто и, загородившись, затих, закрыл глаза. Удивленный неожиданной встречей, Халил незаметно посматривал на него. Дерягин осунулся, словно после болезни, но красивые волнистые волосы все так же заботливо расчесаны волосок к волоску. Из-за своей прически Дерягин никогда не носил головного убора,— ни зимой, ни летом.

К вечеру снег повалил хлопьями, и неутомимые «дворники», поскрипывая, разгребали на стекле толстые водянистые пласти. Кругом мело, кружило, заносило, и Халил, протирая стекло, все чаще стал подумывать о том, пора бы уже показаться кому-нибудь поселку. Он обрадовался, когда путь им пересекла заносимая снегом дорога, остановил машину и спрыгнул на землю. Ветер установился северный, ровный, снег валил все так же густо, но становился мельче, суще, стегал крупинками по лицу. Места были незнакомые, Халил долго топтался на перекрестке, пытаясь угадать правильную дорогу. Снегу уже навалило по щиколотку, быстро темнело.

— Заблудились, кажется,— сказал он дремавшему попутчику, снова запуская мотор.— Но дорога вроде бы на карьер.

Он вывернул машину на поперечную дорогу и погнал навстречу несущемуся снегу. Дерягин, как сидел, так и остался, даже глаз не раскрыл.

Несколько километров машина бежала ровно, уверенно, и Халил с надеждой посматривал вперед, ожидая вот-вот увидеть огоньки жилья. В сумерках надвигающейся ночи разыгравшийся буран, казалось, двигался стеной. «Дворники» уже не справлялись с обилием снега, и видимость с каждой минутой становилась хуже.

Халил не сразу отдал себе отчет, почему это вдруг смолкло ровное сильное гудение мотора. В наступившей тишине машина пробежала еще десяток метров и незаметно остановилась, словно уперевшись в густую пелену снега. Нажимая на стартер, Халил с отчаянием чувствовал свое бессилие,— где-то в глубине мотора раздавалось лишь короткое рычание, и снова все смолкало.

— Бензин посмотрел,— не раскрывая глаз, медленно произнес Дерягин. Засунув руки в карманы, он еще глубже ушел в воротник.

Припав к самым приборам, Халил увидел, что догадка молчаливого попутчика верна: краснеющая стрелка, будто язычок ящерицы, колебалась на нулевой отметке.

— Кончился! — сказал Халил и выругался.

Старая истина дальних дорог — копчился бензин, кончились и возможности водителя. Теперь не помогут ни опыт, ни умелые руки. Остается одно — сесть и терпеливо ждать случайной магии. Только с бензином, отсосанным канистру из чужого мотора, придет спасение.

В полной темноте и неподвижности люди обречены были прислушиваться к завыванию степной метели. Весь мир стал ограничен близкими стенками кабинки. На стекло быстро памело целый сугроб, и скоро кабинка настолько выстыла, что изнутри, совсем закрывая «дворники», стала настыивать плотная пленка изморози. Озноб коснулся сначала пог, затем незаметно пробрался к пояснице. Передернув плечами, Дерягин выплюнул папиросу и раздавил ее с такиможесточением, будто голову гадюки.

— Черт побери! Мне же в район вот так необходимо!

Чтобы согреться, он задвигал руками, принял яростно растирать озябшие уши. Сильно стыли руки.

— Уезжать собрался? — скучно обронил Халил, совсем не глядя на соседа.

— Допустим.

— Домой поедешь?

Дерягин, хлюпая своими огромными ладонями, лишь усмехнулся.

— Домой... В тюрьму пойду!

Приляв егс отвес за издевку, Халил равнодушно пожал плечами:

— Да хоть бы и в тюрьму. Мне-то что? Дело хозяйствское. Дерягин с неприязнью покосился на него:

— А не боишься, что я с собой еще кое-кого прихвачу?

— Выбрал уже?

— И давно... Только не бойся, не красавицу твою. Тамара тебе останется. Уступаю... на добровольных началах. А вот папашку твоего прихвачу. Бредный старичок.

Резко повернув голову, Халил недоуменно уставился на взъерошенного не столько от холода, сколько от непонятной злобы соседа.

— Ты к чьму это?

— А ви к чему. Поживем — увидим...

И затопотал, заколотил одна о другую ногами, чтобы хоть как-то унять болезненное покалывание в пальцах. Примета нехорошая — пропасть, совсем замерзнуть могут ноги!

Неколятные намеки случайного попутчика насторожили Халила, но расспрашивать он не решился. С того дня, когда они виделись в последний раз, Дерягин сильно переменился. Болел он, что ли? Где-то пропадал же столько времени!.. Но почему, с какой стати он заговорил вдруг об отце?

Крепко раздавив о ветровое стекло окурок, Дерягин сплюнул, растер ногой.

— Машина-то новую дали? Доверили, значит?

— А я вроде и не выходил из доверия! — тут же отпарировал Халил.

— А... если еще раз спалишь? — с непонятной интонацией продолжал допытываться Дерягин.

— Гам моей вины не было. Все знают... А машину восстановим. Рама есть, кабина тоже уцелела. Соберем как-нибудь...

Слушая, Дерягин покорно кивал головой: «Так, дескать, все это так...»

— Ты вот что, парень, — неожиданно позвал он после некоторого молчания. — Ты мне вот что скажи... Почему у твоего папашки птуро такое черное? Первый раз вижу, чтобы человек к родному сыну так относился...

— Тебе-то откуда известно, как он ко мне относится? По-моему, нормально относится.

— Нормально, — усмехнулся Дерягин. — А что ты скажешь, если он знает, кто спалил твою машину, и молчит?

— Отец этого не знает. Не может знать! Откуда ему?..

— Оттуда. Все он знает!.. И если хочешь знать, так это я поджег Ну?.. Чего выпучился? Точно — я. Хотел папашке твоему шпеничка отвезти, ну и... Что, все еще не веришь?

— Да и нет... — медленно проговорил Халил, обескураженный неожиданным признанием. Верить, нет? Может, врет? — Только вот одного не пойму: такой, на тебя посмотришь, лоб, а душонка, выходит, трусливая, как у зайчонка. Вот что интересно.

— Ладно, отвали, — устало отмахнулся Дерягин, ни сколько не рассердившись, и словно забыл о разговоре, — засунул руки в рукава, съежился, нахохлился, затих.

«Как они сошлись с отцом? Что их связало?.. Наверное, все эти проклятые деньги. Из-за рубля отец на что угодно пойдет. Все ему мало!» — думал Халил, вспоминая сундучок для выручки от торговли. Посмотрел бы кто, как отец, священнодействуя, складывает туда разглаженные и сосчитанные бумажки! Вся жизнь его в этом сундучке. Он его и погубит в конце концов, как погубил Жалила. Чего уж теперь скрывать: из-за денег, только из-за них погиб твой зимой старший брат. Торговал, торговал, да вот и доторговался...

Халил на всю жизнь запомнил ясный морозный день, когда в степи отыскали и привезли Жалила. Он спал и вдруг проснулся от топота ног, крика и хлопанья дверьми. Спросонья Халил не сразу разобрал, что это за люди, много людей, гомоня, неловко вваливаются в комнату. В распахнутую дверь валят клубы холода, одежда людей залубенела на морозе и трещит, как жестяная. Произительный истощенный крик матери и Акбопе. Мать, кажется, упала без сознания. Быстро с Халилом проснулись и малыши. Круглыми от страха глазами они смотрели, как незнакомые обметанные инеем люди укладывают на лавке неподвижное тело отца. И странно показалось тогда Халилу, что брат, всегда так весело вбегавший в комнату, на этот раз вытянулся на лавке и замер без движения. В одном белье, босиком, Халил соскочил на пол и бросился к лавке. Он обхватил холодную голову покойного и замер, зажмурился, испытывая огромное желание заплакать, закричать, как женщины, чтобы с криком и слезами вырвать из тоскующей души боль неожиданной утраты.

Жалила погубила торговля. Всю зиму, начиная с первого снега, пропадал он на базаре, то и дело мотаясь в Омск: отец подгонял его, торопясь не упустить высоких цен на базаре. Люди, искающие Жалила, подобрали спачала сани, а потом уж под тем одиноким деревом, которое срубил Дерягин, нашли и самого.

Вошел с двора Карасай и, близко подойдя к лавке,

долго смотрел в лицо покойного сына, затем погладил по лбу и полез к нему за пазуху. Отстегнул нагрудный карман, достал хорошо сложенную пачку денег и не удержался, чтобы хоть мельком не пересчитать. И только спрятав выручку в сундучок, старик обрел наконец способность заторевать, он прослезился, утирая глаза своим огромным ширшавым кулаком.

Хоронили Жалила в тот же день вечером, и Халил, вспоминая, как проверял отец выручку погибшего сына, оправдывал его как мог: мужчине, думал он, положено быть сильным и владеть собой в любом случае. И все же то уверенное движение, которым Карасай достал в известном ему месте на груди сына деньги, не выходило из памяти. Оно так и врезалось Халилу, и он не мог забыть до сих пор.

Было и еще одно, что припоминалось теперь так же ясственно, будто происходило на самом деле. Это тот покалывающий озноб, охвативший Халила, когда он спрыгнул из теплой постели на холодный затоптанный пол. Как тогда выступили комнату! И только Жалил, казалось, не замечал мороза, вытянувшись во весь рост на лавке. Халилу видится покойный брат, замерзший, безучастный ко всему, что происходит в доме, и вот отец, только что утиравший кулаком глаза, берет вдруг острый длинный нож, которым он режет овец, и точно умело сует его тонкое лезвие в левый бок Жалила. У отца умелые руки, и он быстро достает сердце покойного. На лице отца довольство, он степенно несет вырезанное сердце к заветному сундучку. Но что это? Блистающий желтой медью сундучок вдруг зашевелился, вытянулся, и Халил видит змею, поднявшуюся в стойке и разевающую пасть. Отец спокойно бросает в пасть добытое сердце сына, и змея, отвернувшись от него, оборачивается к Халилу. Испуганный Халил хочет бежать, поворачивается и делает огромные усилия, чтобы сдвинуть ноги, но нет сил, он не может тронуться, падает. А змея все ближе, все так же разевает она пенаасытную свою пасть, и Халил от ужаса издает душераздирающий вопль...

— Бсгавай! — тормошил его Дерягин, крепко держа за плечи. — Сходи погрейся, а то замерзишь.

Так значит вот откуда этот непонятный красноватый отсвет на свежем снегу, — Дерягин под прикрытием машины развел костер.

Разогнув закоченевшее тело и посапывая со сна, Халил

спрыгивает на землю. Ноги не слушаются, он их совсем не чувствует. На обочине весело и приманчиво пляшет пламя небольшого костра.

— С машины сено взял? — Халил еле ворочает языком. Но жар от огня приятно ударяет в замерзшее лицо. — Картошку погубим.

— А что лучше — мы замерзнем или картошка?

Халил не отвечает. Он настолько закоченел, что готов весь залезть в огонь. Согрев руки, он сует в огонь ноги. Снег на сапогах тает и шипит на углах.

— Ну, отогрелся хоть малость? — спросил Дерягин, когда огонь пошел на убыль, — сидеть нельзя, надо идти. Встретится машина — хорошо, а нет — надо добираться до какого-нибудь аула. Потопали давай потихоньку.

После костра встречный ветер показался Халилу особенно произительным. Наклоняясь вперед и отворачивая лица, они из последних сил сжались в комок. Нестерпимый холод пронимал до самых костей. Безучастно шагая за товарищем, Халил смотрел себе под ноги и наблюдал, как с каждой минутой застывают его оттаявшие на огне сапоги, покрываются коркой, становятся как деревянные.

Человек в милицейской форме с погонами капитана приготовился написать и, кивнув на хмурого Карасая, задал Оспану первый вопрос:

— Расскажите, пожалуйста, как вы их поймали?

— Да ведь как?.. Не думали, можно сказать, и не гадали. Других совсем мы догоняли, товарищ капитан!

И Оспан, припоминая все подробности долгой погони, от того момента, когда Тамара разглядела в степи одиночную точку, начал исторопливый рассказ, поглядывая как быстро бегает по бумаге перо человека в форме.

— А место, где они нагружали зерно, найдете? — спросил капитан.

— А почему нет? — удивился Оспан. — Километра три или четыре от совхоза, там, где черный тростник, сразу направо. Так, кажется? — спросил он у Тамары.

Девушка молча кивнула.

— Видимо, это уже не первый раз, — сказал капитан, поглядывая на молчаливого Карасая. — В стоге спрятаны мешки с зерном. Проверим, выясним.

После этого он расспросил Тамару, дал ей расписаться и отпустил.

— Поезжайте, мы тут разберемся. Спасибо за помощь.

Когда Камел, дочь Карасая, ворвалась в кабинет начальника милиции, Косиманов сидел за столом, сжав руки на голову. Из создавшегося положения пока не представлялось выхода.

— Где отец? — набросилась Камел на мужа. Она быстро окинула глазами кабинет. — Ты, что, оглох? Куда ты его девал?

— Тихо, тихо, не бесись, — проговорил Косиманов, избегая смотреть жене в глаза. — Не съел же я его.

Рослая, широколицая, Камел была удивительно похожа на отца, прибежала она как на пожар: в фартуке, руки в тесте. Лишь пальто накинула на полные дородные плечи.

— Ты почему домой-то сразу не позвонил? — допытывалась она.

— А чего звонить? Суюнши просить?

— Да ты в своем уме? — не унималась Камел. — Отец попался, а ему и горюшка мало.

— Родственничек... — заворчал Косиманов. — Что я теперь с этим преступлением буду делать? Может, ты подскажешь?

— Преступление?! — испуганно воскликнула Камел. — Какое еще преступление, чего ты болтаешь?

— А, замолчи! Без тебя тут...

Поняв, что положение на самом деле серьезное, Камел смирилась и залилась слезами. Косиманов поморщился. Вот бабы, слезы у них всегда наготове, как вода в кране. Он взглянул на жену и не смог сдержать улыбки: размытая краска с ресниц испачкала все ее лицо.

— Ты чего это, ты чего радуешься? — еще пуще залилась она. — Какой ты начальник, если ничего не можешь? Какая тебе цена, если даже отца не можешь выручить?

Причтания жены испугали Косиманова. С беспокойством поглядывая на дверь, он принял утешать плачущую Камел.

— Ладно, ладно, замолчи только... Брось, говорю! Слышишь? Что-нибудь придумаем. Иди домой да приготовься. Мы сейчас придем. Гость все-таки, надо угостить.

И, выпроводив жену из кабинета, снова опустился на стул, схватился за виски. Вот мне задача-то!..

Поздний ужин в доме Косиманова походил на поминки: ни разговоров, ни смеха, к мясу никто почти не при-

tronулся: посидели молча за столом и рано разошлись по комнатам спать.

Оставшись один, Карасай долго метался по развороченной постели. Злость и досада, душившие его, насовсем прогнали сон. Черт потащил этого Оспана в такую погоду в степь! Что ему было надо? Вот уж никогда не думал, не гадал, что так глупо влезнет. Четыре машины зерна смолол нынче за время уборки Карасай, и все благополучно сбыл на омском базаре. Шито-крыто кругом, комар поса не подточит. И вот надо же! Будто нарочно кто подстроил. Хоть бы другой кто попался, не Оспан. Так нет! Еще на Кургерея не хватало напороться. Того тоже дьявол частенько вносит, где не следует...

Отправляясь сегодня за зерном в дневное время, старики понимал, что идет на большой риск, но ничего другого не оставалось: совхоз стал подтягивать сено поближе к базам, и зерно, запрятанное в отдаленном стоге, могло пропасть ни за понюх табаку. Боязнь такой большой утраты и погнала его к тайнику. А теперь не только не прибавишь в заветный сундучок, а еще и достанешь не раз. Зять, освобождая его из-под стражи, откровенно заявил, что кое-кому необходимо дать, «смазать рот маслом». «Расход, сплошной расход!» — убивался старики, переживая досадный случай.

Занятый своими мыслями, Карасай долго не обращал внимания на голоса в хозяйствской половине дома. Надо полагать, там были свои заботы, свои разговоры, сегодняшний случай им тоже прибавил хлопот. Но вот голоса зазвучали громче, и Карасай, неслышно спрыгнув с кровати, подкрался к двери. Прислушавшись, он узнал громкий голос зятя и похолодел.

— Мне надоело возиться с твоим отцом, надоело! — выговаривал жене Косиманов. — То одно, то другое. Ты же знаешь, я и так еле усидел из-за него на работе. А теперь еще это. Что мне, под суд из-за него идти? Нет уж, пускай сам отдувается.

— И ты со спокойной совестью выгонишь из дома моего отца?

— А что мне с ним прикажешь делать? Со спокойной совестью... Да пусть он хоть пропадет пропадом!

— Замолчи! — завизжала Камел. — Это мой отец... Думаешь, надел погоны да вскарабкался за стол, так большим человеком стал.

— Я не для того надевал погоны, чтобы без конца выгораживать этого вора. Пусть скажет спасибо, что до сегодняшнего дня сидел у меня под крылышком...

— А что сегодня случилось? Чем он тебе не угодил?

— Чем, чем... — проворчал Косиманов усталым голосом. — Ты же из-за своего казана ничего не видишь и не хочешь видеть. А мне приходится отдуваться. Ведь сколько я его знаю, столько приходится расхлебывать его грязные делишки. С самой организации колхоза. Сколько он людей тогда запрятал в тюрьму? Не знаешь? А я знаю. А в войну что делал? Сколько он союзу выжал из этого несчастного колхоза? И кто его всегда покрывал?.. Это же подумать только надо: как год, так десять-пятнадцать голов скота у него из колхоза. Задаром же! Все бесплатно!..

— Задаром... Бесплатно... А для кого он откармливает эту скотину? Ты думаешь, дети твои чье мясо едят?

— Я плачу, — твердо сказал Косиманов. — Беру, по за все плачу. Когда он нам даром хоть кусочек кинул?.. Вот то-то. И нечего меня в махинации путать.

— Кто тебя путает? Сам давно впутался.

— Ну хватит. Если и есть где мой грех, это оттого, что я не дал ему от ворот поворот. А теперь довольно. Мне своя голова дорога.

В твердом решительном голосе зятя Карасай угадал свой окончательный приговор. Не стало у него многолетнего покровителя. От слабости в ногах старик присел у двери на корточки и закрыл глаза. Надо было самостоятельно находить какой-то выход. Пока ночь, пока все кругом спят. Завтра будет поздно. Косиманов теперь не помощник...

За дверью раздался тихий обесццкоенный голос дочери:

— Скажи — отца вправду будут судить?

Карасай напряг слух, боясь пропустить хоть слово.

— А ты думаешь, на курорт пошлют? За хлеб сейчас знаешь что будет? Народ со всех концов сгоняют, чтоб ни вернышка не пропало, а он... Да и одно разве только зерно? У нас вон сигнал поступил: пишут, что собирается с какой-то бабой строить новый дом. А на какие деньги? Из каких материалов? Ясно же — ворует. Если копнут его по глубже — плохо дело. Лет двадцать отхватит, не меньше.

— Несчастная его голова! — расплакалась Камел. — Кто его пожалеет?.. Ведь и ты с ним попадешься.

— Посмотрим, — неуверенно проговорил Косиманов. — Для него я могу сейчас сделать только одно: пусть пока расследуется дело, живет у нас. А за свои собственные гре-

хи... Что ж, придется просить прощения. Надоело так жить. Пусть судят, пусть... хоть что делают. Сам обо всем расскажу.

Затрещала кровать,— Косиманов отвернулся к стенке. Некоторое время из-за двери слышалось горестное всхлипывание Камел, но потом затихла и она. Карасай, не поднимаясь с корточек, продолжал прислушиваться. В голове его созрел план, и он ждал, когда уснут хозяева. Его острый слух скоро уловил глубокое тяжелое дыхание Косиманова, затем раздался громкий устойчивый храп. Теперь время! Старик заметался по комнате, собирая пожитки. Оделся и, осторожно ступая, пробрался к двери, неслышно вышел из дома.

На улице не унимался буран. Жесткий колючий снег ударили в лицо. Карасай поднял голову, осматриваясь. Места были знакомые—старик узнал старинное здание, где с давних пор и по сей день помещалась тюрьма. Вчера он едва не застрял там па долгие времена. Поселок спал, не слышно даже лая собак, лишь ветер завывал над крышами, пересыпал по острым сугробам метелицу сухого снега.

Карасай согнулся, запахиваясь, и нырнул, пропал в непастной夜里.

Шагал он всю ночь и на рассвете попросился в попутную машину, возвращавшуюся из районного центра. Медленно занимался день, на белом девственном снегу издалека тянулся отчетливый след грузовика. Буран утихал, но ветер еще ходил в степи, часто переметая дорогу и обдувая застывшие гребни кочек. Стылое утро искрилось в острых ледышках, отполированных утренней работой ветра. Петляла и скрывалась меж кочек узенькая тропинка в поле.

В кузове машины громоздились какие-то большие карточные ящики, очень тяжелые, и Карасай соорудил себе загородку от ветра. Сгорбившись, он слезящимися от холода глазами глядел на уносящуюся назад дорогу. Ему казалось, что машина бежит медленно, куда медленней, чем приказ о его поимке. И чем больше светило, тем острее становилась тревога: вот-вот могла появиться кургузая машина с красной полоской, которую он заметил вчера во дворе милиции.

Подслушанный почью разговор не выходил из головы. «Апымай,— сокрушался старик.— За что он так?..» Но вот наступил день, машина убегала все дальше, а погоня

не появлялась. Начиная успокаиваться, Карасай допускал мысль, что зять, может, не станет торопиться с объявлением розыск. Зачем ему и свою-то голову подставлять? А может быть, и в это старик пока не отваживался верить, может быть, устоявшийся за многие годы авторитет Косманинова выручит его и на этот раз. Может быть, все еще обойдется.

«Ведь было же,— все сильнее подогревалась в его душе спасительная надежда.—Было однажды. Почему бы не случиться такому чуду и сейчас?» И воспоминание о прошлом, укрепляя надежду, уж не оставляло его. Думая о былых счастливых временах, он словно согревался и не замечал пронизывающего холода. Одно время, особенно задумавшись, он даже смежил темные чугунные веки...

Случай, о котором вспомнил беглец, был памятен и Кургерю, и он рассказал его еще в тот вечер, когда ему выпало почевать вместе с мальчишкой Жалтасом.

### ПОСЛЕДИЯ ПЕСНЬ СТАРОГО КУРГЕРЕЯ

— Что ж, сынок, договорились мы из песни слова не выкидывать. Раз уж начал, надо рассказывать до конца. Но ты хоть представляешь теперь, каково пам раньше приходилось? С вашей, нынешней-то, жизнью и не сравнить...

Значит, как забрали тогда Райхан, так больше мы ее и не видели. И жизнь у меня пошла, прямо скажем, пезавидная. Что ли день, то вызывают. То допрос, то обыск — зазотали. И чего добивались? Иногда я сижу, сижу, да и подумаю: неужели единственная дочка Султана, всю жизнь прожившего в бедности, могла пойти против своего народа, могла плюнуть в грязь, где выросла? Да никогда не поверю! Но поди-ка, докажи им! Но в душе я верил в мою Райхан, верил и — ждал. Не могло так продолжаться бесковечко.

Затаскали меня по допросам,— мочи пет. И решил я податься из этих мест, поеду, думаю, туда, где меня не знают и не слышали о моем несчастье. Сколько же можно?.. И стал потихоньку собираться. Сразу-то не соберешься, не поднимешься... И уехал бы я, рас прощался с родными местами, если бы не шофер Оспан.

Однажды, ночью уже, приходит он ко мне и приходит не один. Несколько стариков и с ними боевой один парень, тоже Оспап, — мы его за характер задиристый горластым

Оспаном звали. Пришли они, расселись. Молчат. Но вижу — не в гости пришли.

— Кургерей-ага,—начал наконец горластый Оспан и на стариков посмотрел, как бы получая разрешение говорить от их имени,—мы специально пришли отговорить вас. Неужели вы думаете, что мы не видим, как вам приходится? Всем все известно. Нам же тоже больно за Райхан. Ведь мы ее еще вот такой знали, выросла на наших глазах. Но... осердясь на вшей, шубу не сжигают. Почему же вы собираетесь бросить всех нас? Какими глазами мы станем смотреть друг на друга? Значит, пока всем нам было трудно, вы с Султаном из козы леали, чтобы только помочь нам, а теперь, когда вы в беду попали, мы вас отпустим бог знает куда? Да ни за что! Где же наша дружба тогда? Если вас будут притягивать к ответу за Райхан, пусть тянут и нас. Разве вы оставили бы нас в такой беде? Нет. Так вот, не оставим и мы вас... Кургерей-ага, беглецу земля всегда с подошву. Не лучше ли вам бросить все эти сбороны и остаться в родных местах? Вместе мы жили, вместе и расхлебывали будем.

Хорошо говорил этот парень, умница был, жаль только, что учиться ему не приилось. Уговорил он меня. Перед умными словами и бесстыжий остановился. Подумал я: куда, в самом деле, поеду, к кому? Тут хоть люди свои под боком... Остался.

Побежали дни, и забывать стали люди мои несчастья, кончились пересуды и намеки. Многие раньше даже здороваться со мной боялись, а теперь, глядишь, и в гости забегут, а когда и па улице остановятся, поговорят. Но оставался один человек, у которого я был как кость в горле,— Карабет. Он-то мне ничего не простил и прощать не собирался.

В войну мужчин в колхозе почти никого не оставалось, и поползло наше хозяйство по швам. Как подгнившая избушка, осело оно сразу на все четыре угла. И тут бросили нам из района подкрепление: Карабета. Рекомендовали его председателем.

Кого-кого, а Карабета у нас звали как облупленного. Пошумел было народ, поволновался, но что поделаешь? Кое-кто предлагал в председатели меня, однако об этом и слушать не хотели. Человек я был теперь с пятном,— никак не хотят забыть Райхан... Выбрали Карабета.

С того дня, как он взобрался в председательское кресло, жизни мне в ауле совсем не стало. Бывало, столкнемся мы

с ним на улице, остановит он меня. «Ну что,— спросит,— дышишь еще? Дыши, дыши, недолго осталось». Так я понимал, что он хотел извести меня, не торопясь, и у себя на глазах. Власть-то его теперь, что с ним сделаешь? Сам— председатель, а в районе Космапов сидит. Никуда не ткнешься. Пробовал я на собраниях выступать, говорил, что председатель только и знает разъезжать по гостям да наливаться кумысом, так голку-то что? Ну, поговорю я, все послушают, повздыхают, да и разойдутся ни с чем. Только себе хуже делал, Карабета злил.

Потом набор подошел, забрали меня в трудовую армию, и несколько лет я ничего не знал, что у нас в колхозе творится. Были, правда, письма, да много ли в письме скажешь... Но вот, когда вернулся я, после войны уж, так все увидел собственными глазами. Сейчас даже поверить трудно, до чего все плохо было. От колхоза одно название осталось. Народ в нужде. обносился так — смотреть страшно. Спичек нет, мыла, сахара, чаю. Ничего нет. Вот беда!

С шофером Оспаном мы встретились, он тоже успел демобилизоваться. Выволок Оспан из колхозного сарая свою полуторку и месяца три, однако, ковырялся с ней, на колеса ставил. А ни запчастей же, ничего. Сколько он с Карабетом ругался, чтобы тот хоть чем-нибудь помог! Но все-таки пустил машину — пошла. И стали мы с ним разъезжать.

Дороги наши — длинные дороги, даже райцентр километров за триста от железнодорожной станции. Так что, если даже что-то и поступает где-то на склады, то когда оно к нам попадет? Застрянет где-нибудь, разлетится по дороге. Это уж как водится. Поэтому стали мы с Оспаном добывать где что нам положено.

Трудно приходилось зимой. Машина паша не проедет, пробиралась на верблюдах. Навалим, бывало, на четверть саней и — тронулись в дорогу. А снег, а буран, а морозы... Собачья работа. На лице живого места не оставалось, все обморожено. Верблюды еле тянут, так что нам всю дорогу пешком приходится тащиться. Хлебнули мы с ним лиха.

И вот добрались мы как-то с ним до дома, еле-еле дотянулись. Смотрю я на Оспана, от него одна тень осталась. Под собой тоже ног не чую.

Но радость, когда мы появляемся, — весь аул сбежится. Женщины, старухи, ребятня. За неделю рассчитывают, когда мы вернемся, и уж в этот день выглядывают с утра.

— Чай привезли?

— А сахар?... А мыло?

Оглушат, затеребят, чуть на ключья не разорвут.

Мы к складу правим — сдать, расписаться и с плеч до-  
лой. Так пока едем, за пами весь аул бежит. Изголодались  
же все, как их прогонишь? И на продавца налетают.

— Зачем завтра, зачем завтра? Сейчас торгуй!

— Тихо, тихо,— поднял продавец руки.— Как в такой  
темноте торговать? Потерпите до завтра. Еще же пришить  
меня надо... Давайте завтра, в девять часов.

— Вы посмотрите па него!— зашумел народ.— По ча-  
сам жить стал. А ты не помнишь дед твой жил когда-ни-  
будь по часам?

— Заважничал. Посмотрел бы на него сейчас Боташ.

— Какое вам дело до моего отца...— закричал продавец  
и ногами затопал.— А ну, пошли отсюда! На складе посто-  
ронним запрещается... Пошли!

— Ты что кричишь? Ты что кричишь? Тебе что — на-  
ших денег жалко? Мы же не даром брать будем...

А время действительно позднее, а у нас еще товар не  
сдан. Не вытерпел Оспан и зашумел па озлившихся жен-  
щинах:

— Да вы что на самом деле? Будто не видели никог-  
да... Это же для вас привезли, не для кого другого. Расхо-  
дитесь до завтра, не мешайте. Все цело будет, никто не  
съест.

Поутих народ, но расходиться и не думает.

— Ладно, мы посмотрим только. Или за это тоже пла-  
тить надо?

Махнул на них Оспан рукой. А уж кто-то надорвал  
угол рогожного мешка и тянет, вытягивает клок материи.

— Мапуфактура, мапуфактура...— поползло в народе.  
И снова все к дверям.

— Смотри, ситец.

— Эге, а вот полотно!

— Вот хорошо-то, а то все обоссились.

— Ух, крецкое сукно. И не порвать...

— Эй, осторожней, не порви!

Набились опять в склад — повернуться негде. Каждо-  
му же охота хоть краешком глаза взглянуть!

— Эй, пропустите и нас. Хватит вам.

— Бархат есть, не видали?

— Есть, говорят.

— Да зачем тебе бархат? У тебя и так два камзола.

— Какие два? Какие два? Когда они были-то? От них уж и памяти не осталось!

Голова идет кругом от бабьего гвалта, по как ни гонишь их, как ни кричишь, никто не уходит. Пок не перевернут половину саней, не перещупают весь товар,— хоть режь их, не успокоятся.

Но вот все сдано у нас, все, что нужно, подписано, можно отдохнуть. Трудные все-таки, выматывающие были поездки. Хоть день-деньской пешком по глубокому снегу. С нами на этот раз два старика ездили, так мы посмотрели, посмотрели на них, да и посадили обоих на сани. Из глаз у них слезы текут ручьем по бороде, идут они как слепые и то и дело падают. Замучились мы с ними, не рады, что и взяли...

Спал я в ту ночь будто убитый, не помнил, как до постели добрался. За все ночи, что в дороге, отсыпался. В поездке-то известно какой сон,— одним глазом спиши.

Слыши только, трясет меня кто-то за плечо. Начал я приходить в себя. В голове тяжесть, глаз не раскрыть.

— Вставай,— теребит меня Лиза.— Вставай...

И голос, как слышится, какой-то тревожный.

— Что,— говорю,— случилось? Который час?

— Поздно уж, полдень... Да ты хоть глаза открай!

Поднялся я, сел, головой мотаяю. Еще бы, думаю, спать. И чего человеку покоя не дают?.. Оказалось, опять из-за баб.

— Весь аул в лавке,— рассказывает Лиза.— От вчерашнего, чего вы привезли, даже чаю на заварку не осталось. Все как есть пропало. Сейчас мужики туда побежали... Вставай!

— А я-то тут при чем?— рассердился я и снова завалился под одеяло.

— Да за тобой уж прибегали! Слышишь? Оспан там, все там. Столько везли, столько мучились, ждали и — вот, пожалуйте. Обидно же! Вставай, хватит вылеживаться.

— Ну взял кто-нибудь,— ворчу,— и тебе останется. Не все же забрали!

А глаза так и закрываются.

— Да ты понимаешь или нет?— закричала Лиза.— В лавке хоть шаром покати!

Тут уж я насторожился:

— Как это? А куда же все девалось?

— Так вот поэтому-то и парод шумит!

Вот, думаю, еще история-то! Никогда у нас воровства

не наблюдалось. Уж как трудно приходилось, и никто даже витки не брал. Что-то тут не так.

Возле лавки, действительно, не протолкаться. Все сбились. И никто ничего понять не может. Лавка у нас ни на какие засовы не запиралась и сторожа никогда не бывало. Что же от самих себя охранять? Еще издали я увидел распахнутое окно в лавке. Вот, думаю, как залезли, мерзавцы,— окно выломали. Но подошел, посмотрел— ничего подобного. И окно цело, и дверь никто не ломал. Да что же это за вор такой?

А по народу уже слух идет. Какая-то старуха, карауля, как бы не проспать, то и дело выходила на улицу и посматривала: не открыли ли, слушаем лавку. И вот видит она, вроде бы свет горит там. Не поверила сначала, может, с глазами, думает, что? Нет, вытерла платочком, снова смотрит — горит. Потом свет перед лавкой замелькал. Попшла старуха в дом и давай своих будить. Ну вскочили все все—бегут. Соседей разбудили. Видят — у лавки возится кто-то и голоса бубнят.

Потом подвода тронулась, проехала по улице и возле дома Карабета остановилась. Председтель все-таки, шума поднимать побоялся. А продавец запер снова лавку и лампу потушил,— домой пошел.

Ничего пока не понял народ. Ладно, до утра подождем.

Но утром лавка так и не открылась. Побежали к Тотаю, продавцу, а он и вставать не думает.

— Открывать не велено,— говорит.— Приказ из района. Сказали, чтобы пломбу поставил на замок.

Вот тебе раз! Что же это за распоряжение?

Подождал парод, потоптался, потом снова к Тотаю.

— Ладно, бог с ним, со складом. Но лавку-то открой. Слишки надо, разную мелочь. Кому что.

Открыл он, за прилавком стал. Но вот что странно: не узнали мы сперва своей лавки. Будто шире она стала, просторнее. Раньше, бывало, на полках всякая мелочь валяется, а тут и полки пусты. У дверей, как войти, гора ведер и тазов, поварешек там всяких, была навалена. Сейчас ни тазика, ни ведерка, как корова языком слизнула. Да что же это такое?

Тотай-прощелыга от баб никак отбиться не может.

— Ну, кричит,— все взяли? Чай нет, чай еще на складе. Давайте, выходите, мне закрывать надо.

И суетится что-то, в глаза никому не смотрит. Переглянулись мы с Оспанином и попросили народ выйти. А когда

всех выпроводили, то лавку закрыли и взяли Тотая в оборт. Тут еще другой Оспан, горластый, подошел, тоже остался с нами.

— Ты чего, — говорим, — людям голову морочишь? Для чего мы мучались в дороге? Чтобы ты товар на складе держал? А ну, открывай. Не бойся, не переработаешь. Все знают, что ты день работаешь, а пять отыхаешь. Глять давно уж надо за такую работу.

Парень, глядим, испугался и чуть не в слезы.

— Я-то тут, — говорит, — при чем? Ночью председатель сельпо с Карасаем приходили, никому не велели говорить... Убьют они теперь меня!

— Не бойся. Ничего с тобой не случится. А лучше выкладывай-ка все как есть. Ну?..

— А вы никому не расскажете? Мне за это не попадет?

— Да говори ты! Ничего тебе не будет.

— И выяснилось: ночью Карасай вместе с председателем сельпо подняли продавца с постели, заставили открыть склад.

— У Карасая депег, — рассказывал напуганный Тотай, — полный сундук! Почти все они забрали, даже ведра с тазами, и за все заплатили. Деньги тут, у меня. На складе осталось немного, самая малость: чай в основном. Мануфактуры пету, всю увезли. «А что осталось, — сказал, — потом в лавке продашь». Но наказали, чтобы без распоряжения потребсоюза склада не открывал. И не проболтался, иначе голова у меня с плеч.

Переглядываемся мы все трое и понять ничего не можем.

— Опи что, совсем спятили?

Тотай рассказывает:

— Карабет, говорят, сватает за своего Жалила дочь какого-то торговца из Омска.

— Тогда ясно, — сказал горластый Оспан. — Переправит Карабет все товары туда и там продаст в тридорога. Вот нацлюйте мне в глаза, если только не так!

Шофер Оспан, тот был порассудительней.

— Ну, хорошо, — сказал, — мануфактуру и чай он еще перепродаст. А тазы с ведрами — зачем?

Действительно, странные все, ничего не поймем.

— Сколько он у тебя этих ведер и тазов купил? — спрашиваем у Тотая.

— Все, сколько было. Все забрал. И заплатил, рассчитался до копейки.

Совсем удивительно. Не похоже было на Карасая, чтобы он трахнул на такие пустяки свои накопленные денежки. Что-то тут не так.

Ждать разгадки пришлось совсем не долго. Не то приехал кто-то из района, но на следующий день все в ауле, даже ребятишки знали, что старым деньгам конец, вводят новые. Сначала мы не поверили, но оказалось, что правда: денежная реформа.

Склад наш как закрыли, так и не открывали целую неделю. И всю ту неделю народ не оходил от председательского крьлечка. Несчастная Жамиш на глаза боялась показываться: как только завидят ее, кричат: «Весь склад к себе перетащили! Хоть на заварку чаю дайте!..» И Жамиш не отказывала,— то тому осмушку чая сунет, то другому. А Карабет в эти дни, как сквозь землю провалился, решил, видимо, переждать, пока уляжется шум...

Никто тогда не думал, что вся эта махинация сойдет ему с рук — доказательства были шапицо. Но Карабет и тут вывернулся. Председателю сельпо тогда четыре года дали, Тотаю, продавцу из лавки, кажется, шесть месяцев, а Карабет вышел как гусь из воды. На суде, рассказывали, он всю вину свалил на председателя сельпо: дескать, предложил ему человек товар со склада и попросил лишь расчитаться; он уплатил, а куда тот деньги девал — не знает, может, себе в карман положил... Вот он каков, Карабет этот, на деле. Ну, да ему еще и Косиманов, копечко, помог. Не мог же помочь, зять все-таки, родственники.

После суда Карабет у нас недолго оставался. На него и без того народ злой был, а уж после таких-то дел... Смотрим как-то: не стало Карабета. Мы туда, сюда: нету. Куда девался? Оказывается, забрал он ночью семью и отделился от аула подальше. За рощей дом поставил и стал держать что-то вроде заезжего двора. Бирюком зажил, но из колхоза не вышел. На бумаге он как был, так и оставался колхозником. Выгодно же: с него почти ничего не требуется, а он с колхоза берет все, что положено. И сено косил, и корм получал, и скот держал, а с базара так же вылезал: колхозник же, имеет право торговаться. И так у него все ловко получалось: шито-крыто, комар носа не подточит...

«Да, да, шито-крыто»,—грустно покивал Карасай, сильно страдая в кузове от ветра. Было время, когда все ему удавалось и благополучно сходило с рук. Неужели кончи-

лась удача и пришло время расплаты? Боялся он рокового момента, сильно боялся и несколько раз уж давал себе зарок бросить все и зажить спокойно. Ненасытность проклятая подвела: все думалось — вот еще немножко, еще самую малость и — уж тогда конец. Но не было конца, хотелось побольше: не знали меры завидущие глаза, а особенно ненасытна была жадная к добру пленасытная душа. Поэтому-то и не остановился вовремя, будто червяк какой точил постоянно изнутри. Если бы знать, что так получится!..

Хриплый протяжный вопль, раздавшийся откуда-то со стороны, заставил старика поднять голову. Мело по-прежнему, ветер больно насекал мокрый глаз. Сильно мотало в кузове. Непопятный голос, испугавший Карасая, звучал приглушенno, будто из глубокого колодца. Боявшийся любого встречного человека, старик начал озираться, не слишком высовываясь. И он увидел: на бугре, совсем педалено, отчетливо выделяясь на белом петронутом снегу, стоял громадный человек и, встречая машину, махал рукой. «Пропал!» — мелькнуло в голове Карасая. Он присел за сложенную из ящиков загородку, но глаз с кричавшего человека не спускал. Неужели он заметил его?

Машину бежала, не сбавляя хода, поровнялась с бугром и стала быстро удаляться. В свете наступающего дня Карасай успел разглядеть, что огромный рост человека, так пугавшего его, объяснялся тем, что на плечах он тащил еще одного, совсем неподвижного, как бы не покойника. Кажется, кричавший был Дерягин, а может, сильно походил на него. Карасаю теперь не было дела ни до кого на свете, и он, радуясь, что шофер не заметил и не остановился, видел, как человек на бугре побежал вдогонку, но сделал лишь несколько неуверенных шагов и упал, уронил с плеч свою ношу. «Пронесло», — с легким сердцем подумал Карасай, наблюшая, как удаляются, оставаясь в степи, два лежащих на снегу человека. Скоро можно было различить лишь две крохотные точки, а потом исчезли и они...

Потянулись вокруг знакомые места, и старик, отогревшись от одной мысли о спасении, вертел головой. План его был прост: пробратьсяся, пока никто ничего не знает, домой, откопать в сарае сундучок, а с ним дорога открыта хоть куда. Забрав накопления, можно было надежно исчезнуть навсегда. Правильно он делал, всю жизнь оберегая этот сундучок. Чем бы ему помогли сейчас друзья и приятели,

заведи он их в свое время? А с тем, что в сундучке, он уедет и где-нибудь надежно устроится. Нет, он правильно смотрел на жизнь, не позволяя себе роскоши увлекаться ненужными вещами... Не выходила из головы квартирантка. Брать ее с собой расчета не было, бабу где угодно можно найти, но у нее где-то припрятаны немалые деньги. Пропьет, нарвется на какого-нибудь прохвоста и все промотает. Душа старика не могла смириться с бесхозяйственностью. Прибрать бы к рукам и эти деньги!

На повороте, когда показалась окраина совхозного поселка, Карасай постучал по кабинке и, едва машина замедлила бег, спрыгнул на землю. Ого, как больно отдалось в ноги! Отсидел. Прихрамывая, старик прямо через поле направился к одинокому дому. Вчерашний буран намел местами высокие сугробы. Карасай видел, что снегом занесены ворота и наружные стены дома. Одиночный двор кажется вымершим, ни дыма из трубы, ни следа из ворот. Оставляя на твердом, чуть присыпанном насте петлистую заячью стежку, Карасай приблизился к своему дому. Тревожно стучало сердце. Квартирантка сейчас спит, должна спать. Если не будить ее, а пробраться во двор потихоньку, она и не проснется. Взять сундук в сарае, опять махнуть через забор, поди потом догадайся кто, что хозяин был дома. Но потом от холода ли, представив себе теплую постель спящей женщины, от тоски ли будущего одиночества, Карасай подумал, что бойкая и острая умом Агайша не Жамиш, такой человек не будет обузой. Помощник, советчик, товарищ в беде — вот кем станет Агайша. «Пеший пыли не поднимет, одинокий не прославится», — припомнилась поговорка.

В окне было темно, и Карасай, едва не постучав, в нерешительности опустил руку. Все-таки, что ни говори, а плохой из бабы спутник. А уж в беде... «Скачущий на кобыле приза не возьмет». Пока было все хорошо, квартирантка держала себя приветливо. А ну узнает она все как есть? Нет, одному, без обузы, куда легче. А вот денежки ее забрать не мешает. Деньги не бывают обузой...

Издали, пока старик не подошел, тихий двор казался спящим, падежно укрытым от постороннего человека. Отыскивая место, где легче и бесшумнее залезть во двор, Карасай подошел к воротам и увидел, что калитка отворена. Видимо, калитку не запирали всю ночь, потому что буран намел во двор целый сугроб. «Хозяйка! — подумал

старик, привычно загораясь яростью.— Руки за это обломать...»

Тихо было во дворе, и все занесено снегом. Небольшой сугробик лежал на крылечке, завалив порог. Почуяв человека, в сарае жалобно замычали коровы. И хозяйское сердце старика дрогнуло,— как ни торопился он, а все же пройти мимо голодной скотины не мог.

Рослая рогатая корова с белой отметиной на лбу обращенно мыкнула, узнав хозяина. Блажный антрацитовый глаз укоризненно блестел в сумеречных потемках. Карасай ласково тронул высокие рога, пощекотал лоб. Наблюдая голодное беспокойство скотины и привычно заглядывая в пустые вылизанные ясли, Карасай все больше догадывался, что корм не задавался, пожалуй, сутки. Куда же смотрела Агайша? Обычные хозяйские заботы, как всегда в начале дня, обволакивали Карасая, притупляя тревогу беглеца. Все-таки не бегать надо человеку, а заниматься своим привычным делом, и он уже собрался брать в руки вилы, как вдруг острая догадка просгребла его, он опрометью бросился в дом. Ну вот, так и есть. Никто не спал в доме, везде было пусто. Оглядывая разграбленные комнаты, старик почувствовал, насколько выстыл дом и увидел, что труба не закрыта. Будто в эту трубу улетела коварная квартирантка вместе со многими вещами.

Теперь Карасай боялся самого страшного. Вещи что? Ерунда, мелочь. С лопатой в руках он принялся рыть в темном углу сарая, и чем быстрее, ожесточеннее выгребал мягкую, слишком мягкую податливую землю, тем яростнее заходило от предчувствий сердце, тем безумнее наливались кровью глаза. Лопата скребанула по крышке сундучка, старик упал на колени. Он не сразу сообразил почему так легко подалась крышка. Пусто! — открыл он и увидел, и кружилась голова, полетело, полетело куда-то в ноги сердце.

Безумный взгляд Карасая медленно обвел темные углы сарая, будто еще могло найтись желанное спасенье. Потом он сел на разрытую землю и уронил голову. Слезы, копившиеся в нем всю долгую жизнь, вдруг показались па глазах и покатились по бороде. Они копились долго, с детства, и старик даже у гроба Жалила, положив ладонь на холодный лоб покойного сына, не узнал их забытого горького вкуса. А вот теперь наступил конец. Проклятый мир, собаки люди!

Под руку Карасая попал любовно сделанный сундучок

и он, не в силах упять горюющего сердца, грохнул ненужную теперь шкатулку в стену. Все, что копилось целую пеленку жизнь, улетело, развеялось без следа. Сколько голов скота он уложил, разгладив и пересчитав, в сундук, — пропало. И старик, как бы в безумье, увидел уплывающие в какой-то непроглядный мрак целые стада: ржущие откормленные кобылицы, жирные овцы с тяжелыми курдюками, коровы, величественные, крупные, с громадным тяжким выменем, не помешающимся между ног. Все это припомнилось, увиделось и проплыло, разевая гравами, блея, посыпая прощальное мычание. Ничему не будет уж теперь возврата...

Застонав, Карасай неуклюже свалился набок, изо всех сил прижимая руку к левой половине груди. Он лежал, уткнувшись бородой в холодную разрытую землю, и боль заставляла всыхивать его мерцающие в темноте глаза. Нет, не деньги забрала у него коварная квартирантка, а сердце, — будто схватила его чья-то твердая безжалостная рука и не было сил разжать черствых пальцев.

День уже был в силе, когда из сарая, волоча непослушные ноги, показался измученный старик. Он разжал руку и увидел листок бумаги, оставленный на чистом дне пустого сундука. Ничего не понимая, Карасай долго вглядывался в твердо выведенные буквы, по привычке сердито двигая бровями. Это была записка, и больно колотящемся сердце старика шевельнулась надежда, что не обманула его женщина, может, оставила свой адрес. Он был согласен и на это. «А ты пройдоха, мой старый барсучок, — разбрал он игривые, словно под сладким хмелем писанные слова. — Только ведь я тоже старая лиса, и меня не проведешь. Скажем друг другу спасибо, каждый из нас получил свое...»

С запиской в руках, как помешанный, Карасай вышел за ворота. Перед остановившимися глазами его стоял мутный полог. Он не соображал, что это за машина подлетела к его дому, хоть зятя своего, Косиманова, узпал. В душе его уже не было сил для испуга. Поэтому он пустым потерянным взглядом смотрел на деловито подходившего зятя, однако замороженного и обрекающего выражения в его служебных глазах, готовых, казалось, пробить лоб тестя, не видел, не понимал...

Заседание кончилось, и Райхан, подождав в машине замешкавшегося в райкоме Моргуна, предложила сразу же ехать домой.

— Сил нет,— пожаловалась она с усталой улыбкой.

Ровная унылая дорога, знакомые окрестности, над которыми минувшей ночью безумствовал буран, принесли успокоение. По сторонам накатанного большака тянулись белые поля. Откинувшись на спинку пружинистого сиденья, Райхан не открывала глаз. Но даже с закрытыми глазами она безошибочно могла сказать, в каком месте они едут. Места, знакомые с детства, запали в память на всю жизнь.

«Аул мой у отрогов Сырымбета...» — как бы сами собой зазвучали в машине тихие, хвагающие за душу слова старинной песни. Так бывало всякий раз, когда, задумавшись, Райхан давала волю памяти. Протяжный тоскующий мотив несчастного акына Ахана-серэ запал в сердце с детских лет, также, как нестареющий облик матери, как дым родного аула и запах степи. Когда-то «Сырымбет» была любимой песней отца.

Негромко и бережно поддержал в нужном месте песню густой голос мужчины, и Райхан, удивленно приоткрыв глаза, увидела, что директор, тоже убаюканый дорогой, грустный и задумавшийся, будто сам для себя мурлычет бесхитростный мотив. Гудел на низкой ноте мотор, и машина, будто одинокая кочующая кибитка, одолевала бесконечную дорогу.

— А хорошо! — одобрительно покрутил головой присмиревший за рулем Жантас, когда мелодия замерла так же незаметно, как и возникла.

— Хорошо! — повторил он, с улыбкой оглядываясь назад, на смущенное начальство. — Сколько ни слушай, все равно не наслушаешься.

Легкая краска выступила на увядших щеках Райхан, обозначив и такие же, как в молодости, ямочки. Бросив быстрый смеющийся взгляд на соседа, она развязала и откинула концы теплой пуховой шапки.

— Долгие у нас дороги, — словно оправдываясь, проговорила она первое, что пришло в голову.

Федор Трофимович соглашаясь, покивал головой.

На сегодняшнем заседании бюро райкома им обоим, как руководителям совхоза «Каипды», пришлось выдержать тяжелый изматывающий бой, и многое из того, о чем говорилось в пылу перебранки, обидно помнилось и сейчас.

Спор возник совсем неожиданно, когда уж все казалось решенным, и Райхан до сих пор не могла толком припомнить, с чего же все началось... Ах нет, теперь-то вспомнилось. Алагузов начал, второй секретарь. Пока отчитывался Моргун и другие директора совхозов, пока говорилось о том, что накопилось за первый год целинной жизни. Алагузов молчал: заседание как заседание, десятки их, если не больше, прошли па памяти второго секретаря. Был он старый районный работник, тянувший, сменивший много постов и везде оправдавший доверие. В облике этого высокого сухопарого человека все говорило о стремлении управлять и подчиняться: строгая одежда, такая же прическа, даже манера мыслить и говорить. Ничего лишнего. Он знал в жизни одно — работу, и работал, не жалея ни себя, ни подчиненных.

По второму вопросу повестки заседания выступил сам Досанов, первый секретарь. Не любивший многословия, он предложил утвердить подготовленное решение о награждении совхоза «Каинды» переходящим Красным Знаменем. И вот тут Алагузов сдержаным, но решительным жестом попросил слова.

Поднимаясь, он достал из папки несколько неряшливо исписанных листочек. Видно было, что выступление его не случайно, он ждал и готовился, и разнокалиберные листочки писем, собранные в папке, лишь ждали своего часа.

Он не стал возражать против награждения передового хозяйства: совхоз «Каинды» заслужил почетную награду. Он отметил достойный труд десятков и сотен людей, добившихся победы в жестких условиях первого года на новых землях, но как второй секретарь, он не может больше молчать о досадных срывах, которые не к лицу лучшему коллективу района, которые, как ложка дегтя, портят общее впечатление...

— Я говорю о недостойных поступках главного инженера и начальника совхоза товарища Султановой. Она, кстати, присутствует здесь, па бюро.

Победнев, Райхан вскинула глаза и встретилась с ясным взглядом Алагузова. Гладко выбритый, с крохотными осипышками на широких скулах, он держался прямо, как на портрете, затянутый в глухой форменный китель.

Досанов поморщился:

— Мы, кажется, уже говорили с вами. «Каинды» — хозяйство заслуженное. Они первыми закончили уборку и

сдачу хлеба, у них первых стали работать шоферы с пятью прицепами, да и по строительству они тоже впереди всех. Как же мы будем отделять одно от другого? Дескать, совхоз хороший, передовой, а вот Султанова у них никуда не годится. Нельзя так. Достижения совхоза — это и ее победа.

— Не забывайте, что она парторг,— напомнил строго Алагузов.— Значит, с нее двойной спрос.

— А разве достижения хозяйства — не показатель работы парторга?

— Я говорю не о хозяйственных делах, товарищ Досанов. Вчера я вам докладывал...— Алагузов легонько потряс приготовленными бумажками.— И зря, что вы не захотели обратить на это внимание. Товарищи сигнализируют нам о серьезных нарушениях... Вот, судите сами. Колхозный скот, по распоряжению главного инженера, был роздан в личное пользование. Как это называть? По-моему, разбазаривание, типичная партизанская. Или вот. Часть земель, назначенных под вспашку, она оставила под выпасами. А что от пас требуется? Пахать, осваивать как можно больше. Значит, налицо прямое нарушение директив. А тут еще и рукоприкладство, и драки... даже машину в совхозе сожгли!— он бросил письма на стол.— Нельзя так наплевательски относиться к сигналам. Мы просто не имеем права пренебрегать ими.

— А может, все это клевета, по злобе написано?— спросил кто-то, не поднимаясь с места.

— Вот поэтому-то я и хочу, чтобы бюро занялось этими вопросами,— спокойно ответил Алагузов, закрывая папку и усаживаясь.— Вполне возможно, что ряд сигналов не найдет подтверждения.

«Зачем ему понадобилось выносить всю эту грязь на бюро?»— недоумевала Райхан, вспоминая, как дружно встали за письма директора совхозов. Они не позволили даже зачитывать письма.

— Тут надо в нашей одежке побывать, в директорской одежке,— рокочущим добродушным басом выговаривал второму секретарю богатырского сложения человек — Вагин, до целины директор передового совхоза на Украине.— Вот мы тут недавно говорили, что в «Каинды» приехало сто семей новоселов. Сто семей! Но приехать-то они приехали, а как их удержать? Ведь они как приехали, так и уехать могут. И правильно в «Каинды» делают. Люди приезжают, а тут им сразу и молоко, и комнату, и школу, и

детский сад, и даже Дом культуры. Суди ты потом Райхан Султанову, что она, заботясь о людях, где-то что-то сделала не по правилам. И пусть ништут, кому не лень. Главное в «Калиндах» сделано: они закрепили людей, дали им возможность спокойно жить и работать, и вот вам результат — лучший в районе совхоз. Так что не о букве думай, дорогой товарищ Алагузов, где что не соблюдено, а малечеко вперед заглядывай. Страшно-то хлебушек нужен, для этого мы сюда и приехали... — и Вагин благодушно разместил в просторном кожаном кресле свое огромное тело. Блеснула на груди Золотая Звезда Героя.

Рассудительно сказал и Аяганов, тоже директор, петропликий спокойный человек со скромными жестами коротеньких сильных рук.

— На черное смотреть — белого не видеть. Не забыл еще, товарищ Алагузов? Вроде бы стараешься справедливость соблюсти, а глядишь хорошего человека в грязи пспачкал. Кому это надо, кому выгодно?.. Не верю я, чтобы сами колхозники подняли вой из-за того скота. Я сам здешний, видел, как люди жили. Когда к нам сюда переселенцы приехали, мы с ними душа в душу жили. Бедняки, конечно. И помогали: они нам, мы им. И никто никого не принуждал. Одна судьба, одна жизнь. Делились кто чем богат. Так неужели теперь у нас пропали законы гостеприимства? Не верю! И я предлагаю: не Султанову надо проверять, а того, кто вот такие грязные бумажки строчит. Где этот человек, кто он такой? Или забился в нору и оттуда пакостит? Заливать надо такую нору, тащить его, голубчика, на свет!..

— Но ведь указания, чтобы раздавать скот в частное пользование, кажется, не было? — напомнил Алагузов.

Он сидел прямой, побледневший, невыносимо страдая от поражения.

— Так ведь, дорогой товарищ секретарь, — рассмеялся директор, и его хитроватые глазки совсем утонули в щелях, — не указание для нужды, а нужда для указания. Чего мудрить-то?

И вопрос был исчерпан. «Как-то теперь будет у нас с Алагузовым? — думала Райхан в дороге. — Самолюбивый человек!»

— Федор Трофимович, — позвала она, — а ведь я тебя давно предупреждала об Алагузове. Помнишь, мы как-то говорили о наших руководящих товарищах...

Директор возмущенно пожал плечами.

— Не признаю я таких руководителей. Ни мыслей, ни званий... У него, если толком разбораться, самой элементарной культуры не хватает. И это партийный работник!

— В семье не без урода,— заметила Райхап.

— Рубака лихой. Привык, если что, сплеча... Забывать надо о таких методах.

— Привык, а привычка—вторая натурा. Знаете, сколько уж лет он на всяких руководящих постах? Ну так вот. А работы он не боится, из кожи лезет. Но все по старинке: привык в те годы, страху набрался. Как теперь ломать себя? А вот Досанов,— обратили внимание?— совсем другой человек. Новое время, новые люди...

— Смотрите, смотрите!— закричал вдруг Жантас, резко сворачивая в сторону и тормозя машину. Директора и Райхан по инерции бросило вперед. Федор, чтобы не удастся, уперся в плечи шоfera.

На дороге, съежившись, обхватив руками ноги и уткнувшись лицом в колени, сидели двое. Они не пошевелились, не подняли даже голов. Райхан, Моргун и Жантас выскочили из машины.

Дерягин, едва его тронули, как мешок повалился набок. Он сидел на снегу раздетым, в одном пиджаке, в его пальто были закутаны ноги Халила.

— Снегу,— распорядился Моргун, когда замерзающих втащили в машину.

Складным ножом он быстро разрезал голенища на ногах Халила, сдернул и выбросил безнадежно испорченные сапоги. В побелевших ледяных ногах, казалось, не осталось ни кровинки.

Стиснув зубы Федор стал безжалостно патирать их сухим жестким снегом. Халил завозился и застонал от боли.

Райхан, горстью захватывая колючий снег, оттирала Дерягину щеки и уши. Руки ее так и мелькали. Приходя в сознание, Дерягин морщился и пытался убрать голову, но Райхан, не отпуская, орудовала быстро-быстро, как на терке. Скоро из распухшего, треснувшего уха показалась черная кровь. Закраснелись мокрые ободранные снегом щеки. Райхап сдернула с себя пуховую шаль и крепко замотала голову Дерягина. В машине было тесно, не повернуться, Райхан, поправляя седые растрепавшиеся волосы, то и дело ударяла локтем Моргуна.

Медленно, медленно разлепил запавшие глаза Дерягин. Сознание вернулось к нему, но он долго не мог понять, что это за жептина с пепослушной седой прядью пиз-

ко склонилась над ним. Потом, похоже, узнал: в уголке глаза показалась и покатилась по обмороженной щеке бес-сильная слеза. Он закрыл глаза и отвернулся. «Неужели до сих пор помнит о пощечине?.. Оставляя его в покое, Райхан невесело усмехнулась: рука матери следов не оставляет. А отец, так тот, помпится, любил повторять старинную пословицу: «Жена ударит — на том свете место, если не сгорит, так покернеет, мать ударит — не тронет никакой огонь...»

Вставало солнце, когда показались впереди дома совхозного поселка. Занимался морозный звонкий день. Дым из труб медленно поднимался в безбрежное ясное небо. На поле по обе стороны дороги орудовали трактора, таскавая за собой громоздкие треугольники деревянных плугов. Райхан и директор, пригнувшись к окошечкам, наблюдали, как строго, в одном направлении, поперек буранным ветрам, расчерчивалась тракторами степь. Острия тяжелых плугов взрывали, разваливая на стороны, толстый слежавшийся пласт снега, оставляя после себя глубокие траинши. Люди жили будущим и, не переставая думать о завтрашнем дне, заранее готовились к весне.

## ЭПИЛОГ

Прошло десять лет.

Опять была осень, и роща вновь сменила свой зеленый наряд. Поредевшая, открытая всем сквозным ветрам, она печально провожала теплую пору, и желтый ковер у подножья берез теперь каждое утро источал морозный аромат инея. Крепкие затяжные утренники, когда за рощей подолгу пламенеет тихая стылая заря, сбивали птиц в крикливые стаи, и скоро с блеклого осеннего неба донеслось первое прощальное кудыканье. Ночью улетающие косяки проплывали под бледной умирающей луной, и часто трубный крик вожака протяжно отдавался в пустых перелесках. В ту осень не торопилась лишь поздняя промысловая птица: раздобравшие за лето гуси и утки подолгу плавали в ленивой затихшей воде, а вперевалку выбравшись на берег, сонно чистились и заводили под крыльишко головку.

- Пугливый старый человек, весь день стеснявшийся появляться на улицах города, дождался ночи и, едва взошла луна, вышел на дорогу, посматривая, не покажется ли машина. За его спиной горел, переливался огнями город. Человек был оборван, ветхая одежда казалась ровесницей его годам. Маленькая, с чужой головы шапка едва держалась на нем, а коротенькие болтающиеся уши неожиданно придавали угрюмому старику какой-то привычный, щепечильный вид.

Завидев огни, старик поднял руку, и машина, вильнув к обочине, остановилась.

— В «Красное знамя», — хрипло проговорил старик, наклоняясь к оконечке новенькой «Волги».

— Садись.

Бросив грязную торбу под ноги, старик уселся рядом с шофером. Серебристый олень на радиаторе «Волги», выбросив ноги, вновь понесся в темноту.

На заднем сиденье кто-то переговаривался, и старики, нелюдимо прятавшийся весь день, подумал, что лучше было подождать на дороге грузовую машину с пустым, без попутчиков кузовом. Сзади ехало двое: женщина, если судить по голосу, и молодой мужчина. Тихий разговор почти не долетал до ушей старика, но из того, что он рассыпал, можно было понять, что женщина уже не молода и работает в обкоме партии, а мужчина приехал из Алма-Аты, и ему не терпится попасть в места, из которых он когда-то уехал на учебу. Мужчина несколько раз помянул о книге, которую написал или только собирается писать о родных краях.

— Сколько же я не был тут, Райхан-апа?.. Все, все стало другое! Просто не узнать!

— Что ты, Жантас! — устало проговорила женщина. — Тут неделю не побываешь, и то, глядишь, многое изменилось. А да эти годы... Мне, если признаться, так жалко было уезжать! И до сих пор — где бы ни была, что бы ни делала, а тянет...

Увлеченно разговаривая, они совсем не обратили внимания, что ночной пассажир впереди вдруг вздрогнул и съежился, сжался, боясь обернуться.

— Из стариков кто-нибудь на месте? — расспрашивал Жантас. — Моргун сейчас где?

— Федор Трофимович давно в Целинограде. На большой работе... А Халила помнишь? Главный инженер сейчас. Хороший парень вырос. Учился в сельхозинституте, сейчас женился, дети. Директором будет, нисколько не сомневаюсь... Ну, кто еще? Оспана, шофер, помнишь? Самый знаменитый шофер у нас. Депутат, Герой Труда.

— Так он больше и не женился?

— Почему? Женился. И знаешь на ком? На Акбопе.

— Ты смотри! — удивлялся переменам Жантас.

— Жалко, — продолжала Райхан, — что Акбопе в свое время учиться не пришлось. Но мы направили ее в школу механизации, сейчас она диспетчер автобазы. А в автобазе, — штука сказать! — двести с чем-то машин.

— А эта... Тамара! Рудакова или Рубцова, — не помню уж...

— Рубцова. Тоже в совхозе. Два года поработала секретарем комитета комсомола, а потом в Высшую партийную школу послали. Алагузова-то еще не забыл?

— Второй секретарь, кажется.

— Он потом у нас в совхозе парторгом был. В прошлом году мы проводили его на пенсию. Так Тамара теперь на его месте... Вот тебе о чем писать надо, дорогой. Читала я твои книжки. Все о любви, о цветочках пишете, а настоящая-то жизнь — вот, под боком.

— Да, да, не говорите... — согласился Жантас, покивав головой. — Но Алагузову в совхозе, надо полагать, несладко пришлось. Ведь работничек он, насколько я помню...

— Ну! — оживилась Райхан. — Совсем не тот стал. Что ты!.. У нас с ним однажды интересный спор получился. Мне одно время в производственном управлении пришлось работать, и мы с этим Алагузовым чуть не пасмерть сцепились. Вызвала я его как-то и давай отчитывать. «Что же вы, — говорю, — зерно перестали сдавать?» — «Нету, — говорит, — зерна. Одно семенное осталось». — «Сдавайте семенное. Весной на семена у государства получите». Ка-ак он взвился! «Бюрократы, — кричит, — вам бы только план!» А у нас тогда неурожай страшный: летом засуха, а осень подошла — дожди залили. «Обязательства, — говорю, — брали? Брали. Извольте выполнять». Алагузов прямо из себя выходит. «Надо, — говорит, — исходить из обстоятельств, а не из обязательств. А семенное зерно я не дам грабить, хоть голову снимайте!» И к дверям пошел. «Ладно, — говорю я и не выдержала, засмеялась. — Но теперь поняли, каково в совхозной одежке-то быть?» Все он понял, все помнил. Обо многом мы тогда переговорили. И как за распашкой гектаров гнались, вместо того, чтобы научиться за землей ухаживать. Совсем другой человек стал. Сейчас, хоть и на пенсии, а на покой не уходит. Люди к нему без конца идут, советуются. Уважаемый всеми аксакал... Вот об этом попробуй, написать...

— О ком-то я еще хотел спросить... Да, Дерягин. Помните такого? Здоровый такой парень...

— Ну как же! — рассмеялась Райхан. — Хорошо помню, не забыла. Он, кстати, женат на Тамаре...

— На Та-ма-ре?! — изумился Жантас. — Но она же видеть его не могла!

— Мало ли что бывает, — снова засмеялась Райхан. — Сейчас ты его не узнаешь. Двое детей. Завгаром работает. И в рот капли не берет.

— Вот это да-а!.. Вот это номера! — никак не мог уснуть Жантас. — Что только делается на свете!.. А про этого... ничего не слышно? Помните, старик, на отшибе-то от всех жил Карабет или как его там...

— Об этом ничего не слышно. Да никто и не интересуется. Кому до него дело? Ни Халилу, я думаю, он не пущен, ни Акбопе. Ну, а уж о Дике и говорить нечего.

— Да, да, вот еще — Дика! С этим что?

— Ничего. Прекрасно живет и работает. Самый у пасынков известный строитель. Хорошую женщину нашел — повара. Четверо детей у них...

— Ну, дела. Ну, дела-а...

Жантасу хотелось расспросить и о житье-бытие своей попутчицы, но он подумал и промолчал: вся жизнь Райхан проходила на людях и, как можно было догадаться, никаких перемен за это время не произошло. По-прежнему немолодая одипокая женщина грелась у чужого огня: всеми силами устраивая счастье другим, Райхан не имела времени подумать о собственном. Никто не встречал ее из тяжелой поездки, ничье заботливое слово не провожало в дальний путь и никогда уж не зазвенит ребячий гомон в ее пустом холодном доме. Чужие радости и печали заполнили всю ее жизнь без остатка.

Усталость и тишина, тепло запертой со всех сторон машины сморили пассажиров. Давно утихли голоса, и теперь слышалось ровное покойное дыхание. Лишь вскинувшийся на радиаторе серебристый олень по-прежнему рьяно летел над дорогой. Ну уж обозначился край неба над чернотой земли, и свет машины, раздвигавший темноту, становился рассеянным. Светало...

— Что же я наделал! — тихо выругался вдруг шофер. — Вам ведь в «Красное знамя» надо? Проехали масть...

И он начал осаживать машину, сбивая бег. Но на изможденном, с большим уродливым пятном лице старика не отразилось никакого беспокойства.

— Не надо, в «Каинды» поеду.

Шофер заинтересованноглянул на него, не переставляя удивляться столь необыкновенной примете на лице пассажира.

— Что, паша, видно, давно не были в этих местах? «Каинды» уж забыли люди...

— А что с ним? — насторожился старик.

— Другое название давно. Когда-то был «Каипды». Теперь «Слу-Мурт».

Притомившись в долгой, навевающей сон дороге, шофер был рад слушаю поговорить. Ночной пассажир несколько раз украдкой оглянулся назад, боясь, как бы разговор не разбудил попутчиков.

— Тут теперь все переинчили,— охотно рассказывал шофер.— Был «Каипды», стал «Слу-Мурт». Был «Жана-Талап»,— может, слыхали, колхозишко такой завалящий? Теперь —«Кургереи».

— Это ведь отделение было в совхозе?— стараясь говорить потише, напомнил старик.

— Куда там! Теперь отдельный совхоз. Назвали «Кургереи». Тоже не приходилось слышать?

— Да, бывало...—уклончиво ответил ночной пассажир и надолго умолк, петерпеливо поглядывая в окошко.

На восходе потянулись знакомые края, и старик, не слушая больше болтовни шофера, провожал глазами каждый холм, каждую балку. Здесь все было знакомо с детства, и в то же время так переменилось, что если бы пе цепкая стариковская память, родных мест было бы не узнать. Вон виднеется зимовка Есдаулета, а за ней должен открыться луг «Салим-трава», там когда-то были коровники. Но нет, не осталось и следа от коровников, всюду одно и то же: хлеба, хлеба, хлеба. Карасай узнал и место, где росла могучая береза. Сейчас там, как конские гривы под ветром, склонилась целая рощица. Без него уж насадили. Новая, до неузнаваемости изменившаяся открывалась его глазам земля.

— Ну вот и добрались,—сказал шофер, когда машина легко взбежала на пригорок.— Вон он, «Слу-Мурт».

И остро защемило сердце у старика, где-то в глубине души таил он надежду, что уж отцовское родное место встретит его по-старому. Но перемены коснулись и малжановского края. Разрослась старинная роща, достигая окраины поселка, а сам совхозный городок протянулся от сгоревшего когда-то аула Балта до камениной гряды «Кыз-емшек». Карасай смотрел и не мог пойти холма, где похоронец Жалил. Дома, улицы, переулки. Чужое все здесь стало, не свое...

Карасай попросил остановиться и вышел из машины. В поселок он вошел пешком, с тощей торбой за плечами. Ему попадались люди, торопливо шагающие на работу, и никто не остановил его, никто не узнал. Лишь в котлован-

не, залитом водой, сытые откормленные гуси трубно загоготали ему навстречу, пеистово замахав крылами.

Вдоль длинной и прямой, как полет пули, улицы Карасай милювал поселок и вышел к роще. Он пришел на свое место, где под стариинным, помнившим еще самого Малжана деревом много лет дымил очаг в одиноком доме. Ничего не осталось, кроме нестареющего дерева. Поселку становилось тесно, и новенькие домики под белыми шиферными крышами выплескивались все дальше, обживая свободные места. Карасай представил, как рушился под тяжким безжалостным ножом бульдозера его любовно слепленный дом и закрыл глаза, потер рукою сердце. Как щепку, одинокую, выполосканную во многих водах и потерявшую сок и запах, выбросило его на обжитое другими место.

Тем временем Райхан, не давая гостю оглядеться, повела его на самое приметное место, откуда хорошо открылись окрестности: на двуглавую вершинку «Кыз-емшек». Утро уже набрало сил, и Райхан, щурясь от солнца, с удовольствием повернулась к холодящему ветерку, чувствуя, как проходит сон и усталость.

— В конторе тебе только расскажут, а я хочу показать. Воп посмотри,— протянула она руку,— видишь, два этажа? Школа. А за ней, зеленое,— стадион. Свои футбольисты... Там детский сад, больница. Ну, а это, сам, наверное, догадаешься, железобетонный завод. Рядом кирпичный... Я всегда, как приезжаю, сначала сюда забираюсь. Постою, полюбуюсь, уж потом в контору.

— А там? — Чуть в стороне, па гряде, соединяющей вершинки, Жантас разглядел две могильных оградки.

— Подойдем...— тихо сказала Райхан.

Ветер, напоенный сырьими запахами осенней блекущей степи, обдувал высокие крепкие стены надмогильников. «Григорий Матвеевич Федоров (Кургере) ...». «Султан Омаров (Сту-Мурт)». Надписи поблекли, выгорели на солнце, но были видны хорошо.

Пришедшие долго стояли в печали и молчании. Как близнеццы, возвышались два одинаковых мазара, одно и то же небо обнимало мир, и земля, вечная, неумирающая, щедрая ко всем, лежала по обе стороны невысокой могильной гряды, давшей последний приют навсегда соединившимся друзьям.

## СОДЕРЖАНИЕ

Пролог . . . . .	3
Глава первая . . . . .	7
Глава вторая . . . . .	43
Первая песнь старого Кургеря . . . . .	54
Глава третья . . . . .	63
Вторая песнь старого Кургеря . . . . .	82
Глава четвертая . . . . .	99
Третья песнь старого Кургеря . . . . .	128
Глава пятая . . . . .	136
Четвертая песнь старого Кургеря . . . . .	150
Глава шестая . . . . .	161
Пятая песнь старого Кургеря . . . . .	168
Глава седьмая . . . . .	180
Шестая песнь старого Кургеря . . . . .	193
Глава восьмая . . . . .	203
Глава девятая . . . . .	222
Последняя песнь старого Кургеря . . . . .	240
Эпилог . . . . .	258

**Сакен Нурмакович Жунусов**

**ДОМ В СТЕПИ**

**РОМАН**

Редактор М. Кайсенова

Художник А. Ахметов

Худ. редактор Б. Табылдинев

Техн. редактор О. Пегова

Корректор И. Григорьева

ИБ № 1405

Сдано в набор 17. 1. 79. Подписано к печати 15. 5. 79. Бум.  
тип. № 3. Формат 84×109<sup>1/2</sup>. Гарнитура обыкновенно-новая.  
Печать высокая. 8,25 п. л. 12,86 усл. п. л. уч.-изд. л. 14,8.  
Тираж 50 000 экз. Заказ 492. Цена 1 р. 10 коп. Издательство «Жалын» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, 480003, г. Алма-Ата, ул. Гоголя, 111. Полиграфкомбинат производственного объединения полиграфических предприятий «КИТАП» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, г. Алма-Ата, ул. Пастера, 39.